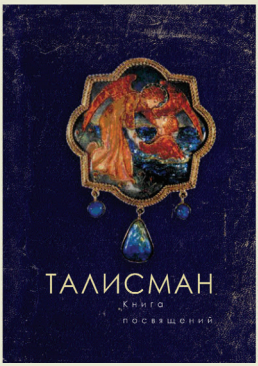
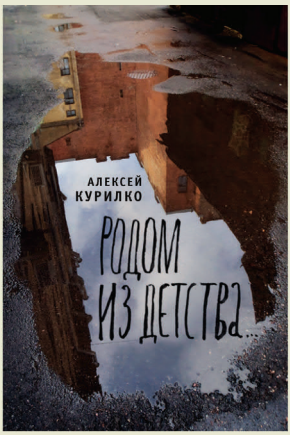
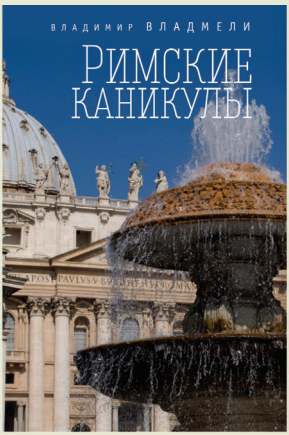
International Literary Magazine
KRESCHATIK
ПЕРЕКРЕСТОК
#83
#83
KRESCHATIK
International Literary Magazine

В издательстве «Алетейя» вышли в свет книги:







Международный
литературно-
художественный
журнал

АЛЕТЕЙЯ

Главный редактор
Борис Марковский *(Германия)*
тел. (+49) 421-522-647-65

Зам. гл. редактора
Елена Мордовина *(Киев)*
тел. (+38) 067–83–007–11

Редакционная коллегия:
Андрей Коровин *(Москва),*
Виталий Амурский *(Париж),*
Борис Херсонский *(Одесса)*,
Игорь Савкин *(Санкт-Петербург)*,
Борис Констриктор *(Санкт-Петербург)*,
Владимир Алейников *(Москва),*
Вальдемар Вебер *(Аугсбург),*
Сергей Шаталов *(Донецк),*
Айдар Хусаинов *(Уфа)*

Художник
Иван Граве *(Санкт-Петербург)*

Год издания двадцать первый
Рукописи не рецензируются и не возвращаются
При перепечатке ссылка на «Крещатик» обязательна

Адрес редакции:

B. Markovskyi, Korn Str. 22
28201 Bremen, Deutschland
e-mail: borismark30@T–Online.de
http://www.kreschatik.kiev.ua/
http://magazines.russ.ru/

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»
192029, Санкт-Петербург,
пр. Обуховской обороны, 86 А, оф. 536

Журнал выходит 4 раза в год
ISSN 1619–2966

© Крещатик, 2019 г.
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Поэзия

Михаил Окунь / *Аален* /	«Высокий дом пятиэтажный...»	5
Юрий Кобрин / *Вильнюс* /	Из венка Иосифу	17
Виктория Мамонова / *СПб.* /	Воскресенье	86
Борис Ванталов / *СПб.* /	Зайчики в воде	106
Максим Корепанов / *Москва* /	Бархатный сезон	111
Михаил Рахунов / *Чикаго* /	«Дождь стучит...»	126
Юлия Шестакова / *Москва* /	Римские строфы	141
Герман Власов / *Москва* /	Князь не от мира сего	186
Константин Корнеев / *Иркутск* /	«Неподвижна озёрная сфера...»	231
Татьяна Грауз / *Москва* /	Из цикла «У самого тёплого моря»	244

Проза

Асылгуль Мусаева / *Бишкек* /	Первое ноября	9
Павло Маслак / *Киев* /	Каменные плоты	22
Марат Баскин / *Нью-Йорк* /	Сверчок за печкой	92
Александр Протасов / *Киев* /	Duende	108
Тамара Ветрова / *Париж* /	Привёл чёрта	120
Лев Аксельрод / *СПб.* /	Прелюдии	128
Вероника Исаева / *СПб.* /	Маки. *Рассказ*	138
Андрей Кутерницкий / *СПб.* /	Золотая змея. *Повесть*	147
Арье Барац / *Иерусалим* /	День шестой. *Фрагмент*	174
Светлана Колокольцева / *СПб.* /	История семьи	192
Сима Цыскина / *Мельбурн* /	Четыре сюжета про порнуху	236
Наталья Пирогова / *Благовещенск* /	Одно наблюдение за двумя простыми вещами	247

Переводы

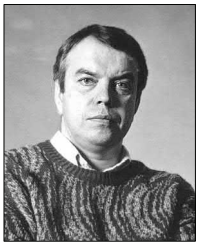
Генрикас Радаускас / *1910–1970* / *Перевод с литовского В. Просцевичус*	Стихи разных лет	132

In memoriam

Михаил Марковский / *1949–2018* /	Мелодия полураспада	171

Контексты: эссеистика, критика, библиография

Виталий Амурский / *Париж* /	Сад Виталия Стацинского	258
Кестутис Навакас / *Каунас* / *Перев. с литовского Вл. Просцевичус*	Семь одиночеств	280
Ирина Чайковская / *Вашингтон* /	Варвара Тургенева и Иван Тургенев…	287
Юрий Орлицкий / *Москва* /	О стихах Ковальского	296
Сергей Демченков / *Омск* /	Мастерство катарсиса	298
Сергей Бычков / *Москва* /	Собирательница талантов	303
Игорь Бондарь-Терещенко / *Харьков* /	Лирический «сонник» Т. Ивлевой	305
Елена Мордовина / *Киев* /	«Дачная эстетика» как воплощение философии «сибуй»	308
Евгений Костин / *Вильнюс* /	Этно-психологические и историко-культурные предпосылки ренессанса русской литературы XIX века	313



Михаил ОКУНЬ

/ Аален /

* * *

Высокий дом пятиэтажный,
Бомбёжка в памятном году.
Жилец Медовый — деятель важный,
На каучуковом ходу.

Как мне спалось на той планете!
Голландка щурилась в углу.
В ней я однажды заприметил
Метнувшуюся стрелу

Багровоокой саламандры —
Зверька, живущего в огне.
И вспоминал ее, как мантры —
Лишь раз явившуюся мне.

* * *

Речка Чёрная, постой-ка! —
Я сегодня снег месил
У особняка на Мойке,
Где морошки *он* просил.

Эта ягода морошка
Родом из чухонских мест.
Я б достал ему лукошко,
Сделал бы красивый жест.

Но засяду с первым встречным
В келье у Пяти углов.
Нет морошки на Кузнечном.
Нет нигде. Нема дилов.

КВАРТИРА

Отмеряй любыми вехами,
Называй хоть «рай», хоть «ад», —
Но сюда мы переехали
Пять десятков лет назад.

Не «хрущевка» и не «сталинка» —
В брежневские времена
Невеселые окраины
Оградила та стена.

И за ней, хранимы ГОСТами,
В обстановочке простой,
Пережили девяностые,
Перестройку и застой.

Мама, как-то всё повыцвело,
Поистёрся наш паркет...
Бытию тому продлиться бы,
Да уж нас почти что нет.

* * *

Декабрь длится хреновато,
А впрочем, лучшего не ждем...
Слежался снег, как стекловата,
Кислотным политый дождем.

Пиит заканчивает опус,
Имея изможденный вид.
Но Муза вновь, как злой октопус,
Ему присосками грозит.

НА ПЯТНАДЦАТУЮ ГОДОВЩИНУ ОТЪЕЗДА В ГЕРМАНИЮ

Октябрь. Стою у окна тишком.
Солнце за горами погасло.
Помню времена, когда зубы чистили порошком,
А в гастрономах давали шоколадное масло.

Чужая страна, кто б тогда сказал,
Мальчик не поверил бы — Германия!
Но тянулся годами базар-вокзал,
И закончился: тихий городишко, прогулки, метромания...

* * *

Издатели русскоязычных газет,
Устроители «русской жизни»,
Ничего у меня для вас нет —
Ни энтузиазма, ни любви к «новой отчизне».

О распаде СССР я не скорблю,
По поводу «величия России» не рву на себе волосы.
Впрочем, есть там один город, который люблю,
Но любовь мою не вставишь
В газетные полосы.

* * *

Менты донимали всю ночь (во сне)...
Какого рожна?!
Конфисковали бабки, изъяли паспорт.
Потом какую-то бомжиху притащили:
«Вот тебе новая жена!»
Проснулся — горло болит, насморк.

Встал, взглянул в окно, — а там уже снег.
Чего только ни терплю на белом свете я!
Казалось бы, всё, уехал, ан нет, —
Это почему-то было в городе Малгобек,
Россия, республика Ингушетия.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ СБОРНИК

Одну пиесу привлекли — и слава богу!
Когда-то мог посожалеть — теперь нисколько.
Вот прихромали составители к итогу,
Который, якобы, и радует постольку,
Поскольку ими «скрупулезная работа»
Проделана (а скорбны, как на тризне).
...Ну а книженция сия в неяркой жизни
Могла б отдушиной стать для кого-то.

* * *

Как страницы забытых книжек
Старики и старухи желтеют.

Кто-нибудь дочитать успеет.
Остальное уйдет в излишек.

* * *

Там, где катит воды Нил,
Бойко пляшет крокодил.

Ублажает скрипкой гада
Музыкант из Ленинграда.

В дни великого абсурда
Оба поступают мудро!

* * *

Снуют, снуют полёвки в борозде.
Мы дожили до «золотой» эпохи,
Когда не важно, хороши иль плохи
Стихи... И мышья беготня — везде.

* * *

И ветра свист, и шум прибрежных сосен,
И жестяная дрожь нагих кустов…
Над озером ворону ветром сносит —
Ее полет упрям и бестолков.

Октябрь глядит, как собеседник строгий,
Но где занять былого куражу?
Стареет год, и первые итоги
Я, не кривя душою, подвожу.

Асылгуль МУСАЕВА

/ *Бишкек* /

ПЕРВОЕ НОЯБРЯ

I

Первое ноября. Выпал первый снег и уже успел растаять. Дорогу развезло, я пытаюсь по ней идти. Щиколотки и подол юбки забрызганы грязью, на ботинках комья земли. Я не вижу ничего вокруг, полностью сосредоточена на процессе ходьбы. Вижу только дорогу и собственные отяжелевшие ботинки. Ремень сумки врезается в плечо. Жарко. Ловлю себя на том, что продолжаю идти, словно ботинки все еще чистые и я вся в напряжении, пытаясь спасти их от грязи. Осознав это, я расслабляюсь: спасать уже нечего, грязь поглотила все. Наконец поднимаю голову. Меня окружают все оттенки серого цвета. Только небо, затянутое тучами, не совсем серое, оно какое-то серо-фиолетово-розовое. Ни одного человека вокруг, только бетонные многоэтажки, как наугад раскиданные кубы на голом поле, тоненькие и хрупкие ветви деревьев тянутся куда-то… в поисках чего-то… и тощие, грязные псы тоже в поисках чего-то… (даже мусорки нет, по крайней мере я ее не вижу), нюхают темно-серую мягкую землю, неслышно перемещаясь в пространстве на тонких длинных лапах.

Куда я попала? Что за гиблое место? Я, наверное, уже больше часа брожу по этой дороге, и за все это время ни одной машины даже издалека, ни одного человеческого звука. Кстати, о звуках. Тихо. Кроме шума, который произвожу я, больше ничего не слышно. Бетонные дома, словно блоки — никакого признака жизни. Я начинаю всматриваться в окна, может в одном из них промелькнет человек? Я устала. И скамейки я нигде не вижу. Что за гиблое место?!

В область живота начинает накатывать холодное, слизкое ощущение тревоги. Странный район. Все ж таки надо уже на что-то решиться. Я подхожу к бетонному пятиэтажному дому. Тяжелая, железная дверь с домофоном. Нажимаю 1, потом «К». Пошли гуд-

ки. Откашливаюсь. Гудки продолжаются еще минуту и замолкают. Набираю 2, снова «К». Гудки. Сглатываю слюну. Гудки замолкают. Ответа нет. Набираю 3, снова «К». Гудки. С надеждой смотрю на маленький экран, на котором красным цветом горит «CALL». Гудки замолкают.

«Ситуация похожа на начало голливудского блокбастера о зомби. «Город мертвых», я бы так назвала этот фильм. Или фильм с таким названием уже был? Еще секунда, распахивается дверь, я в ужасе отшатываюсь и на меня наваливается жуткий, изуродованный укусами мертвяк! Ха-ха, смешно. Они там у себя в Голливуде кучу денег тратят на постройку декораций, а у нас тут вот — все натуральное. Так сказать, «дары природы»! Хоть сейчас снимай. И тебе даже никто не помешает».

— Кто? — голос из домофона. От неожиданности я не нахожусь, что сказать, тупо смотрю на домофон. Наконец, спохватившись, припадаю к домофону и ору, что есть мочи: «За-а-здравствуйте! Я тут, я заблудилась! Помогите, пожалуйста! Покажите... покажите дорогу, куда идти! Вокруг никого нет!». На несколько секунд повисло молчание.

— А вам куда надо? И что вы *зесь* делаете? Как вы сюда попали? — голос женский, молодой и очень встревоженный.

— Я, я по работе. Еду из Хивинок, Аташана в смысле. Перепись населения. Мне нужно в город! Как добраться до автовокзала вашего?

Снова молчание.

— Я *щас* иду, — сказано было уже более спокойным тоном.

Наконец-то! Можно сказать — спасена! Сейчас мне покажут куда идти, и я навсегда оставлю это гиблое место. Стало как-то даже легче дышать, хотя до этого дышать вроде было и не трудно. Слышу шаги, кто-то спускается по лестнице. Дверь открывается, и я вижу девушку будто вдвое меньше меня. Она смотрит на меня снизу-вверх, очень бледная, маленькая и хрупкая с острым носом и черными маленькими, как у мышонка, глазами, на лбу проступили морщины. Она рассматривает мое лицо, я ее. Мне не удалось скрыть удивления, она смущенно опускает глаза и кутается в коричневую пуховую шаль. У моей мамы всегда было полно таких шалей, моя мама лет с 30 готовилась стать бабулей-пенсионеркой. Пожилой возраст у нас в почете. Не удобно получилось, нельзя так нагло рассматривать людей. Но я не ожидала увидеть такую маленькую.

— Сейчас не *получисся*. У нас только один автобус *проежжает* рано утром, а попуток вы здесь не *дожжётесь*. Они все по северной стороне *проежжают*, это за лесом. *Зесь* машины не *еззят*.

— Как? Вообще не ездят? — удивляюсь я. Она в ответ кивает.

— А за лесом? За каким лесом? Далеко? Может я пешком доберусь до той дороги, по которой ездят?

— Не-е-ет, лес далеко! — всем корпусом девушка поворачивается влево, закидывая голову. Я смотрю в этом направлении и вижу

еще одну бетонную коробку вдалеке, серо-фиолетово-розовое небо и безжизненную землю темно-серого, почти черного цвета. Такого пустынного тоскливого пейзажа я еще не видела. Картина Ротко.

— И что же мне делать? — возмущенно спрашиваю я. Девушка равнодушно пожимает плечами.

— Утром. Рано утром автобус приедет.

— А где мне до утра быть? Я здесь никого не знаю. У вас есть что-нибудь вроде гостиницы?

Девушка снова поворачивается всем корпусом влево, кивает головой в сторону той самой одинокой бетонной коробки.

— Это раньше *больнисей* была. Теперь там *асанавливаюся*.

— Да? Больше негде? — с надеждой смотрю на нее. А она только равнодушно отрицательно качает головой.

— Ладно, спасибо большое, — вздыхаю, поправляю сумку на плече, сейчас эта сумка кажется мне очень тяжелой, и иду в новом направлении. Пройдя метра два, оглядываюсь. Девушка все еще стоит, скрестив руки на груди, пристально смотрит на меня. Меня это раздражает. Я отворачиваюсь.

«Сказочная перспектива. Одуреть просто! Я застряла в этом сером месте на целую ночь! Главное, чтобы не получилось, как в «Замке». Хотя там К. сам хотел остаться. Вот же дурак, и чего он так уцепился за это сумасшедшее место?!»

До больницы я добираюсь уже совсем в разбитом состоянии. Я раздражена. Обычно в таком состоянии я могу начать ругаться на пустом месте. Снаружи бывшая больница ничем не отличается от бетонной коробки, где живет девушка: пять этажей, такие же окна с решетками. В отличие от того дома здесь только один подъезд. По самой середке стоит такая же железная, тяжелая дверь с домофоном, на котором только одна кнопка. Нажимаю ее. Гудки. Тишина. Снова нажимаю. Гудки. Снова тишина. Да … блин! Нет смысла. Я начинаю тарабанить в дверь. Раздается жутковатое эхо. Я вздрагиваю. Снова тарабаню. Эхо утихает и снова тишина.

Я проклинаю все. Эту низкооплачиваемую работу, которая занесла меня в это, черт знает, какое место! Кстати, что это за место? Как вообще оно называется? На деревню не похоже, дома многоэтажные. Ни одного огорода, сада, чего-нибудь похожего на сельскохозяйственную деятельность. Я уже молчу о коровах, барашках, курах. Нет, здесь как после блэкаута: только серые панельные блоки и темно-серая земля. Ну, наверное, весной и летом здесь красиво. Вон я вижу деревья, трава, наверное, появляется. Птички, насекомые всякие.

Я копаюсь в сумке, наконец нахожу изрядно потрепанную карту. Моя карта — это довольно паршивая черно-белая ксерокопия цветной карты населенных пунктов нашей Республики. Села обозначены кружками, названия еле разберешь.

«Дамира… дура», — вырывается у меня сквозь зубы. «Неужели нельзя было сделать в городе, где через каждые 100 метров аптека и угол с услугой «Ксерокопия», нормальную приличную копию!» Нет, она ведь тоже сидит на государственной зарплате и у нее нет никакой мотивации делать лишнее движение ради какой-то сотрудницы в офисе, где работает пятнадцать женщин и всего двое неженатых парней.

На карте ничего толком не разберешь. Ну вот этот Аташан, то бишь бывшая Хивинка… а потом... потом лопнуло колесо. Господи, как же я испугалась! Думала, я оглохну. Но вроде обошлось. И этот водитель. Я так и не спросила, как его зовут. Почему мне так не везет с водителями? Дамира специально приставила его мне. Гадюка. Она всегда сажает меня на УАЗики к «так себе» водителям. Ну этот… Это было что-то. Всю дорогу слушал Коран. Поставил его на всю громкость. И смотрел на меня как на исчадие ада. Наверное, из-за того, что я без платка, да еще и с короткой стрижкой. Ради него пришлось юбку надеть. Думала, хоть перестанет испепелять меня взглядом. Так нет же. Ладно, Бог с ним. Мучается там поди сейчас на дороге. Хотя нет, вряд ли. Он эти места знает, уже давно, наверное, сидит дома, пьет чай и проклинает понаехавших столичных. Так, собственно, следующим селом должно быть Кольба. С этого села я начала свою перепись, на обратном пути я должна была пересесть там на попутный автобус или машину до перевала, а там уже спокойно на любой машине до города. Но между Хивинкой и Кольбой я не вижу больше никакого населенного пункта. Интересно на пути сюда мы проезжали это место? Я же проспала всю дорогу… черт! Так. Ладно. Побарабаним еще... Кстати, интересно, что в таком богом забытом месте у них домофоны с такими дверями. В городе то не везде встретишь. Наверное, при Союзе здесь был какой-нибудь завод перерабатывающий. Потом, естественно, все позакрывали. Дома побросали, все уехали в город. Даже больница вон... в гостиницу превратилась.

Складываю карту и кладу ее обратно в сумку. Поднимаюсь с корточек. Ноги затекли. Запрокидываю голову, чтобы размять шею и тут мой взгляд упирается в чье-то пузо. Болотного цвета рубашка, помню папа такие носил всю жизнь, они у него с армии остались. От такой неожиданности я подаюсь назад, теряю равновесие, и падаю навзничь в размякшую, серую, мокрую землю.

II

— В четыре тридцать утра. В четыре тридцать утра! Только один автобус, ночной, он едет с угольной шахты к перевалу. Развозит рабочих со смены по домам! — скрипучим голосом, словно на построении, вещает старик в военной рубашке, пока я, чуть не плача от досады, пытаюсь оттереть грязные пятна с пуховика.

Наконец, старик, прихватив с собой керосиновую лампу (боже мой, неужели кто-то еще ими пользуется?), уходит. Я остаюсь в помещении одна. Не могу понять большое оно или маленькое. Его освещает совсем маленькая, словно игрушечная, лампочка на низком потолке. От нее вдоль потолка, а потом по стене протягивается толстый, двойной пожелтевший провод, весь в крапинку от мушиных какашек. Стены серые, ничем не облицованные. Бетон. Кажется, это коридор. Да, точно, он уходит куда-то вглубь, в темноту, от взгляда в которую я покрываюсь холодным потом. Окна. Где окна? Уже стемнело? Я сажусь на, кажется, единственный стол под лампочкой. Голова почти задевает потолок. Куртка, сумка, шарф — все перепачкано грязью. Я попросила старика дать мне какую-нибудь щетку. Он принес мне тряпку. Я думала такие тряпки уже давно сняли с производства. Но она хотя бы была чистой.

Пытаюсь подавить подступающие слезы. Мне страшно, холодно и голодно. Лишь бы не заснуть. Я так крепко сплю, я могу проспать единственный автобус. Я не выдержу здесь еще одного лишнего часа. Неужели в этой больнице больше никого нет кроме меня и старика? Это точно больница? Как-то не похоже. Больницы ведь должны быть белыми, чистыми, благоухающими нашатырным спиртом. Я бы сейчас с удовольствием оказалась в такой больнице. И снова тишина. Лишь бы пережить эту ночь.

— Ааа! — вскрикиваю я. Сердце безумно колотится. Земля уплывает из-под ног. Тело коченеет, я не способна двигаться. Меня парализует страх. Всё! Сейчас случится непоправимое — я умру от страха! Из темноты выплывает мертвенно-бледное лицо, постепенно к нему прирастает туловище. Боже, это человек… это человек. Слава Богу! Я облегченно выдыхаю. Закрываю глаза. Снова открываю. Вдыхаю воздух. Да, это точно человек. Это не посланник из потустороннего мира.

— Есть хотите?

Передо мной мальчик лет 9–10. При слабом освещении его лицо кажется мне очень бледным. Мальчик упитан, у него круглые щеки и пуговицы его зеленого жилета едва застегиваются на животе. Он удивленно рассматривает меня.

— Да. Я очень хочу есть!

«Господи, еще одно внезапное появление кого-нибудь за эти сутки, и мое тело точно обретет здесь вечный покой».

Я иду за мальчиком по коридору. Мальчик идет впереди, освещая дорогу… керосиновой лампой. Постепенно темнота рассеивается. И я вижу, как серые бетонные стены сменяются беленой штукатуркой.

— *Остогожно*, сейчас надо идти вниз по *йестнице*, *дегжитесь* за *пегийа*.

— Куда вниз? Зачем?

— Там теплее, мы там живем, — говорит мальчик, сворачивая направо. На мгновение свет лампы исчезает. Я судорожно цепляюсь за стену. Я абсолютно ничего не вижу. Каждый мой шаг, словно прыжок в пропасть, внутри все переворачивается. Нет, лучше я буду шаркать по полу, щупая его ногами, чем при каждом шаге чувствовать, будто вот-вот провалюсь в неизвестность. Наконец начинаю различать очертания лестницы, перил. Я крепко хватаюсь за холодное железо. И тут меня обступает свет. Обыкновенный свет лампы накаливания. Такой прекрасный, такой радушный. Я могу видеть!

III

Я сижу за столом, покрытым кухонной клеенкой, в компании мальчика и его родителей, в большой комнате с печкой, в которой потрескивает сгорающий уголь. Тепло. Наверное, раньше это помещение было чем-то вроде лаборатории. Кафель покрывает пол и стены, вдоль которых стоят шкафы со стеклянными дверцами, вместо колб в них теперь хранится обыкновенная посуда. Я потягиваю сорпо, зачерпывая его большой ложкой из бадвода. Я согреваюсь, веки начинают тяжелеть. Родители мальчика посмеиваются надо мной. Он рассказал им, как я испугалась, увидев его. Они мне кажутся бесконечно милыми. Добрые спасители — волшебники. Они предлагают мне переночевать на койке в помещении по соседству. Обещают разбудить утром.

Я падаю на жесткий матрас пружинистой койки, она кажется здесь тоже сохранилась еще с советских времен. Закрываю глаза. Прекрасно. Все прекрасно. Мое тело наконец-то расслабляется. Я засыпаю и мне снится упитанный мальчик, с которым мы собираем данные населения, проводим перепись. Вместе мы подходим к компании мужчин, они представляются нам странными фамилиями: Манн, Берг, Чавкаридзе и снова Берг. Я записываю их ответы на вопросы, которые задает им мальчик.

— Как давно сюда попали?

— 80 лет назад, — отвечает Манн.

«Странно, — думаю я, — а выглядят так молодо».

— Мало, очень мало. Как сюда попали?

— На поезде. Когда следующий поезд?

— Поездов уже нет, — отвечает им мальчик. Вы опоздали. Вас не разбудили.

Я вздрагиваю, просыпаюсь. Темно. Вижу полоску света за дверью. Сердце бешено колотиться.

«Нет, нет… я не могу опоздать. Я должна уехать. Я не могу остаться здесь на 80 лет. Только не это!»

На ощупь пробираюсь к двери. Толкаю. Она со скрипом поддается. В коридоре пусто. Прохожу в комнату, где мы ужинали. Там тоже никого. Уголь догорает в печке. Пробираюсь к столу,

беру керосиновую лампу. Снимаю стеклянный колпак, зажигаю фитиль. Вставляю колпак обратно и, с трудом перебарывая страх, я поднимаюсь по лестнице вверх. Тело сразу обдаёт холодным сквозняком.

Выхожу в тот самый длинный коридор. Темно и холодно. Я дрожу и от страха, и от холода. Слышу свое дыхание, мои челюсти крепко сжаты, рука вцепилась в рукоятку керосиновой лампы, мое дыхание напоминает сопение тяжелобольного гайморитом. Она освещает пространство вокруг меня радиусом в один метр, а дальше — неизвестность. В голове проносятся самые страшные сценарии фильмов — ужасов, всплывают жуткие детали историй про убийц-маньяков и сверхъестественное. Кажется, я на пределе. Тишина. Резко оборачиваюсь, мне показалось, что сзади меня кто-то стоит. Никого. Господи, мне ведь просто показалось.

Я иду дальше по коридору, навстречу темноте и неизвестности. Я едва сдерживаю себя от желания броситься в бег с диким криком, уничтожив эту мучительную тишину. Я иду не быстро и не медленно, стараюсь ступать тихо, словно за мной следит хищник и любое резкое движение выдаст меня. Наконец я вижу слабый свет крохотной лампочки над столом, на котором все также лежат оставленные мною вещи. Выдыхаю.

IV

Часы. Где найти часы? У меня нет мобильного. Батарейка села еще до того, как лопнуло колесо. Старик. Куда ушел старик? Тоже в подвал? Все они появлялись и исчезали в глубинах этого жуткого коридора. Четыре тридцать. В это время еще очень темно. Что мне делать? Я готова разреветься от собственной беспомощности. Найти старика. Он, наверное, спит. Если я его разбужу, он разозлиться. Здесь странные люди. Вдруг он меня вообще убьет? Здесь у всех людей такая странная внешность. Вроде обыкновенные люди с первого взгляда, но потом при тщательном рассмотрении, что-то да не так. Сейчас не могу об этом думать. Нужно выбраться отсюда. Автобус. Единственный автобус. А вдруг уже четыре тридцать?

— Четыре тридцать! Четыре тридцать! — раздается скрипучий голос старика в темном пространстве. Его голос звонко отскакивает от холодных серых стен недостроенной больницы и хлестко ударяет меня. Слава Богу! Сейчас я готова плакать от счастья. Я хватаю свои вещи и бегу на голос.

V

Я чувствую ноющую боль в основании шеи, просыпаюсь. Я еду в камазе-вахтовке. Сиденья жутко неудобные. Впереди сидят двое мужчин. Я вижу их широкие спины и шапки-ушанки. Они едут молча.

— Долго еще? — спрашиваю я. Один из них оборачивается ко мне вполоборота. У него смуглое, очень морщинистое лицо, огромный нос и прищуренные глаза. Резкий запах вонючего табака.

— Нет, скоро уже. Минут 20 осталось. Смотри, — кивает в сторону окна. Я подбираюсь к окну, одергиваю штору. Уже рассвело. Снег блестит на солнце и слепит глаза. Мы подбираемся к перевалу. Наконец-то.

— А как называется это деревня, откуда вы меня подобрали? — спрашиваю я.

— Деревня? Никак. Просто пункт, — ухмыляется мужик.

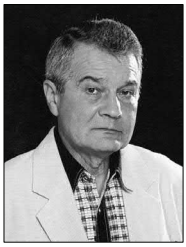
— Контрольно-пропускной, ха-ха-ха, — раздается раскатистый смех второго. Я непонимающе качаю головой.

— Там уже почти никто не живет. Все уехали. Пытались уговорить людей остаться там жить, но никто не хочет. Плохое место, — объясняет первый мужик.

— Почему плохое? — спрашиваю я и зачем-то задерживаю дыхание.

— Ну… как сказать. Там лет 80 назад предателей всяких расстреливали, там и хоронили вроде как. А потом картошку решили сажать. Там лагерь был для заключенных, которые дорогу через перевал строили, по серпантину горному вот этому. Вот и все. Никто там жить не хочет по своей воле.

Мы наконец подъезжаем к перевалочной станции. Гул человеческих голосов, лай собак, жужжание моторов, головокружительный запах бензина. Я скоро буду дома. Совсем скоро.



Юрий КОБРИН

/ Вильнюс /

ИЗ ВЕНКА ИОСИФУ

1. НО ДЕНЬ ГРЯДЁТ

Нет, мы нисколько не устали,
ещё пришёл не наш черёд,
но закрывают глухо ставни
в селе, поставленном вразлёт.
Измучив слух до исступленья,
замолкли в роще соловьи.
Сырой росой покрылись ивы,
шатёр ветвями синий свив.
Во тьме глухой, во тьме беззвёздной
погас отважный метеор.
…как наэлектризован воздух!
…как ожиданьем полон взор!
А в поле зреют, зреют травы.
Но день грядёт. И грянет бой.
Россия, сколько своенравных
с твоей сливаются судьбой!
Ночь.
Сон глубок.
Надёжны ставни
в селе, поставленном вразлёт.
Спят Игори и Ярославны.
Серп-сторож по небу плывёт,
а молот кандалы куёт.

23.05.64

2. В ТИШИНЕ

«Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна…»
Из песен, что пели в юности.

На скалах — ржавый рыжий купорос.
Малина дикая вцепилась в склон корнями.
Мерцанье дальнее турецких знойных звёзд
угадывается в тумане.

У кромки моря — пограничный пост.
Прожектора пронзают ночь лучами,
и обелиски, влажные от рос,
недвижны в тихой бронзовой печали.

Ты стебли южных равнодушных роз
перебираешь пальцами, перстами,
а месяц — риторический вопрос —
висит серпом наточенным над нами.

Пора, пора избавиться от грёз,
пора задуматься о подлости и славе,
чтоб, перейдя через последний мост,
не дрогнув, встретить мог и тьму, и пламень.

Тебя на эмиграцию толкал
чиновник, что без племени и роду…
В изготовленье «диссидентов» толк он знал,
в чём понимал служение народу…

Но что турецкий берег для тебя
и Африка с бананом и кокосом?..
Заткнись, иерихонская труба,
не рухнут стены от немых вопросов.

1980

3. ПРОЩАНИЕ

Не хороните Бродского в России…
У нас и после смерти оболгут…
Когда страна рифмуется с насильем,
поэт всегда — на вскрытой вене жгут.
Прости стране бессовестное слово,
она жила, не ведая стыда…

Вот оттого сегодня ей хреново
и вспять течёт кровавая вода.
Ты многое открыл в российской речи
и многое в поэзии закрыл…
Тот ватник, что согрел в деревне плечи,
уже тогда похож на смокинг был.
Ты умер там. Наверное, так надо.
Тетрадь в твоём я помню кулаке.
Мы чокнулись, прощаясь в Ленинграде,
и звон стаканов до сих пор в виске.

31.01.96

4. EXEGI MONUMENTUM[1]

Глебу

Поминая Пушкина и Блока,
с юным Бродским, юный поддавал.
Говорили, спорили; эпоха
щами пахла, как столовый зал.
Я ещё застал такое время,
а не веришь, то перекрестись!
Мне стихи мои читал, добрея,
наизусть Красаускас Стасис.
Сам себе exegi monumentum.
Я с Тарковским знался в дождь и гром,
и Вильняле, пользуясь моментом,
в томик мой плеснула серебром.
Знаю сам замечен Кем, отмечен,
Кто велел, водя моим пером,
в затихающей российской речи
стать неразгибаемым звеном.

26.05.98

5. «ТВОРЦЫ»

Минус по Цельсию брод сковал,
лёд подловат однако…
Бесстрашно пишут под Бродского,
страшно под Пастернака.
Синтаксис, рифмы строчек

[1] Памятник воздвиг (лат.).

брошу вам для затравки.
Мой неудобный почерк
не поддаётся правке.
А призёра районной
премии Фетакафки
некому урезонить
в литературной лавке,
где верещит о Серёже,
треплет Ю.П. Кузнецова,
врёт, что в синяк синей рожи
Юрою был поц-це-ло-ван!
Пилят творцы опилки
не с верстака ли Рубцова?
И тараторят пылко,
выпив на рупь целковый.
Вот строкорез к обороне
зычно скликает рать,
к сцене побатальонно
любо в строю шагать!
Возведена их бездарность
в степень. А это — стиль!
Им ли не зависть бес в дар нёс?
Пилят опилок пыль…
Что осквернённый Маркучай[1]
взят на «ура» графоманом?
Знал времена и покруче
и зарубцовывал раны!

Ты ж, не боясь слова броского,
ни телогрейки, ни фрака,
чти, перечитывай Бродского,
Лермонтова, Пастернака.

17.08.2010

6. БРОДСКИЙ

Был над моралью в жизни, к смерти, в споре,
в самцовости и вену сгрыз с тоски.
Предпочитал алмазом быть и сором,
и гениально вырастить стихи.

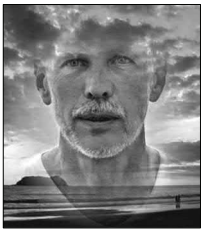
2016

[1] Предместье Вильнюса, где расположен музей А.С. Пушкина.

7. РАЙ В ТАРРАГОНЕ

Я устрицу ем запивая
холодным испанским вином,
креветка хрустит золотая…
Зачем мы сидим здесь вдвоём?
А помнишь, мне горло вспороли,
чтоб выжечь вслед скальпелю рак,
готовя к покойника роли,
так что же, скажи мне, не так?
Ни капли во мне нету *бродскства*
и рыженького волоска,
надмедного превосходства,
прищура зрачка свысока.
Осколки зеркал отражают
нас вместе и адскую жуть
дрейфующей в волнах державы,
смывающей скользкую муть.
Ну, что от меня ждёшь и хочешь?
я выжил себе вопреки,
а ты, словно надфилем точишь,
и в полдень не вижу ни зги!
Вот правнук уже скоро пискнет,
А я, что мальчишка во ржи…
Напильник не высечет искру
живую. Его отложи.
Жуй устрицу, рябчика тоже,
брюле с ахинеей смешай.
Сидим. Друг на друга похожи.
И это по-твоему рай?!
Но всё же тебе благодарен
за вечный в душе неуют,
за то, что и в пьяном угаре
я верил, что сядем мы тут.

21.05.2013



Павло МАСЛАК

/ *Киев* /

КАМЕННЫЕ ПЛОТЫ

ЛОЖЬ О МАСОНАХ

1.

— Очевидное и элементарное не нуждается в объяснениях. Но если человек не понимает очевидного и элементарного, то и не пытайся ему объяснить это — он все равно не поймет.

— Если вы обо мне, то, думаю, можно попытаться, — я насмешливо посмотрел на помеченного глубоко въевшейся старостью хозяина дома.

Потому что — как же иначе?

Это ведь я гость, причем приглашен (да и доставлен сюда) весьма замысловатым образом.

— Нет. Это я не о тебе, — отрезал, а точнее, всю фразу он нарезал мелкими ломтиками слов. Так добротный повар крошит зеленую луковую стрелу огромным ножом, плотоядно кося в прицел нацеленной на него телекамеры.

Поводок мыслей начал тянуть взгляд в разные стороны, и действительно — в углу над громоздким книжным шкафом, да и в резьбленном изгибе дверного косяка, поблескивало нечто. Хозяин, похоже, был неплохим физиономистом, потому что небрежно произнес:

— Не без того. Просматриваем. Прослушиваем. Оттого и пронюхиваем обо всем. Но хотелось бы перейти к делу…

— Не без того, — я сымитировал небрежность его же интонации.

Он лишь приподнял безволосые брови гордым буревестником и продолжил реяние своих мыслей, точнее — слов:

— Ты нам нужен. Потому что ты умеешь *знать*. Мы это знаем.

Был соблазн запустить и своего воздушного змея, в том смысле, что *«где собирается много знающих, там пропадает понимание»*, но я смолчал. Мое безмолвие наверняка было оценено (хоть я и сам не взялся бы сложить ему цену).

— Очевидным является существование тайного Ордена. Впрочем, это и не тайна вовсе. Но в Орден могут вступить лишь избранные.

— Избирательный процесс — штука замысловатая… — начал было я, но безбровый Мастер в бобровом воротничке (это в июле-то!) лишь мельнично замахал на меня руками и закатил глаза, словно два шара в лузу одним ударом.

Он поднялся, прошествовал (причем, даже без кровавых подбоев или побоев, даже без белого плаща) через уныло-антикварную комнату, натужно выволок (именно — выволок!) хрустальный графинчик из напыщенно-раритетной древесины, и очень по-простецки спросил:

— А не выпить ли?..

— Не худо бы, — в тон ему ответил я.

Вместе с графинчиком он прихватил еще и две необычной формы рюмочки, держа их в распальцовке. Поиграл отблесками, похоже, что хрусталя, в свете обрюзгшей люстры, прижег меня выжидательным взглядом, но, не заметив никакой реакции, снисходительно пояснил:

— Алмазные. Благодаря граням, можно сказать, — бриллиантовые.

— О-о… — с пониманием протянул я, — граненные… Должно быть, работы Веры Мухиной?

Бобровый хозяин дома почти побагровел, вновь скарамболил безбровые глаза, изобразил лицом неудачный каламбур, но так ничего и не произнес. Расставил бриллиантовую утварь на столе, паркинсоново-дрожащей рукой наполнил алмазные гранчаки. Кокаинистски, одной ноздрей, затянулся ароматом из своей рюмки, и, теперь уже расслаблено, спросил:

— Ты *знаешь*, что это за напиток?

Как и всегда — что в обыденной жизни, что в крайних ситуациях, — я, совершенно не раздумывая, ляпнул:

— Хлебное вино Болдинской винокурни Льва Пушкина, вторая половина XVIII века.

(Дело в том, что в одной из подольских пивнушек несколько дней назад мы небольшой компанией обсуждали прочитанный всеми труд Вильяма Похлебкина «История водки», причем, пытались перещеголять друг друга запомнившимися датами и названиями).

Мой визави осоловело взглянул на меня, и забормотал, как на последнем причастии:

— Да-да… Лев Александрович выгнал эту водку — более 800 литров! — в октябре 1780-го и назвал — «Болдинская осень»… И ге-

ниальный внучек его — Александр Сергеевич — не без успеха потреблял ее… В запасах *нашего* Ордена еще двадцать пять литров хранится… по культурному обмену досталось …

Он вдруг встрепенулся:

— За твой талант! — По касательной двинул в мою сторону свою рюмку, но так и не коснулся моей.

— Чего и вам желаю! — я в разнобой подвигал бровями и одним глотком приобщился к великому поэту.

Пушкинский самогон оказался весьма мерзковатым — с отвратным ароматом зацветшего хлебного ломтя, а по вкусу напоминал наспех приготовленный водочный фальсификат из какого-то сомнительного алкоголя с мутным прошлым. Что-то подобное мы пивали давным-давно в некотором глухом (должно быть, оглохшем от беспробудного пьянства) колхозе, когда наш «студенческий десант» помогал ослабленному крестьянству в сборе урожая октябрьских яблок. И тогда тоже этот запоминающийся вкус произвел тяжелое впечатление…

Опорожнив свою рюмочку, мой вербовщик уткнулся носом в бобровый воротник своего халата, и пробыл там некоторое время. Затем он поднял голову, причем, начал говорить еще из меховых глубин:

— Повторюсь — ты нам нужен. Но в начале, вернее — в конце, еще один тест. Последний.

«Очень надеюсь, что и тост был последним», — внутренне содрогнулся я, а старик вкрадчивым полушепотом подкинул мне очередной вопрос:

— Как ты думаешь, что Казанова (кстати, он тоже был вольным каменщиком) ответил, когда за два дня до смерти его спросили о самочувствии?

Во мне потихоньку вскипало раздражение от всей этой катавасии, попахивавшей розыгрышем, и я, с глубоко завязшим недоумением в глазах, но с неприкрытой издевкой в голосе, сказал:

— Как — «что»? «Все ничего», — ответил им Джакомо Казанова, — «да вот только что-то член застоялся…»!

Старик одобрительно закивал бритой головой:

— Именно так. Кстати, ты сейчас тоже на распутье стоишь («Спасибо за сравнение», — успел вклинить я) и выбор за тобой: быть ли в числе Правителей мира, или… не быть. Хотя, собственно, выбора у тебя нет…

— О да, — теперь уже я закивал собственной бритой головой, — быть вольным каменщиком или рабом в каменоломне — это не выбор. Это приговор. Кстати, — развалившись вальяжно в кресле с подлокотниками белой кости, я внезапно начал подумывать о повторе «Болдинской осени», но, все же, решил продолжить зондирование темы: — коль уж разговор пошел о выборе, вы читали такое, знаете ли, эссе (тоже о каменщике, в своем роде) — «Миф о Сизифе»?

В своем халате с меховым воротником, с уныло приопущенным носом, он напоминал сейчас некоего персонажа, скорее всего — старого еврея из «Голема» Майринга, а может… В общем, кого-то он напоминал. Я почти был уверен, что наверняка прозвучит риторически-лирический вопрос: — «И шо вы ждете, шоб я за это сказал?..», но услышал достаточно жесткое и насмешливое:

— Да-да, читал, читал, почитывал... И твое, и Камюшное… Альбер видел свободу в спуске с горы, ты же считаешь, что свобода достигается только трудом, каждодневным подыманием камня… Не знаю, не понимаю я этих ваших метафор… Кстати, — добавил он скороговоркой, — Камю тоже из наших был…

Вот уж… Я опять не сдержался:

— Куда ни плюнь — всюду «наши». Прямо пропутинское движение какое-то!

Мастер лишь небрежно отмахнулся широким рукавом халата, поднялся с претензией на величавость, и мелкими шаркающими шажками поплелся куда-то вглубь комнаты, а в самом конце ее, возле неприметной двери, чуть повернул голову:

— Ладно, пойдем в кабинет, там и поговорим серьезно. Орден шутить не любит…

— А сейчас мы — где? В будуаре, что ли, раз видеокамеры повсюду?

— Нет, — отрезал старик, — это просто прихожая.

Пока мы торжественно заходили в кабинет, в голове у меня заезженно крутилась терпкая фраза из Твардовского: «Так скажу: зачем мне Орден? Я согласен на медаль…»

I

Гек внимательно изучал едва уловимые движения пивной пены в своей кружке (к которой, кстати, он, как водится, и не притронется, а пить и этот, его пузатый бокал, опять же буду я). Мой бессвязный, но весьма экспрессивный рассказ о вчерашнем вечере не особо его озаботил, и, похоже, даже не позабавил.

— Ну… — он все глубже погружался в кружку своим взглядом, падающим с завораживающе бесцветных глаз, — …и что? Запихнули тебя в джип с непрозрачными стеклами… Привезли в какой-то замкнутый дворик…

Я взорвался:

— Что значит «какой-то»?! Я все киевские дворы-колодцы назубок знаю! Исходил, можно сказать — вдоль и поперек, и по вертикали.

— Исход исходу не товарищ… Суть ведь не в том — *где* ты был, а *что* ты решил. Просто соразмерь вес предложенного с тяжестью (или — легкостью) отказа. Ведь человеческая жизнь, как и любой бульварный роман, состоит лишь из предложений…

Своей навязчиво-вязкой рассудительностью мой брат всегда (уже с детства) вводил меня в состояние тихого, полушепотом, иступления.

— Кроме предложений, есть еще и ремарки, и примечания, — утробно буркнул я, допивая свое пиво, — и комментарии, которые сейчас, пожалуй, излишни…

С тонким визгом пустой бокал укатил на край стола, второй — полный, так и не пригубленный, прижался к моей теплой ладони, словно к ушам, словно закрывая их от насмешливо прозвучавшего:

— Главное — не стать *сноской* в чьей-то истории…

Ох уж, Гек! Должен признаться, наши с братом отношения всегда были весьма не просты. Еще с самого-самого, так сказать, — *начала*.

На самом деле, почти невозможно найти *начало* даже собственной жизни. Ну-ка подумайте, *откуда* вы себя помните? Каков первый лучик вашего воспоминания о самом себе? А что было до того? Тьма и небытие? Но вы ведь в это не верите! И вот как странно — мы мучительно, часами пытаемся припомнить позабытое словцо или, скажем, имя помпезного киноактера, но наотрез, словно от края бездны, отступаем от *памяти* себя самого. Так глубоко… головокружительно… уж лучше — в сей час есть лишь сейчас… Спокойней, привычней…

Да я и сам, по правде говоря, помню себя лет с пяти отроду, не ранее (хотя, несомненно, что-то было и *до* того). Детский сад… карусель из семи лошадок, словно шаткое кружение огромной вселенной… лепим из прилипающего к пальцам пластилина… да, это мишка косолапый… а хвост… у него просто вырос… ой, не надо! я больше не буду!.. сейчас, сейчас… можно, я сам свою кровать постелю?.. пожалуйста… нет! не уссался опять… я сам постелю... почему на стул при всех?.. песок как время… а где мой совочек?.. да, фанерка, это тоже совочек… да, играли в доктора… не трогали пальцами, просто смотрели… у нас по-разному… нет-нет! не надо!.. да, время, песок… где мой совочек?..

Ох, уж это совковое детство! Я, почти задыхаясь, выныриваю из воспоминаний себя в том детском доме.

Одна из легенд (а все эти многочисленные легенды мы сами придумывали с Геком) гласит, что родители наши были геологами. Потому-то, покинув родной Киев, оказались в этих заполярных краях, где и сгинули в снежном буране безвестно… У детсадовских слушателей не возникал вопрос — а с какой такой радости они на Колыму детей малолетних с собой прихватили?..

Уже в ученические годы, родители наши стали золотоискателями, *старателями*, как говаривали там. Они нашли *такой* самородок-самородище, что за него их и порешили… Мы, с Геком, в детском доме были временно лишь, до конца артельного сезона, но, поскольку

родителей не стало, — так здесь и остались… Школьная свора смотрела на нас уважительно...

Еще странно — откуда в нас держалась память о Киеве? Ведь в этой заснеженности, где мы провели свое детство, что-либо отличное от ледяного холода всегда, казалось чем-то тридесятым, царственным, не от мира сего…

Смутные нити воспоминаний о каштановых бульварах и узких улочках проносились с воздушной легкостью, подобно осеннему исходу паутиновой печали вдоль Десятинной, названной так во имя сожженной церкви, которая подобно божественной десятине была принесена в жертву неиствующим Батыем; а возможно (по бытующему мнению), улица эта была названа так с намеком на *мессидор* — десятый месяц календаря безумных республиканцев, время скорбной жатвы и, подспудно, — ожидания прихода мессии…

Подобная многомерная неразбериха кружила и вокруг наших имен.

Чук и Гек… Слишком явный гайдаровский след был окончательно затоптан уже в пятом классе. В первую очередь, конечно же, — одноклассниками. Все зачитывались Марк Твеном: Том Сойер, Миссисипи, индеец Джо… и Гек слишком очевидно вписался в этот строй, хотя ни по характеру, ни по манере поведения он не походил на Гекльберри Финна. Зато мне пришлось отвоевывать право на свое имя, ведь в тех суровых краях оно идеально подходило к прозвищу «чукча». Кулачные бои без правил исправили ситуацию, но голубая чашка детства была разбита, как и костяшки на пальцах.

В самом начале выпускного десятого класса мне повезло. Уж не знаю, каким ветром в наш детдомовский двор, через высокую ограду, занесло картонную коробку из-под бутылки виски. Ума не приложу, как вообще занесло виски в эту исковерканную неверным севером отстраненность, где все пили преимущественно авиационный спирт (называемый «шилом»), а «Бутылочная водка — это аристократичный напиток!» — поучал нас жилистый военрук с ошалелыми от «шила» глазами. Как бы там ни было, надпись на потертой коробке подняла статус моего имени стократ. «CHIVAS Unadulterated Class» — золотилось на ней. Мы, невзирая на глушь, в которой существовали, неплохо понимали английский (спасибо вечно печальной Татьяне Ивановне), да и о виски имели представление (правда, только по художественной литературе).

Гек, словно перелистывая барабан револьвера, крутил указательным пальцем у виска, когда я излагал очередное толкование своего имени. Мы, вообще-то — шотландского рода, и отец наш с библейских времен славился своим пристрастным вниманием к виски, почему и выбрал такое странное имя для своего старшего сына (я был старше Гека ровно на четыре минуты по общепризнанной версии). «Чук» («ChUC») — это аббревиатура от любимого им виски

«CHIVAS», причем, не пятилетней ординарности — «CHIVAS Regal», а именно «Чивас» чистейшего класса…

Полувшутку, полувсерьез одноклассники стали обращаться ко мне с приставкой «сэр». Это настолько прижилось, что даже на выпускном вечере, когда мне выдавали документы, дарующие свободу, директор детдома как-то смущенно запнулся, произнося мое имя.

Гек тогда отказался унаследовать родительскую квартиру и заявил, что появится «как-нибудь при случае» (и не просто так!), а я отвоевал в бюрократических боях «крутую» двухкомнатку на площади Льва Толстого (потолки — 3,50 м) (тетка, мамина сестра, хранительница квартиры, лишь охала от таких социальных новшеств, да умерла через год…), и поступил в университет. Это было в начале надрывных девяностых.

В переворотных и поворотных временах всегда есть что-то приворотное — каждый миг воспринимается как средней протяженности вечность, а льющиеся ото всюду ложь и правда одинаково сладки (это когда штампованная патетика трибун растекается патокой бессмысленных, но бурных обсуждений)…

— …Это ведь несносно — быть просто сноской, не так ли? — Гек как будто улыбался, вытаскивая меня из потока воспоминаний, хотя свою улыбку (а она у него есть!) он обычно никогда не выставлял напоказ.

Я внутренне отряхнулся, словно мокрый пес-Барбос, и брызги моих воспоминаний усеяли не то чтобы грязный, но искусно маскирующийся под мрамор, пол пивнушки. Протяжными глотками я пил пиво, и также протяжно скользил взглядом по этому знакомому интерьеру: тяжеловесные деревянные столы, с такими же громоздкими и массивными скамьями-лавками, смешанная публика — порой смешная, порой тревожная; а те, кому еще пиво не принесли пока...

— Пока! — с уже привычной для меня неожиданностью Гек поднялся. — Увидимся при случае.

Он почти шагнул в сторону, но все же чуть повернул голову (хоть и не пытался отловить моих пытливых глаз), словно видел в дубовых сваях потолка только им видимое и понимаемое.

— Кстати, зря ты ему о Сизифе… Береги свою «ложь» — это твоя зацепка.

Брат ушел, а я остался с его бокалом один на один. Пришлось задуматься — Гек ведь тоже умеет *знать*, правда, иначе, чем я. У него это *глубже.* Скажем так: я иногда могу *знать суть систем*, он же порой *видит структуру процессов*. Что имел он в виду сейчас, говоря о моей «лжи»?

В свое время придумался мне такой литературный жанр — «ложь», вроде как «Похвала глупости» Эразма Роттердамского (где не «похвала», а совсем даже наоборот). Так и моя «ложь» — этакая

замаскированная правда. Вроде как противовес устоявшимся общепризнанным мифам, которые к реальности, на самом деле, не имеют ни малейшего отношения. И эти «лжи» давались мне в свое время так легко!

а.

ЛОЖЬ О СИЗИФЕ

Верховному олимпийцу Зевсу
Начальника аналитического отдела

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

Тема.
Сизифов камень преткновения.

Предыстория вопроса.
Сизиф, как сын бога Эола, на Олимпе всегда считался ветреным и легковесным молодым человеком, а на его многочисленные духовные искания все смотрели сквозь пальцы. Но, в конце концов, его разговоры о полноте безграничной свободы приобрели опасный характер — люди начали прислушиваться к нему, перестали приносить жертвы богам и, вообще, стали внутренне раскрепощаться (что, с божественной точки зрения, является полным свинством). Сизиф, фактически, противопоставил себя богам и заявил о собственной независимости от них. Сила его духовной энергетики стала такова, что весь Коринф попал под ее воздействие: здесь даже перестали умирать люди — образ деяний совсем уж недопустимый для смертных. Совет богов решил примерно наказать Сизифа в назидание всем людям и грядущим поколениям их. Было принято решение: в условном месте провинившийся гордец должен вкатить на вершину крутой горы огромный камень во славу богам, а если ослушается — будет немедленно уничтожен. Поскольку предварительный экспертный расчет показал, что выполнение такого задания потребует не менее 100-200 лет, Сизифу на период наказания было предоставлено временное бессмертие. По выполнении же означенного условия пристыженный и раскаявшийся грешник должен будет вернуться в мир, к смертным, доживать свой земной срок в примерном смирении и безграничном послушании богам.

Возникновение проблемы.
Сизиф с нарочитой законопослушностью катил камень в гору, но упорно и настойчиво не доводил дело до конца — камень, не достигнув вершины, скатывался вниз. Поначалу это не вызывало никаких подозрений, но когда все рачительно вымеренные и расчетливо

обоснованные сроки вышли, стало понятно — наказуемый подло хитрит! Формально, выполняя волю олимпийцев, он практически стал недосягаем для богов.

Были предприняты попытки закрыть этот вопрос косвенно. Вначале наполовину сократили гору, но, хотя она и стала вдвое меньше, камень все равно не достигал вершины. Затем было решено применить узконаправленное уменьшение гравитации — камень стал легче пушинки. Но и это не привело к желаемому результату. Более того, из-за последствий всемирного закона равновесия произошла совершенно непредвиденная и никому ненужная трагедия: узконаправленное уменьшение гравитации в одном месте, вызвало узконаправленное увеличение силы тяжести в другом. Под этот «противовесный» удар попал безмятежно пролетающий Икар, вес которого возрос многократно, что и привело к стремительному и смертельному падению его.

Паденье паденьем, а камень и нынче там — то у подножья, то в движении, но не на вершине.

Имеющиеся последствия.

Среди людей упорно ходят слухи о бессмертии Сизифа и о его не подвластности богам. Боги начинают восприниматься как «стихийное явление», которое можно переждать, или, в крайнем случае, — обойти. Более того, продвигается мысль, что представление о богах — не боле, чем бизнес-проект определенных заинтересованных групп… Все шире распространяется идея, что человек может не зависеть от богов, хоть дело это и требует огромных усилий. Уже даже возникла поговорка: «Быть свободным тяжело. Но пока ты катишь свой камень в гору — ты свободен!» Образ Сизифа окружает ореол едва ли не божественности, но боги сделать уже ничего не могут: ведь, как известно, законы демиургов не позволяют богам отменять собственные решения.

Что делать?

Поскольку с самим Сизифом уже ничего сделать невозможно, предлагается кардинально изменить представление о нем в умах людей. А именно — *мифофицировать* его как персонаж. Представить его хитрым и алчным, приписать ему коварство и подлость (например, заявить, что Сизиф обманул Танатоса и заковал его в цепи, из-за чего перестали умирать люди). Наконец, «объяснить» наказание Сизифа богами: он, дескать, должен вечно вкатывать камень на вершину горы, но камень никогда не достигнет вершины, ибо так задумано богами. Предполагается, что в течение 4-5 поколений миф приживется и о недосягаемом для богов Сизифе можно будет забыть.

РЕЗОЛЮЦИЯ:
МИФОФИЦИРОВАТЬ ПО ПРЕДЛОЖЕННОЙ ПРОГРАММЕ.

2

— Не будет никаких «Докладных записок», «Резолюций» и прочей бюрократической чепухи, мы будем просто общаться. Я буду спрашивать, а ты — отвечать. Вот и вся твоя работа. Ну или часть ее…

Он не догадывался, что я умею не только *знать*, но и ждать. Вот я всё и молчал, с тянущей улыбкой, словно ириской, прилипшей к зубам, ибо риск мой был мал — это ведь они меня *призвали* к себе.

Халатный «орденоносец» некоторое время ожидал хоть каких-то слов в ответ, по-неандертальски тер ладони, затем попытался скрыть свою растерянность:

— Может еще… болданем... по осени?.. За Пушкина, сукиного сына? А?.. — Графинчик, оказывается, он как-то незаметно для меня прихватил с собой, теперь вот лихо достал его из широкого кармана халата, встряхнул и громко поставил на стол.

«Он любит выпить! Этим нужно воспользоваться», — подумал я, продолжая свое величественное молчание. Старик, наверняка, то же самое подумал и обо мне. Тишина зависла, а мы, завязшие в ней, вцепились друг в друга взглядами, словно два худосочных *армрестлингвиста*. Наконец он сдался и горестно заерзал глазами:

— Можешь обращаться ко мне просто — Мастер Дум.

— Увлекаетесь компьютерными играми? — с серьезным видом поинтересовался я. — Или с российскими депутатами… в сношениях?

«Думон» (так я решил называть его про себя) поднялся, и с неловкой старческой стремительностью заковылял к угрюмому древнему и древесному шкафчику-двойнику. По ходу, телом он совершал едва уловимые артикуляции, должно быть, в такт языку (либо мыслям), бормоча что-то маловразумительное. Я распознал только имя Харпер Ли, но название ее убийственного романа так и не прозвучало (хотя наверняка именно оно и было смыслом этого телесного и вербального порыва).

Клоны алмазных рюмочек не уклонялись от подрагивающей руки, поэтому ни капли «Болдинской осени» не было пролито.

— Ну, за Пушкина, сукиного сына!

— Пся крев! — поддержал я и медленно выпил.

В отличие от прихожей, в кабинете совершенно по-иному воспринималось это творенье Пушкина (Льва Александровича). Некогда зацветший хлебный ломоть, похоже, созрел, и уже источал тончайший дух ржаных колосьев, а вкус напитка сейчас казался парадоксальным — мягкий и отрывистый одновременно, словно верлибр.

Думон, отдышавшись, вдруг начал декламировать стихи, причем с таким неподдельным вдохновением в тусклых глазах, будто эти строки только вот родились, или, как минимум, он и сам не раз сиживал вместе с Пушкиным на дружеской ноге Карамзина:

— Он в том покое поселился,
Где деревенский старожил
Лет сорок с ключницей бранился,
В окно смотрел... —

старик щелкнул себя по общипанному горлу:

— и мух давил!

— Это вы про себя? — спросил я с нарочитой настороженностью.

— Нет! — взорвался Мастер. — Это я про Повелителя мух! И вообще, должен заметить и подчеркнуть, — он горизонтально провел пальцем, мысленно разрезая меня, — я взял тебя на работу (да и в Орден, собственно, принял) не для того, чтобы выслушивать плоские колкости, а для знаний!..

Было похоже, что я его таки действительно *достал*, поэтому сказал примирительно:

— Подлинное знание всегда колючее…

Меня несколько смутило, что я, оказывается, уже принят в Орден. Нет, я не собирался так вот наобум открещиваться от того, чего, собственно, еще совсем не *ощутил*. Но вот *форма* этого принятия…

— Принят, значит, — протянул я. — А как же обряд принятия? При свечах и в масках?..

Старик блаженненько заулыбался, он ощутил, что вот — наступил и его черед от души поглумиться надо мной. Сам выдержал паузу, и с серьезной насмешливостью спросил:

— Ты, стало быть, обряда какого-то ждешь?

— Конечно жду! — с воодушевлением подхватил я. — Вопросы и ответы, «Акация знает», два прихлопа мечем, три притопа копьем… Как же без этого? А то просто — «принял»… Для Ордена (ОРДЕНА!) — это слишком уж ординарно…

В последующем молчании Думона было что-то благоговейное. Взгляд его (за которым я прицельно следил) прожекторно выхватывал аляповатую лепнину потолка, и рикошетил в мои настороженные зрачки, ожидая безоговорочной капитуляции.

— А что ты сам по поводу этого… — он резко притормозил, — думаешь… или знаешь?..

Я попытался задуматься (или сделал вид этого), но, по уже годами отшлифованной привычке, брякнул то, что первым упало на ум, одним словом — наобум:

— Скорее всего, каждому гаду — по своему обряду...

Еще какое-то мгновенье я попытался пропозиционировать себя *кем-то*, но затем понес напропалую:

— Так ведь в Интернете это было «засвечено»: в каком-то соборе… Леонид Данилыч в мантии… с мечом набекрень… вернее, меч как лопату наперевес держит… Оно и понятно — президент, вторая версия... Хотя Яныка, наверное, в глухом лесу принимали — возле

свежевырытой могилы, с раскаленным утюгом в руках… Ну, а народец попроще — должно быть, в окружении венецианских масок, с завязыванием глаз и хождением над пропастью… Во, ржали небось? — я подмигнул Думону, хотя он сам сидел настолько застывши, что пришлось пару раз щелкнуть пальцами на уровне глаз, чтобы вывести его из оцепенения, и продолжил: — Кто чего ожидает, то, воистину, и увидит. Соответственно — «каждому товарышу — по своему опарышу»…

Мастер плямкал своими бескровными нитевидными губами и напоминал сейчас удивленную выловленную рыбу, которая все уразуметь не может — каким таким замысловатым образом она очутилась невесть где, в том «где», где все ее представления о реальности развеялись как дым (о котором она еще даже и представления не имеет!)

— Ты это знаешь или *знаешь*? — наконец прищурился Думон белесыми веками, из-под которых мутно запоблескивали старческие глазки, вновь наполнившиеся хитрецой.

— И то, и другое, — почти честно признался я.

Дело в том, что масоны-то у всех на слуху, почти приличным считается в обществе выговориться о вселенском заговоре вскользь, но со значением; с нарочито очевидным знанием дела приплести тамплиеров, скорбно помянув неумолимую судьбу Жака де Моле; а уж если кто общественно-значимый интеллектуал, то как же без изящного мата не вспомнить об иллюминатах! Короче, тема избита, тупа; причем, откровенно попахивает попсовщиной и поповщиной одновременно.

В то же время: я и сам, почитай, среди них. Но вот, что дивно, — чувства «единства» как-то не возникало во мне, скорее напротив — я ощущал некое «отстранение». Это словно, как в студенческом гаудеамусе: все пьют портвейн, а ты с детства привык к «Ркацители» (хотя, по правде говоря, мы-то со старших классов приобщены были к «шилу», которого, как известно, даже в духовном мешке не утаишь)...

— Короче, — я тоже резанул это замкнутое пространство правой рукой, величественно и беспощадно, — у меня вообще возникает ощущение, что вся эта ваша (или уже — «наша»?..) шайка-лейка напоминает… скажем так… ОПГ. В хорошем смысле, естественно.

Отодвинув брильянтовую рюмку подальше от края стола (дабы не «попасть на деньги» в случае чего), я плашмя плюхнул свои растопыренные ладони на стол, словно перед хитрым хиромантом (который попросту охренел бы при виде такой многополярной папиллярности).

— Одним словом, — завершил я свое выступление, — все бы ничего, да вот англичанка, или там, россиянка, вам (или уже — нам) гадит!

Думон вновь тоскливо забезмолствовал. Он стал похож на средневекового прохожего, которого окатили вдруг из окна холодными (еще со вчера оставленными) помоями; вот и присел на узкий уступ дома, ибо хуже уже не будет все равно... Но явно проявились опыт и закалка — всего лишь несколько бесконечно долгих мгновений ему хватило, чтобы овладеть собой. И миром, соответственно, тоже.

Пальцами правой руки он громко оттарабанил на гулкой столешнице какую-то звонкую чечетку, по интонационной ритмичности напоминавшую «Собачий вальс». Изобразил подобие всемудрой улыбки (на самом деле, улыбаться так мог бы разве что плачевно известный персонаж романа Гюго), и наконец (и почему-то почти радостно) воскликнул:

— Да, в какой-то мере, ты чертовски прав! И я доволен доволи, что мы не ошиблись в тебе.

Эта его самодовольная речь меня довольно-таки напрягла. Согласитесь, — старый хрыч, пусть даже и масон со стажем, — вдруг начинает высказывать тебе свое удовлетворение... Не эстетично как-то! Вот я и решил ударить по его же «жилке» (хоть потуга на самом деле оказалась жалкой):

— А как насчет еще по «Осени»?.. за Орден… — Я даже попытался напеть: — «Что такое осень? Это Орден!»

В этот раз Думон оказался неумолим. Он гнусаво подхватил:

— «Осень — это Орден под ногами»?.. — И произнес почти брезгливо: — Нечего распивать тут понапрасну сакральные артефакты… Пойдем-ка лучше в архив, ты ведь теперь почитай что — Подмастеренок… Там тебе *сподобней* будет.

Не скажу, что после этого безобразного сарказма настроение у меня улучшилось. Вечер, хоть и недолгий до теперь, оказался весьма плотно наполненным, по преимуществу — новым, неожиданным («Да и нужным ли?» — промелькнула мысль).

Вновь распахнулась очередная неприметная дверь, и когда мы начали спускаться небольшими, почти трехрядными, ступеньками, где-то справа и внизу вдруг с глухим и полуобморочным звоном начали бить часы. Я прямо оторопел…

II

Вообще-то, я терпеть не могу часы с боем. Особенно, когда они в твоей квартире (в твоем внутреннем пространстве!), да, тогда, да, когда они вдруг начинают почти телесно отхлестывать свои «бим-бом» с фанатичным и эксцентричным сладострастием тантричного самобичевателя, а ты выныриваешь из глубин холодного пота, смахивая солень слез с глаз, хватая воздух растопыренными губами… словно соломинку… потягивая старый добрый бурбон «Джим Бим» с лимонным соком которого вчера было более чем а когда наутро эта перегарная трезвонь… да в твое не отрезвленное до конца созна-

ние… да вбиваются эти джимы бимы и бомы с бомбовым грохотом разрушая восприятие и ты пытаешься осознать себя в где и как, то как-то…

Били часы, трезвонили в дверь, нужно было подыматься. Последний, двенадцатый, удар совпал с «ну-еще-раз»-ным настойчивым звонком. Я с безнадежностью окатил тусклым взглядом полуразрушенную после вчерашнего празднования квартиру, патрициозно завернулся в простынь, и заглянул в мутный расплывающийся дверной глазок. Похоже, на площадке стоял Гек. В принципе — логично.

Почти каждый год (не всегда, правда) брат появлялся *назавтра* после моего (да и своего, собственно) дня рожденья. Не с целью целевых пожеланий, нет! И не для того, чтобы самому с пресно-оптимистичной улыбкой *многие лета* выслушивать. Взаимные поздравления (равно как и подозрения) между нами не были приняты уже с самого-самого, так сказать — *начала*.

…Еще в том северном детском доме, еще до школы, после поздравительного завтрака, где нам выдали по *«именинному пудингу»* (все та же ненавистная манная каша, по случаю *торжества* политая липким непрозрачным сиропом), мы с Геком вышли во дворик. Хоть и был сентябрь, но все вокруг отблескивало блеклой изморозью, почти по щиколотку, скрипящей под ногами. Гек вертел пальцами какой-то механизмик — многозубчатую шестеренку на пружинке, унылую составляющую азартно и жестоко разобранной такой же унылой игрушки, а я перебирал пальцами клочок внутренней поддевки чьего-то пальтишка из натурального меха. Эту оторванную радость я выменял накануне за какую-то подобную же дрянь. Но было в этом меху и что-то дивное, до смеха, — даже на морозе он был теплым (если проводить по нему озябшим и обесцвеченным пальцем). Не сговариваясь, мы протянули друг другу то необыденное, что было у нас. Шестеренка с пружинкой напомнила мне карусель с семью лошадками. Вселенную, одним словом, и я отшвырнул ее куда-то в сторону, в изморозь-снег. Наверное и глаза потупил, стыдливо… Нет-нет, ведь я же видел, как и Гек снял варежку, провел пальцем по теплу оборванного меха, и так же стремительно отбросил его от себя. Почти содрогнувшись. Нельзя подарить представление о Мире. И нельзя подарить тепло. Ведь оно или есть, или — не нужно. Это мы поняли уже в свои шесть.

Да, еще был казус и в 28 лет — это когда все ошарашено шарили взглядами по экранам телевизоров, где в прямом эфире рушились башни-близнецы. Не знаю, как Геку, но для меня тогда это показалось таким серьезным символом-знаком, что я с трудом, постоянно потирая виски и попивая виски, дождался *назавтра*, 12-го сентября, когда брат появился. Да уж, после такого дня рожденья братьям-близнецам рассчитывать на что-то хорошее не приходится…

Одно время мне казалось, что Гек разучился удивляться, но потом я понял — нет, не так, он просто избегает растрачивать чувство удивления *внешне*, чтобы как можно полнее осознать его *внутри*. Вот и сегодня, 12 сентября, он, как и я, перешагнувший вчера Рубикон сорокалетия, задумчиво рассматривал мои новые напольные часы (небольшие, ростом со среднего карлика).

— Забавная штучка, — наконец протяжно промолвил он. — А так сказать, «исходу сна» — не помеха?

— Все мы на исходе, — буркнул я, тяжело вздохнул, уселся на всклоченную постель и тоже меланхолично уставился в тикающего Молоха.

На самом деле часы были довольно необычными. То ли не успели доделать их, то ли вложили в это какой-то свой сакральный подтекст — циферблата там не было. Дюжина веселых циферок хороводила вокруг так сказать «временного окна», но стрелки планировали прямо перед оголенным механизмом. Вновь все те же чертовы карусельные шестеренки, колесики, рычажки, латунный блеск и прочая вселенская дребедень.

— Ты скажи, — вдруг сказал Гек, — они с турбийоном! — и покосил пальцем на какую-то круглую коробочку в механизменных потрохах.

— Брат мой! — проговорил я с болью, — не… турбийонь мне мозг. Он и так тяжел.

Гек реально удивился:

— Ну что ты, что ты! — и, похоже, что процитировал нечто: — Ведь турбийон — это хоть и механизм, но он компенсирует влияние гравитации Земли на точность хода часов!

— А зачем? — почти с ужасом прошептал я.

Гек пожал плечами, еще какое-то время порассматривал тикающую (но не кающуюся) сущность, дверно постучал по весомотолстому стеклу, ритмично покачал согбенным пальцем вослед тупому ходу маятника, и повернулся ко мне (все также завернутому в простыню на хилом диване):

— Это тебе… *на работе*… подарили? За непосильный двухмесячный труд?

Я лишь тяжко и глубоко втянул воздух.

— Оставь!.. Вчера гады — знакомые папарацциники, приперли… «Подарок», в их понимании…

Мне прямо с дивана удалось дотянуться и слегка пнуть ногой ненавистный подарок. Часы вяло бомкнули (как будто у них тоже была похмельная отрыжка).

Гек степенно прошелся по облитому вином полу полуразрушенной квартиры, поднял стрелу с резиновой присоской от игрушечного пистолета, и посмотрел на меня насмешливо:

— А как же на работе? Корпоративчик-то был, небось? Ты ведь, помнится, впервые *работаешь*...

Да, работал я, действительно, впервые. Дело в том, что уже со студенческих лет я был, что называется — этаким гранд-рантье, поскольку сразу после оформления *права собственности*, начал сдавать квартиру на Льва Толстого в аренду (как правило — долгосрочную). Получаемых средств мне вполне хватало на безбедное существование, поскольку лишь десятина от моего дохода шла на съем однокомнатной квартирки на Ветряных Горах. Это место в Киеве я выбрал не случайно и не только из-за дешевизны. Само название… Ветряные Горы… Почти интуитивно мне казалось, что именно отсюда должен прийти тот самый, Тот, *Насылающий Ветер*… О котором впервые заговорил Саша Соколов. Но, впрочем, всё это — *школа для дураков*.

Да, уже почти два десятка лет я нигде не работал, зарабатывая на родительской квартире. Пописывал время от времени всякого рода мистические статейки в разного разряда журнальцы, и до поры до времени с удовольствием посещал бесшабашные (вернее — обезбашенные) тусовки журналистско-хроничной братии, которая вчера вдруг нагрянула на мой юбилей с вот этим самым напольным *турбийонным* хронометром…

…Скорее всего, именно по моим статейкам меня и вычислили *эти*. Я ведь, смеясь, выплескивал в сочетаниях печатанных букв всевозможнейшие «пророчества» и «видения», и они впоследствии почти всегда сбывались… Хотя, возможно, у *них* были/есть и какие-то свои особые способы *отбора*…

— Какой, к черту, «корпоративчик»! Я ведь кроме Думона за два месяца никого и не видел там. А он… Хотя, честно скажу, у меня к нему — ни страха, ни упрека…

Гек прилепил пистолетную стрелу к собственному лбу, скрестил руки на груди, приподнял голову и произнес:

— Единороги без страха и упрека…

Утренняя постпраздничная сухость в мыслях начала наполняться живительным смехом. Даже слова начали складываться.

— Хоть мы с тобой и бляшки-близняшки, но нет у нас единорожия!.. — натужно разродился я, наконец.

Брат состроил такую плачевно-отчаянную рожицу, что даже стрела со лба отвалилась. Он вновь поднял ее, опять приклеил под пробивающейся залысиной, выпрямился и уже совершенно серьезно спросил:

— А все-таки — как твоя *работа*? Или — *нельзя*? Очевидно, вся твоя квартира уже полностью «ожучена» — прослушиваема по случаю и без?

— Сам ты — «жучила»! — ответил я добродушно, все еще пребывая в блаженной смешливости.

Но что-то изменилось во мне и вовне.

В своем неподвижном молчании, с заведенными за спину руками, Гек сейчас был похож на святого Себастьяна, которого пронзили всего лишь одной стрелой, правда — прямо в лоб. Он ждал ответа.

Я поднялся, даже не делая попыток сменить свой саван на что-то более пристойное из одежды. Пошарил среди опустошенных вчера бутылок, ничего не нашел, и вновь уселся на диван.

— Даже не знаю, что и рассказать… У меня сейчас так, вроде бы «курс молодого архивариуса». Архивы изучаю, правда, не наши, а отчеты о сопредельных Орденах…

— Ваши-наши. Правильным курсом идете, товарищъ! — Гек вскинул руку, словно гранитный гитлерленинец на пьедестале.

Нет-нет! Все ведь совсем не так! Я крутил кистями рук, словно в них были кастаньеты, пытаясь подобрать слова. Но как это объяснить? «Мировой заговор» правильней было бы назвать «мировой договоренностью» между… Кем?

— Знаешь, Гек, на самом деле нет никакого «единого» масонства… Есть отдельные «региональные» (скажем так) структуры, ну или — банды... Каждая — сама по себе. Они как-то взаимодействуют, пытаются действовать согласованно… Но у каждой — свои обособленные интересы…

Я по-прежнему тряс руками, а брат, с все так же вскинутой рукой, озорно, и ошарашено одновременно, взирал на меня сверху вниз.

— Понимаешь, *мы* идем от Ярослава… Да, *как бы* Мудрого… — Я сдерживал себя, чтобы не проговориться. — А у *них*, у каждого — свой путь…

И, сам понимая, что Гек сейчас опять начнет чихвостить все и вся, выдавая хвост за гриву, я пустил свою вербальность в галоп.

— Это все очень давно началось, еще даже до халдеев… Да и все цивилизации так возникали… Но — не важно! Сейчас (как и тогда, собственно) были небольшие группы особо прозорливых людей…

— Понятно, «особы», — вклинил Гек.

Он с легким чмоком отсоединил стрелу от собственного лба, и, похоже, не мог найти ей применения. Да и моя речь, как будто, его мало заинтересовала. Как будто. Да, как будто он уже наперед знал, о чем я скажу.

— Нет, нет же! — я почувствовал, что начинаю раздражаться, но все равно не стал сдерживать себя: — Это те, кто… как бы это сказать… во! вне времени, да!..

Повторная попытка дотянуться ногой до часов вновь удалась, и напольное недоразумение опять металлически и меланхолически икнуло.

— Можно, конечно, разбить часы, но это не остановит Время… — грустно произнес Гек.

Он вдруг сочно приклеил стрелу к стеклу над стрелками, проверил надежность ее положения, и подмигнул мне:

— «Вне времени», говоришь? Это как Ной и прочие патриархи, что ли?

Мне стало как-то не по себе. Но не потому, что лет двадцать назад, в нашем взаимном двадцатилетии, он приводил мне наглядный урок условности времени такими же точно стрелами с присосками… И тогда, помнится, я накропал еще какую-то свою очередную ложь…

Нет, не потому. Просто два месяца назад я уже пересказал Думону то, о чем сейчас напомнил Гек. Словно тогда (два месяца назад) я озвучивал теперешние воспоминания Гека.

В глазах у меня потемнело.

b.

ЛОЖЬ О ЧАСАХ

СВЕРНИТЕ ГОЛОВУ КУКУШКЕ

…Старший преподаватель Теории Пружин, Гирь и Хода, Мих Михалыч (или — Миханя, как называли его за глаза школяры Механико-Временного техникума), жизнерадостно спал, и видел забавный сон про синюю лисичку. А очнулся он в кромешной тьме, перекособочась, сидя на каком-то железе, короче, черт знает где. Спросонья он поискал синюю лисичку, и даже невнятно позвал ее, но лисички не было.

Было темно и боязно. Да и жестко, по мягкой части.

«Может быть, я сплю?» — вяло сверкнула мысль, и почему-то сразу стало чуть-чуть посветлее. Не на столько, конечно же, чтобы между парами со школярами в карты на деньги играть, но все же…

Миханя сидел на какой-то огромной шестеренке, мазохистски свесив волосатые и худосочные ноги между металлических зубьев. Необозриоко виднелись и другие шестерни всеразных размеров, под которыми подрагивала огромная цепь, и в каждом звене ее легко поместился бы взрослый, платоновский, человек с давинчивски поднятыми руками, но несуразицу ситуации оттачивало *что-то*, в самой глубине бессвязно болтающееся, тупо-уныло-ходящее — туда-сюда…

А над головой вдруг дважды бумкнул какой-то ущербный колокол (словно язык у него был раздвоенный), и вослед ему, еще выше, что-то невнятно провякало что-то невнятное. «Здрасьте среди ночи», — подумал Мих Михалыч, но и засуетился: он заметил вдруг, что ноги его вот-вот будут захвачены и зажаты железными зубьями, которые тихой сапой наваливались на них. В полшепота взвизгнув, он неустойчиво вскочил; придушенно прошептал «Помогите!», но шаткий голос его растворился в механическом пространстве, словно и не существовал никогда вовсе.

На сон это было мало похоже.

Случается так, что понимание приходит *вдруг*. Вот и Миханя четко и внезапно понял, что находится в часах, в ходиках. Просто понял.

Тут же, как и водится в подобных ситуациях, вдруг самыми насущными стали совершенно несущественные проблемы. «Это так меня измельчили?» — отчаянно подумал вполне уважаемый преподаватель, — «или же я пребываю в каких-то огромных вселенских часах?..»

Вас бы это взволновало? Но Михалыч срамно ощупал себя всего с головы до ног (где только мог дотянуться), и никаких особых изменений в своей телесности не обнаружил. Подлый прыщ у подножия носа даже увеличился, так что все было в порядке. Ученый муж повеселел, хоть и в пляс не пустился, но призадумался. Взывать о помощи криком (а густой голос его ценили в школьном хоре) показалось не солидным. В самом деле: стоит взрослый мужчина в исподних трусах в незнакомом месте и орет благим матом… Нет, Миханя решил пройтись, осмотреться, выбраться своими силами, а затем найти того шутника, который все это подстроил, и смачно набить ему морду…

«Пройтись» оказалось непросто — реальный часовой механизм весьма отличался от теоретически обоснованного, так что весь многолетний опыт преподавателя не стал ему подмогой. Пришлось хвататься за какие-то холодные перекладины, подтягиваться и перелезать, перепрыгивать через провалы, в которых неумолимо двигались промасленные зубья, еще не охваченные кариесом, протискиваться мимо вялых валов, пригибаться, проползать и зычно чертыхаться. Все это было похоже на школьную «полосу препятствий». Но было похоже на нее лишь в представлении Михани, — ведь от занятий военной подготовкой он был *освобожден* своим участием в ученическом смешанном хоре…

Преодолев все, что можно было преодолеть, Мих Михалыч оказался перед некоей дверью, обитой веселеньким дерматином. «В конце концов, — пробормотал он сквозь себя, — это ничем не хуже, чем в начале начал…» Врываться неизвестно куда, да еще и в раздетом виде, показалось ему неприличным, поэтому, как воспитанный человек, Миханя припал левым глазом к замочной скважине.

Первое впечатление от увиденного едва не спровоцировало его рефлекторно отшатнуться, но он сдержал этот порыв, и, прерывисто дыша, шарил расширенным зрачком по задверному и заскваженному пространству. А там было на что поглядеть.

По широкому и полукруглому коридору белоснежно и стремительно, прямо конвейерными пачками, друг за дружкой скользили ангелоподобные кучерявые детки в кучерявых балетных пачках. «Секундочки!» — сразу понял соглядатай. А после каждой пятой дюжины их шествовали такие пышнотелые и нафуфы-

ренные дамочки, что Миханя совершенно по-новому стал понимать выражение: «Даю вам две минуты!» «Тут и с одной Минутой сполна бы управиться!..» — лишь скабрезно подумал он. Да так засмотрелся на златовласых красавиц, что и не заметил, как подошел Час. Тот прошествовал по коридору степенно, с нарочитой демонстрацией собственной значимости. Но вот лик его был какой-то настораживающий: с бегающими, словно рыбки в мутной воде, глазками и неуловимыми гримасами на скуластом, хоть и прикормленном, лице.

Когда Час прошел (вернее — скрылся за невидимым изгибом лишь отчасти видимого коридора), Мих Михалыч решился наконец «выйти в люди». Выровнялся, подтянул трусы, изобразил лицом «Эх!», легонько пнул дверь нагой пяткой и вошел. Заготовленное: «Привет! Не ждали?», так и не прозвучало, поскольку при появлении Михани поднялся пискливый *гвалт,* и началась такая суматоха, что не до приветствий стало.

Трусоватого богатыря вмиг окружила разношерстная публика: кроткие секунды смешались с затаидыхательными минутами и мутными часами, ну прямо как в доме Облонских! Все вокруг него глухо галдело и гладко ухало, с гулким эхом отстукивало каблучками и набатило сапожной ковкой; в общем, было как-то безбожно, почти безобразно, да и бесприютно. Михалыч растерянно таращился во всесторонние, а где-то глубоко в голове дергалось: «Одоевщина! Прямо одоевщина какая-то!».

Но вмиг все стихло. И слышны стали некие новые шаги — не то, чтобы шаркающие… А уж слишком явно совпадающие с неровным (Миханя это уловил — именно неровным, а не нервным) тиком того, что так в невидимо-подвижной и подножной глубине бессвязно болтается. Звук шагов, хоть почти и незаметно, но замедлялся, будто кто-то *тот*, за коридорным заворотом, попросту подкрадывался.

Но «тот» оказался «той»: словно черт из коробочки из-за поворота явилась старушенция — подтянутая как фигурой, так и лицом, с нелепой инфантильной косичкой на лысеющем затылке; но суженные (и, одновременно, — широко безумные) глазки ее не предвещали ничего хорошего.

— Соработница времени! — шепотом пояснила ближайшая к преподавателю Секундочка.

«Тю!» — подумал соработник пружин и хода. — «На нашу техничку в техникуме похожа!» В сознании его на мгновенье появился мутный и размытый образ: дистрофичная фигура уборщицы с такой же лысеющей косичкой, но со шваброй наперевес… «…ноги приберите, я мою тута!..»

…Но, как и любое мимолетное виденье, образ этот чудесным образом исчез, а перед глазами продолжала маячить костлявая реальность.

— Вы, это… — Миханя робко обратился к ней. — Часы ваши сбоят, как специалист заверить могу — отставать начало ваше время!

— Отстань! — отмахнулась старуха от одного из Часов, который начал ей что-то нашептывать на ухо. — Как это Время может «отставать»? «Отставать» от чего? — она насмешливо выкосилась на полуголого учителя, и вся свора вокруг радостно захихикала.

Мих Михалыч хоть и обиделся, но губы надувать не стал, и размерено, словно перед фалалеями-школярами, начал неторопливо объяснять:

— Вот вы не слышите этого замедления хода маятника… И не потому, что вы пока еще не специалисты, нет! Просто ваша… принадлежность к этим конкретным часам, не дает вам возможности ощутить главного — вы-то тоже замедляетесь и отстаете! — Миханя почувствовал, что и сам он говорит как-то протяжно, а посему засеменил словами: — Есть ведь и другие часы, кроме этих… И время есть другое… откуда я душой, так сказать…

Все это прозвучало очень глупо, лубочно и беспочвенно, даже для самого говорящего.

— И как вам *это*? — костлявая махнула головой округ своей синекуры, и косичка ее резанула глаза отблесками. — Вы представляете, есть, оказывается, еще и «другие Часы» во вселенной!

Все вокруг вновь удавились смехом.

— И что же ты, душевный человек, нам, «отстающим», посоветуешь?

Миханя совсем растерялся:

— Гири бы надо бы подтянуть бы…

— Он и гири! — насмешливо воскликнула по-японски раскосая старуха, а потом уж очень спокойно и в растяжку приказала: — В Большую шестерню его!

На несчастного преподавателя в трусах навалились Часы с червово-красными глазами и пиками наперевес, словно карточные короли из сказки, схватили и поволокли куда-то назад, за дерматиновую дверь, а затем сбросили в ближайший провал.

Мих Михалыч летел довольно долго для сравнительно небольшой высоты (метра три навскидку), ударился пребольно, и зубья шестерни стали констрикторно сдавливать его. «Может, успеют остановиться?!» — панически вспорхнула мысль, но затухающее сознание успело уловить лишь вялый «бум» в горних высях, а где-то, еще выше над ними, нелепое вяканье кукушки оборвалось на середине: «Ку!..»

3

Я успокоился, когда бой часов прекратился, а сами мы с Думоном сошли со ступеней на отполированный линолеумный пол.

Архив оказался помещением гораздо более просторным (вглубь), чем прихожая и кабинет. Стеллажи (под самый потолок) параллельными рядами тянулись в темно-небесную неизвестность, уходящий вдаль полумрак сужал горизонт возможных событий до неизбежности, а мягкий линолеум пола гулко сглатывал звуки шагов. Сразу за ступеньками, сбоку, стояло несколько каталожных шкафов красного дерева — хоть и быковато подбоченившихся, но идеально чистых, даже без намека на пыль. Всем своим видом они старались показать, мол, им одним ведом замысел Творенья.

— Да-а… — протянул я, — Так вот вы какие шкафчики у себя завели… хорошо тут все у вас организовано!

— Так ведь сам сказал — мы организованная… — старик призапнулся, — группировка. Кстати, а почему ты думаешь — «преступная»?

— Не в том смысле, что именно «преступная»… Просто вам ведь закон не писан, вернее — это вы сами пишете… законами… по воде… ну и там круги идут… На круги своя! — добавил я пискляво-сказочным голосом.

Мастер прямо-таки поскользнулся на ровном полу от такой интонации, искоса и скользко взглянул на меня, но ничего не произнес в ответ. Он просто остановился в самом начале длиннющего коридора стеллажей и нежно провел рукой по боковинам архивных коробок на одной из полок. Словно старую-старую кошку погладил, которая, собственно, и не ощутила ничего, но зато он для себя что-то почувствовал. В душе.

Пока Думон предавался лирическим настроениям, я попытался быстренько рассмотреть — что же там, на коробках этих, написано? Сравнив и сопоставив увиденное, я понял — здесь применяется какая-то особая классификационная система. На каждой коробке черной краской был грубо вдавлен свой «персональный» архивный шифр; но общую закономерность легко мог распознать кто угодно, даже не криптограф, вроде меня.

В начале было прописано определенное число индо-арабскими цифрами (внедренными, как известно каждому, харизматичным Аль-Хорезми); затем, через нижнее подчеркивание, следовало число уже римской цифрологии (в котором, кстати, при желании можно было углядеть и неведомую буквенную аббревиатуру); а уж в конце (опять же таки — через нижнее подчеркивание) сиротилась какая-то латинская буковка…

Покуда старик, будто свой кошачий воротник, поглаживал излюбленную коробку, сквозь скользящие прорези пальцев его растопыренной ладони я успел отследить шифр — «3_LXII_r». Что мог значить сей архивный архаизм — не берусь судить…

В какой-то миг Думон отпрянул от стеллажа, ухватил меня под руку и повел вдоль, неожиданно мягко проговорив:

— А ведь здесь, в этом… месте… словно и само время остановилось, не правда ли? — он так выгнул голову, заглядывая мне в глаза, что я даже испугался — вдруг сейчас раздастся громкий хруст и все оборвется…

Мягко высвободив призахваченную руку, ею же легко и фамильярно прихлопнув по меховому плечу старца, я с настороженным смехом проговорил:

— А что, собственно, вы называете «временем»? И где, в каком именно месте, *оно* остановилось?

Это мое *«оно»* прозвучало настолько выразительно, что он прямо отпрянул назад, затем словно отряхнулся от наваждения и, не коснувшись даже, оттолкнул меня взвинченными суставами усталых пальцев:

— И что ты имеешь в виду? — глаза его щерились, а когтистый взгляд настораживал; это как игра с еще не таксидермичной кошкой: то ли просто хлопнет лапой, то ли до крови распотрошит запястье.

— Нет-нет, это безотносительно!

Я глубоко потер ладони, стирая несуществующие стигматы, и, хоть с натугой, но довольно весело, выгнув брови дугой, стал рассказывать:

— Да просто лет двадцать назад были мы с моим братцем на даче у одного приятеля… А там, на втором этаже его халабуды, висели ходики, и не просто «скворечня» какая-то, а серьезные — циферблат под стеклом, гири — в виде якорей, да и сам корпус как батискаф. — Я на мгновенье и сам начал погружаться вглубь воспоминаний, но Думон вдруг хрипло прокашлялся, так что пришлось вынырнуть и продолжить: — Ну и лук там какой-то был, детский, с прилипающими стрелами… Короче, стали мы стрелять в часы, и кто-то таки попал. Прилипла стрела, висит, и тень от пришлепки на циферблате виднеется... Три минуты провисела, пока не отвалилась — мы специально отслеживали… Потом братец мой гири оттянул вниз, почти до упора, и предложил опять «популять». Кто-то, в конце концов, вновь попал в циферблат. Приклеилась стрела, и мы опять минуты три на нее глазели. А Гек говорит — а по часам-то всего тридцать секунд пошло! Так часы ведь останавливаются, мы типа говорим…

С грустью осознавая несусветность всего произносимого, я робко глянул на Думона, а он таращился на меня так безумно, что я еще быстрее заговорил:

— Ну и он, брат, такую идею подвел — есть внешнее, идеальное, душа, так сказать, которая тенью держится здесь, в материальном… «Бляшка», как сказал Гек. И вот она, «бляшка», или «душа», если угодно, может продержаться здесь сообразно *своему* времени, вне нашего… Потому-то и Ной, и прочие «осенние» патриархи по 600-1000 лет жили — просто время тогда быстрее кружилось, а сейчас замедлилось, останавливается…

Мастер был обескуражен, он явно тужился осознать столь очевидное для меня, пыхтел, нервно дергал своей надбровной безбровостью, и, словно муха, потирал свои тоненькие лапки. Я отчаянно попытался как-то объясниться:

— Душа-то, ведь у каждого есть… Бляшка, так сказать, связующее звено между миром сим и не сим… И не зависит она от скорости времени *здесь*, поскольку она — *вне*… Вот и «живем» мы, в смысле «люди», — то тыщу лет, то сотенку… Так может, все же еще по соточке?.. — вновь робко вымолвил я.

А Думон вдруг махнул на меня рукой, и решительно двинулся вглубь архива. Его карикатурная фигура на фоне далекого нарисованного окна смотрелась достаточно фактурно, но я точно так же махнул на него рукой, и вытащил из ближайшего стеллажа какую-то «зашифрованную» коробку. В ней оказался всего один бумажный лист, писанный от руки, изрядно выцветший и блеклый. Но заголовок этой древней писанины был весьма любопытен: «Список великих магистров Ордена тамплиеров» (причем, писано было через «ять» и «ер»). Ничего нового я в нем не увидел — все те же 23 имени: от Гуго де Пейна до Жака де Моле… Воистину, «тайная» информация! Правда, в самом низу, царапковато, словно гусиной лапой (или пером) было приписано линялой скорописью: «перекрестной проверкой подтверждено». С все теми же «ять». И какая-то неразборчивая подпись.

Пожав плечами (словно чью-то неведомую руку), я вернул лист в его матрицу, возвратил в предопределенную ему «социальную ячейку», и как раз вовремя: Мастер Дум плавно шаркал в мою сторону.

— Ну и что там начитал? — спросил он почти весело.

Вообще-то, подобная «веселость» порой попросту пугает. Этак и оскал «костлявой» можно условно считать приветливой улыбкой…

— Пардон, Думон, — невольно я произнес придуманное прозвище вслух. — А что, собственно, во всем этом, — я широко обвел рукой архивное пространство, — *тайного*?

…Он кивал головой с томной монотонностью, но его «как бы» улыбка постепенно сползала, пока и вовсе не плюхнулась на пол, растворившись в нём.

И внезапно этот Мастер (я даже молниеносно сложил — «Ложе-Мастер») начал внешне как-то озвериваться — лицо его вдруг словно оказалось в кривом зеркале, оно видоизменялось со змеиной ядовитостью: от глазовой немигаемости гадовой, до динозаврьевого помигивания век…

— А что ты вообще знаешшь?! — он почти шипел. — А скажжжи-ка — с чего так вот возникло Шшумерское царство? С Законом, Математикой, Астрономией, Календарем? А?.. Ведь до того были, как общепризнано, лишь «земледельческие племена»? А?.. А халдеи — это что, просто клоуны? А?.. А сказанное Им, что «будут первые по-

следними»? А кто первыми-то были? Адам и Ева! Вот они-то и последние, кто цену имеет! А?.. Нет?.. А еще…

Эти его «а-а» меня, скажем так, — огорчили. Ну, в самом деле — вот сейчас только был нормальный человек, даже почти улыбался весело, и вдруг.. С настороженностью в голосе и заброшенностью в глазах, я в своей обычной манере — бездумно — прервал его:

— Своими вопросами вы вгоняете меня прямо в «шум и ярость»… Кстати, Фолкнера читали?..

И он погас. И вдруг забормотал:

— Как же, как же… «Осквернитель праха»…

И внезапно он упал своим папирусным лицом в мою щетинистую бороду. Его вялая лапка скребла меня по несуществующему загривку. Я понимал, что он бесконечно одинок в этом своем Ордене, и готов пасть на любую, даже не героическую, грудь. Должно быть, я впервые пожалел кого-то. Но ненадолго. Брезгливо потеребил его кошачье манто на его же плече, весьма решительно отпихнул его от себя, и бодро спросил:

— Вернемся к Ордену — а кому это нахрен надо, вообще-то?.. В плане — вступать в Орден?

В очередной раз Думон проявил признаки жизни: он отпрянул от меня и замахал серыми и обтянутыми кистями рук:

— В Орден не вступают… Как можно вступить в несуществующее? Но Орден есть!

Еще буквально две минуты, и он уже вновь стал членораздельным человеком-пауком. Каким и был в самом начале.

— Подмастеренок, — затянул с писклявой противностью, — Где тебе понять то, что *над*! Так, Орден сияет гениями, но они — лишь вершина айсберга, а внизу, в подводье, — (он почему-то ткнул указательным пальцем в потолок), — там просто влиятельные тупицы! Да и кто вступает в Орден? Всё люди недалекие...

— О да! Далеко ходить не надо… — поспешно вклинил я.

— Я имею в виду — «внешний» Орден! — насупился Думон, — А мы ведь внутри, в архиве, во чреве, так сказать…

Было абсолютно ясно, что архив — это святыня для него. Хотя, вероятно, и не для него одного.

— Но все это неважно! — он вдруг вновь разулыбался пряничной плетью. — Твоя задача — рассказать, что *знать* сможешь. Ну и кое-что попереписать придется. То, что поистерлось временем. В промежутках, так сказать, между *пророчествами*.

Он уже откровенно кривился усмешкой.

— Я ведь не писарь волостной, Шельменко, в конце концов… — кривизна моих собственных губ была перпендикулярна, я бы даже сказал — «полярна» думоновой.

— Успокойся. В основном ты будешь читать, читать и читать…

— Попрошу объясниться! — буркнул я мрачно.

Некоторое время он смотрел на меня с улыбкой, больше напоминающей трещину на древней амфоре. А затем заговорил так сладко, словно выдавливал крем из заварного пирожного:

— *Любезный читатель*, я расскажу тебе все. Все-все! Но в *свое* время. — И, тяжко вздохнув, продолжил: — Минут через пять…

III

…Уже минут пять я неподвижно смотрел сквозь мокрое оконное стекло, сквозь размытые дорожки стекающих капель, а ноябрьский дождь, не стихая, все шел и шел, как будто странствующий монах, которого ничто не отягощает.

— Эй! Может, хватит уже?..

Втянув голову в плечи, дождь продолжал идти, и даже не обернулся на мой оклик.

«Неведомы нам чужие пути», — подумал я. Действительно, с чего это вдруг сегодня повечеру у меня на столе расставлены всякие вкусности, как то: тонко нарезанный багрово-прозрачный (почти призрачный) хамон, в фольге и на горячей золе запеченная бужениина… Но не хочется уподобиться каким-нибудь натуралистским Золя или, там, братьям Гонкур.

Я ждал брата Гека? Нет, я просто ждал, вернее — *знал*, что сегодня ко мне кто-то заглянет.

При трезвоне дверного звонка я придал натянутую струнность своему позвоночнику и, даже в глазок не моргнув, распахнул дверь. И немного удивился.

На пороге стоял не то, чтобы *друг* (друзей мы не определяем, они просто есть), а некий давний знакомый. Высокий, огромный, внешне он напоминал глыбу глины, из которой еще не успели ничего вылепить. Хотя… Он содержал на своем лице аккуратную бородку, выстриженную «под лубок». Да и вообще, был жутким аккуратистом! Но нет страшнее аккуратиста, лишенного вкуса. Представьте, он носил джинсы, выглаженные «со стрелочкой»!.. А еще он вечно таскал с собой здоровенную сумку, напоминая всем своим видом винтажного коробейника. «Мой альфа-сумец!» — незамысловато хвастал он очередной жертве знакомства с ним, перекатывая свое сумище из заплечья на живот (которому, кстати, мог бы позавидовать любой борец сумо).

Но в громоздкой сумке пряталась не какая-то коммивояжерная дрянь, а супер профессиональная фотокамера с полудюжиной сменных объективов *«на все случаи жизни».* (Вот и выходит, что все случаи жизни можно классифицировать всего лишь по шести категориям…) Был он вольным фотографом, причем, даже за границей с успехом провел несколько персональных выставок. «Я — *photograph*», — с гнусавым прононсом представлялся он малознакомым людям. Но, у хорошо его знавших, он имел другое прозвище —

«Пото́граф». То ли из-за собственного веса, то ли из-за тяжелой сумки, его лицо всегда (даже зимой!) не покидали мелкие капельки светлой влаги, словно вот только что ангел-хранитель встряхнул над ним своими промокшими крыльями.

Будучи Аркадием, он не обижался за Пото́графа, поскольку имел настолько широкое чувство юмора (в самом деле — необъятное), что даже нарочитые оскорбления в свой адрес воспринимал попросту как неудачную шутку…

— …Аркаша! — я развел руки в стороны по-одесски (или даже по-детски). — Каким ветром? Или каким дождем?..

Но он не ответил. Лишь привалил «альфа-сумец» к обувному шкафчику, быстро снял свои промокшие мокасины, так же галопом сбегал помыть руки, и вот уже в выглаженных «со стрелочкой» джинсах начал крутиться вокруг моего аппетитного стола, словно конь в цветочной лавке. Широко раздувая ноздри, кося во все стороны лиловыми глазами, он впитывал в себя все мясное богатство — и цвет, и запах. А потом вдруг радостно хмыкнул:

— Да... Моя травоядная змея здесь бы заскучала!

«Травоядной змеей» он за глаза называл свою жену-вегетарианку.

А потом добавил:

— Хотя в пятницу скучать не пристало. Сегодня ведь — пятница?

— Ну да, — ответил я, быстренько сложив дни недели в уме, словно простенький пасьянс, — практически — «пятница, 13». Ну не по «номеру», а просто последняя пятница ноября 13-го года…

И вот мы ели-пили, ели-пили, причем, ненасытный друг Пото́граф постоянно вставлял «Ёлы-палы!» во время своего разговора. Да, именно — *своего*. Формально, конечно же, велась беседа. Но я уже очень давно отучил себя быть *соучастником* неинтересного мне. Я приподымал брови (что не мешало мне жевать), прокашливал междометиями (проглатывая очередной кусок), и даже что-то говорил между глотками виски. Хотя подлинное мое сознание отстранилось и не принимало никакого участия во всем этом действе.

Я включился в разговор уже на балконе, где мы покуривали, да и то потому лишь, что Аркадий назойливо повторял:

— … все эти танцы-шманцы так же похожи на протест, как я — на английскую королеву. — Он даже прихватил меня за верхнюю пуговицу рубашки.

Терпеть не могу панибратства, тем более панибратства «по случаю», равно как и тупых штампов, особенно в сравнениях. Захотелось как-то приструнить его. А он словно нарывался на это: приблизил свою одутловатую и потную физию почти впритык к моему лицу, вяло повращал ею на заскорузлых шейных позвонках, и навязчиво переспросил:

— Нет, ты скажи: вот я, похож на королеву Англии?

Тут я отыгрался сполна:

— Ну… Если в профиль… И немного сверху… Знаешь, — заключил я торжественно: — в таком ракурсе (или дискурсе?..) определенное сходство имеется!

Пото́граф разразился гомерским смехом.

— Молодец! — похвалил он. — За словом в карман к тебе лучше не влезать!

— Это точно. «Не влезай — убьет!» — знаково ответил я, при этом оскалил череп и скрестил кулаки над ключицами.

Аркадий, конечно же, не испугался, а просто решил вернуться в комнату, поближе к столу. Пребывая в жевательном умиротворении, он спросил:

— Так ты точно уверен, что грядут перемены?

Я напрягся:

— В каком смысле?

— Ну ты же сам полчаса назад сказал, что будут серьезные перемены…

Вот так так… Тик-так. Время неуловимо (ну и неумолимо, за компанию).

Что же мною было бессознательно высказано во время *разговора*? Сегодня днем я действительно говорил о неизбежных переменах, но… Думону! Мастер горестно качал головой: «На наш внутренний архив посягают? А перемены по совпадению? Ох… Не верю в совпадения…»

— Так из этого Евро-майдана в какую сторону перемены будут? Предскажи! — Аркадий изящно вытирал жирные губы салфеткой. — Ты же у нас… как там тебя называют — козанострадамус!

Но я уже плыл в другом времени.

…Во время уроков, как и все нормальные ученики, мы неистово ждали звонка на перемену. И этот звонок не был похож на современную будильниковую трезвонь, или там, на автоматную очередь. Он казался музыкой сфер, мелодией струн… Нет, скорее, — не казался, да мы и не задумывались о звучании его, это был просто звонок, дар, почти что безвозмездный.

В вестибюле нашего учебного корпуса, на первом этаже, был прикован к стене огромный циферблат со стрелками, словно компас, указывающий в космос неведомого. А под ним была кнопка того самого звонка, сирены, можно сказать. И вот на переменках мы с неистовой грустью созерцали, как наша техничка — сухая старушенция с раскосыми глазами и выцветшей косичкой, — выносила табурет из своей *подсобки*, неуклюже влезала на него и всем своим сохлым телом припадала на кнопку звонка. Конец перемены. Начало нового урока. Но мы безутешно жили надеждой, что рано поздно ли, вновь будет звонок новой перемены.

И вот вначале в полшепота, а затем и полушепотом, на ухо в оглядку, и безоглядно гласно, на подпольных перекурах за бараком *«трудового комплекса»,* и в полуночных спальных бдениях, ширился в нашей детдомовской среде миф о предопределенности звонка на перемену. Более того, почти достоверную уверенность вызывало предположение, что существует некая «Книга перемен», по которой, собственно, и производятся все эти надавливания на зычную кнопку. А вот если заполучить эту книгу, то можно будет и предугадать, и предопределить свое будущее…

Весь девятый класс у нас прошел в поисках «Книги перемен». И поиски эти заводили нас в самые невероятные миры.

По-очереди, выпросивши у очередного ненавистного учителя разрешения «пописать», и выйдя из класса, мы искали эту книгу. Искали истово, как ту надежду о лучшем и правильном, которая уютно гнездится в каждом из нас, но которая редко раскрывает свои крылья для прочтения.

Как искали? А очень просто. Вот я, однажды «выпросившись», причем, во весь голос, и не стесняясь, опередив нерадивый вопрос учителя словами: «Нет! Не уссался опять, а во избежание оного!», вышел в вестибюль. За спиной моей захихикали, в основном — девчонки, но для меня это уже не имело смысла.

Внизу было так пусто, что я даже испугался.

Отсутствовала обычная межурочная суета; пространство первого этажа казалось космосом, в котором я вдруг очутился без скафандра. Но скованность и смятость чувств были недолгими. Это ведь неплохо, когда есть цель. А она у меня была.

На цыпочках, по-актерски оглядываясь, и, совершенно непонятно зачем, растопырив руки, я направился к *подсобке*. Расчет мой был прост — неспроста техничка перед звонком выходила именно оттуда, значит там и должна храниться заповедная книга… Наклонился и заглянул в замочную скважину — там была кромешная тьма. Легонько потянул дверь на себя — она оказалась незапертой. Распахнул ее в ожидании чуда… Но в этом убогом и мизерном пространстве *подсобки* оказалось место всего лишь для швабры с мокрой тряпкой, побитого временем цинкового ведра, хромого табурета, и когда-то черного, но уже выцветшего в серое, халата, повешенного на добротно вбитом гвозде… Я тогда задумался — а в чем же смысл?..

…Но Аркадий бодро пригвоздил меня ударом по плечу (оказывается, он даже успел зашнуровать на ногах свои мокасины), чмокнул растопыренными губами в пространстве (благо дело, не впритык) со словами: «Спасибо за всё! Ты меня просветил!», и уже ковырялся одной рукой в дверном замке. Что меня удивило — «альфа-сумец» был у него за плечами, но саму камеру он почему-то держал

в «свободной», так сказать, руке. Уже из-за порога, из-за раскрытой двери он вдруг молниеносно прицелился. Щелкнул затвор, и меня ослепила вспышка.

Зря он это… Ни я, ни Гек, никогда не фотографируемся, разве что по необходимости — для документов. Я протер ладонью глаза, и глухо, словно из-под мешка на голове, произнес:

— Ох, Аркаша, не играй с огнем!..

Но уже хлопнули двери лифта, и он укатил вниз, в пространство людей, в преисподнюю…

С.

ЛОЖЬ О ПРОМЕТЕЕ

Сразу хотим оговорить, что письменный источник, послуживший основой настоящего исследования, весьма сомнителен, фактически — недостоверен, его невозможно перекрестно проверить, да и сам он (даже на ощупь) весьма скользковат. Тем не менее, факты, изложенные в нем, совершенно гармонично вписываются в психологический портрет нашего мифического героя, а значит — нельзя этим документом пренебречь. Но к самому источнику мы еще вернемся в конце нашего повествования, а пока представим (хоть и фрагментарно) подлинный жизненный путь некоего Прометея.

ИМПРОВИЗАЦИЯ ЧАСТИЧНОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Не лучшая судьба — родиться в роду титанов. До возможностей богов ты еще не дотягиваешь (хотя сполна чувствуешь эти их, божьи, потребности); среди людей ты тоже как-то не у места: словно белая ворона в стае черных дроздов (мелки, мелки человеческие потребности, а уж возможности их — и вовсе курам на смех!)

Кое-кто надменно считает титаново племя коварным и туповатым, но на самом деле, главная беда титанов — они чересчур доверчивы. Еще любопытно: если «коварство» кого-то из них направлено на богов, то люди почитают это «доблестью», а если наоборот — то уже боги венчают своих пасынков доброжелательными взглядами.

…Япет — титан-отец героя нашего — на большое не замахивался, и ничем особо не проявил себя, разве что во время титаномахии (десятилетней бойни с богами) за чужими спинами не прятался, и — как следствие — благополучно был повергнут с остальным большинством в Тартар. Возможно, тогда-то и были заложены основы восходящей «демократии», когда «большинство» неизменно и восторженно погружает себя (и прочих) туда, куда и Макар телят не гонял.

Макара, правда, в те древнегреческие времена еще не было (по авторитетному свидетельству Куна), но кара богов очень даже была, и обрушивалась она как направо, так и налево (да и центристы не минули ее!).

…Само имя — «Прометей», значило — «думающий до», и дано оно было как бы в противовес унылому большинству, думающему «после». Но так считает лишь унылое большинство, не знакомое, ни с нотной грамотой, ни с музыкой сфер, и в лучшем случае, думающее до-ре-ми-до-ре.

Не музыкант Прометей в тростниковой дудочке, нет! — в тростниковой трубочке — даровал людям огонь, похищенный с Олимпа. Чем была набита эта трубочка, уточнять не будем, но с появлением ее (вернее — ее содержимого) фантазия людей воспарила в такие запределья, где даже олимпийское спокойствие чем-то напоминало известную картину Мунка (временно похищенную, кстати, подобно упоминаемому огню).

Гнев богов, как и водится, лишний раз подтвердил неадекватность гневающихся. Складывается впечатление, что к тому времени боги уже полностью потеряли связь с реальностью, и действовали иллюзорно (хотя и весьма жестко). Разрушать печень наказуемого можно было бы и более простым способом (о котором в наше время изысканно намекают лишь канадские производители виски «White Eagle»).

Общепризнанная мифологическая трактовка гласит, что наказание длилось 30 тысяч лет и Прометей никогда больше не спускался к людям, но наши сомнительные источники убедительно свидетельствуют об обратном. Поскольку в осознанном понимании физики скорость *проистекания времени* — величина не постоянная, более того — замедляющаяся, то десятикратное уменьшение этой скорости с мифологического до исторического периода, представляется вполне логичным и неоспоримым фактом.

Итак, «огнедаритель» был отправлен именно к людям. Как титан, он имел, конечно же, бессмертие, он был неизлечимо жив, но напутственные глаголы гневных богов, желчно и алчно жаждущих смирения, он пропустил мимо ушей. А зря! Ведь сказали они: «Что подарил, от того и погибнешь!» Но персонаж наш лишь истово твердил, что огонь — начало мирное, дровоядное…

Дальнейший путь нашего героя вяло развеивается в мутном и полудрожжащем горизонте бессмысленно-бескрайных степей, безысходных и пряных. Так же вяло и безысходно Геродот долдонит о том же: о бескрайних степях, о скифском царе… Но тут-то и всплывают до боли знакомые символы.

…Ох, как пали с неба на землю скифскую золотые предметы: плуг, ярмо, секира и чаша. Подошел к ним старший брат Липокаис, но запылало золото огнем. Приблизился тогда средний брат, Арпоксаис, ко благу, с неба падшему, но и он попал в объятья огненные. А младший, Колаксаис, как подошел, так огонь и погас вмиг. Отнес он золото в дом свой, а старшие братья царем его признали. Ну? Властелин огня неотменяем!

Долго ли, скоро ли Прометей скифствовал, но потянуло его на свою мифологическую родину, да и от богатств подустал он.

…В Афинах было хоть залейся. Самовосстанавливающаяся печень оказалась как раз кстати. Но начали подводить почки, да и вообще, на земле весь род людской чтил не дар прометеев, а тупо проматывал наворованное. Эллада явно была не в ладах с пониманием божественной силы, и откровенно бузила.

Отчасти в насмешку, но до некоторой степени и с намеком, Прометей стал называть себя — «Рожденный Зевсом», что по-гречески звучало как «Диоген». Но «эпатаж» — стало его вторым именем. Народ прямо таки возненавидел этого «киника», проживающего во вместительной бочке, а Платон, так тот прямо (хоть и недалеко) слюной брызгал на него. Еще бы! Ведь когда великий мыслитель, глядя на бомжа Диогена, припомнил о своем некогда рабстве у тирана Дионисия, где сам он никогда лично не мыл овощей, в отличие «от этого чмо», то услышал в ответ, что «если бы мыл овощи сам, то не оказался бы в рабстве!»

Благодаря тому же философу, Диоген-Прометей высказал и свое отношение к неблагодарному человечеству. С какого такого бодуна сболтнул Платон, что человек — это «двуногое без перьев»? Наш герой единым духом приволок ощипанного петуха и, неистово размахивая им во все стороны (словно имитируя несбыточный полет), стал выкрикивать: «Вот он — платоновский человек!»

А еще он скорбно бродил по городу с горящим светильником — искал «человека», чтобы как встарь, подарить ему огонь…

И кто собственно, кроме загорающего во время сиесты титана, мог сказать Александру Великому: «Отойди, ты закрываешь мне солнце»?..

…Но опять его путь размывается беспощадными дождями и опрелым временем, окрыленным неопределенностью. Как будто, промелькнул он Вифлеемским огнем; вроде бы, при страшном пожаре Рима он отстраненно смотрел на Нерона; поелику последовало Великое переселение народов, то и Прометей переметнулся на север, где умело откосил, и не стал рекрутом Крестовых походов.

Можно, конечно, причислить его и к движению тамплиеров, поскольку вскользь он обмолвился о Жаке де Моле, но тут мы уже непосредственно подходим к источнику, из которого и проистекают все эти сведения.

…В самом конце XV века добропорядочный гражданин Толедо — Хоан Кастильский (надежный меняла и оценщик по случаю), — присутствовал понятым при допросе оголтелого еретика Святой Инквизицией. Подозреваемый не юлил и не ерничал, но нес настолько несуразное повествование своей жизни, что даже известный и заслуженный палач лишь щипцами разводил в недоумении. Еретюга плел что-то о Платоне, о неких скифах, об олимпийском многобожии, ти-

таном себя мнил, Прометеем; и как его ни мяли, от диявола не отрекался, поскольку, похоже, вообще не понимал — что от него хотят.

Хоан Кастильский был допущен (понятно, лишь как понятой) в первый ряд при аутодафе. Когда огонь костра взметнулся вверх, он услышал, что сжигаемый еретик лишь скорбно воскликнул: «Быстрее всего стареет благодарность!..»

Следует отметить, что в то время труды древнегреческих философов еще не были распространены в Европе, а посему эта фраза Диогена не могла быть известна обыденному меняле. Поэтому возможно допустить правдивость его рассказа, который он изложил на довольно таки недешевых листах, озаглавленных «О людях необычайных встречи». Возможно также, у него был целый цикл таких записанных встреч; но также вероятно, что прочие его встречи сгорели в известном Толедском пожаре, как и наш персонаж…

4

Говорить Думон начал не через пять минут, а почти сразу же после длительного откашливания (я даже по спине его прихлопнул, но он так истерично передернул своими скорбными плечами, словно скорпиона стряхивал, что и я сам отпрянул, будто на того самого скорпиона невзначай наткнулся). Я постеснялся спросить о причине и клинике его кашля — мало ли! — я ведь и сам по утрам курительно откашливаю ой как! Но мне хотелось все-таки дознаться *обо всем*, как он только вот обещал, поэтому я начал внимательно вслушиваться в его бессвязные хриплые реплики (а в этой архивной бренности по-другому их и назвать невозможно):

— Вообще-то, то, что конспирологи называют «заговором», является просто архивом… и у нас… и у всех… — глаза Думона разгорались, он обращался ко мне, словно перед ним был зал, в котором пешки заняли галерку, но я уже не был зол, и слушал его с усмешкой.

— «Владеть миром» — это уныло! А вот знать, *что* на самом деле он из себя представляет — занятие вполне достойное! И мы знаем!

Я, конечно же, по-пилатовски не удержался:

— И что есть истина?

Но он не слышал и не слушал меня, словно сам я был лужей, которую должно преступить, даже не заметив.

— Наш архив… — он уже напоминал зажженный бикфордов шнур, — содержит истину — первородную, изначальную, подлинную… О которой подлый свет и не догадывается… Да покажи мы миру любой *оригинальный* документ из нашего архива — и он перевернет мир!..

Я искоса пожал плечами.

Вообще-то, невзирая на свои безволосые седины, он сейчас скорее был похож на гимназиста начала XX века, который вдруг, в

отместку нерадивому, с его точки зрения, миру, решил взорвать себя на великой идее… Но не было идеи. И мир был другим. Да и сам Думон, похоже, захлебнулся в самом себе.

Он опять долго кашлял (но я даже не подступил к нему — просто скрестил руки, стоял в стороне и усмехался), а он, сквозь пронизывающий его насквозь кашель, еще долго долдонил что-то о «Еще не время. Сейчас это невозможно озвучить!» Но потом ни звука — дооткашлялся и затих.

Порой в жизни любого человека бывают моменты спонтанной сердобольности, когда он внезапно испытывает экзистенциональную жалость ко всему сущему (словно Господь, заблудившись, заглянул случайно к нему в душу, с вечно печальным ликом своим, и невзначай, без всякого повода, светло улыбнулся). Так и меня вдруг порвало.

— Думон! — воскликнул я безоглядно (и безлюдно, собственно), даже сложил над головой треугольником руки, — А вы верите в Бога?!

Обычно я задавал этот вопрос, чтобы «перезагрузить» собеседника, чтобы дать ему возможность погрузиться в свое.

Архивариус протяжно присел на приступку, издавая при этом совершенно неприемлемые в данной ситуации звуки, которые в миру обычно именуют «кряхтя».

Он и сам вдруг изобразил губами некую геометрическую фигуру (дугу), и насмешливо спросил:

— А ты веришь в эволюцию видов? В инфузорных динозавров и ти-рекс-туфельки?

Такого вопросительного ответа я не ожидал, и, отчасти, растерялся. А Думон всё гнул губами свою кривую линию:

— Еще с самого-самого, так сказать — начала, — (я вздрогнул), — *наши* создали такой социальный институт — «церковь». Не ради бога, конечно, а для людей.

— «Для», но не «ради», — настороженно поддержал я новую тему. — Типа оффшорная прокладка с зычным именем…

Думон удивленно почесал шею прямо через меховой воротник. Утвердительно пожал плечами:

— Ну да… Ведь к божественному и к духовному церковь никакого отношения не имеет. Это просто удобный инструмент манипуляции. Как говорится: «каков поп, таков и приход».

— «Приход»? О, покуриваете травку?.. — я запыхкал губами.

Мастер, на удивление, совершенно искренне рассмеялся:

— А вот это ты удачно!.. Ценю. Как там, у садистских социалистов: «религия — опиум народа»!

Пожалуй, впервые за весь этот долгий вечер наступил момент истинного расслабления. Мы смотрели друг на друга посмеиваясь, покачивая головами, едва ли не подмигивая. Думон альцгеймерски

хихикая, пулеметной очередью стрелял носом в собственный воротник, я же вычурно щурился и пещерно ухал. Некоторое время было даже весело.

Все еще блаженно улыбаясь, я спросил:

— А вот «пришельцы» — это тоже *наша* придумка?

— Нет, — старик с серьезным видом хрюкнул, — их «пришельцы» придумали!

Мы опять расхохотались. В самом деле, если некие «высшие» существа «генетически» создали человека, то возникает вопрос — а кто создал этих «высших» существ (очевидно, тоже генетически)? «Сверхвысшие»? А их кто?... И реальности молниеносно начинают множиться в такой прогрессии, что даже сам Оккама готов полоснуть себя собственной бритвой по уху…

Нет-нет, мне одного Бога достаточно, равно как и Ему, я думаю, вполне сполна человеков, безо всяких там пришельцев, что, явно, бесово…

—А ты-то сам, как с Богом-то? — старик повернулся ко мне боком, то влево крутя голову, то вправо (стволовые хрящи!).

Но потом вдруг неожиданно переспросил:

— Я-то ладно… Но ты же говорил с Богом? — стукнул каблуками об пол, и, чрез змеящий его кашель, хрипнул: — Мы знаем!..

«Опа! — подумал я. — Полный винтаж!»

Вспомнив его страсти по Пушкину, я пробормотал что-то вроде: «Полно, батенька!» — но он даже не услышал меня. Да и я не услышал себя.

Ведь на самом деле — никто не слышит себя.

Впрочем, как и всех других.

— А сам ты, «батенька», — вдруг огрызнулся Думон, — уж не «боженькой» ли себя возомнил? Как-то слишком уверен ты в *этой* реальности…

Но я лишь вяло отмахнулся:

— Не навешивайте на меня ярлыков… Хотя…

Я вовсю замахал затекшими от бездействия крыльями, и заговорил без оглядки:

— А вот представьте — Бог создал мир, и захотел ощутить его, так сказать, «изнутри». «Вовселился» в некоего человека, без воспоминания о Себе, чтобы на собственной божественной шкуре ощутить человеческую самость и грусть… Живет Он себе и живет, этаким господином Б, по-человечески мучается и радуется порой, а Себя не помнит. Но вспомнить хочет! И лишь в мгновенье перед смертью (естественной, или насильственной), осознает, что Он-то и есть — Бог! Но уже не успевает ничего изменить. В *«этой»* реальности, — я насмешливо глянул на Думона.

Тот лишь сидел с приоткрытым ртом, словно спал, хотя глаза его были широко раскрыты. И я продолжил:

— Но Бог — не промах! Он — Творец, и взрывает из точки уже новый мир, не уже прежнего, а шире. Теперь Он включает в этот мир верование, дабы помочь Себе хоть теперь осознать Себя *здесь*. И… опять неудача — не успел…

— Он ведь тут живет обычной человеческой жизнью, не осознанно… — пояснил я Думону, (но тот, похоже, всё спал, с раскрытыми глазами).

— Теперь в ново-новом мире Он создает религию. После очередной неудачи — еще одну. Потом — еще и еще… И ведь все они — религии — призывают найти в себе Бога! А для чего? Он ищет Себя *здесь*, хочет осознать Себя и увидеть наш мир изнутри, а не как *внешнее* Творенье. И увидеть именно глазами Бога. Но все не складывается… Вот и воссоздаются миры изначально вновь и вновь, те же самые, но с некоторыми добавлениями, изменениями, модификациями. А у смертных (они ведь тоже повторно, раз за разом) — то дежавю, то реинкарнации… Полное смятение. Повторы, повторы…

Я, откровенно говоря, устал от всего этого вечера. Устал говорить, устал играть «в себя», устал от Ордена (пропади он пропадом!). Устал просто быть. Да, да, устал просто быть, даже как Творение Его.

Но Думон (как и Бог), явно был не промах. Он поднялся, проморгал остекленевшими глазами, с натугой откупорил из губ сжатую улыбку, и триумфально произнес:

— Трансцендентально! (По-нынешнему, можно было бы сказать проще: «Круто!»)

Так же триумфально Мастер взмахнул широкими рукавами своего халата (словно некий Синдбад из мореходного училища), но затем вдруг как-то совершенно по-простецки, практически шепотом, произнес:

— Бога трогать не будем. Он — неприкасаемый. Религии, церкви — да, наша наработка, Но мы-то не для того, мы — История.

— Которую, на самом деле, не знает никто, — стремглав добавил он.

Мы смотрели друг на друга взаимно уставши. Конечно, я уже понимал, во что втянут. И даже почти *знал*, что будет потом, через год и позже… Но сейчас, этот старик в халате с облезлым меховым воротником казался мне едва ли не пророком печального образа. Странно — а ведь это *они* наняли меня именно для пророчеств…

— Послушай, а может, перекусим? У нас тут столовая на втором этаже… Приватная ресторация… Готовят отменно… — было похоже, что он сам себя старается остановить, но не смог, и вяло взмахнул рукой: — За мой счет…

Я принюхался: даже сюда, в архив, доносился запах чего-то соблазнительно пригоревшего.

— А давай!

— И бог нам в помощь!

— Или мы — Ему…

IV

…Запах горящих покрышек мне нравился — он напоминал мне те, детдомовские зимние полуночные костры, когда мы тянули озябшие зыбкие ладони к чадному огню, когда смачно жевали «заныканные» с ужина кусочки хлеба, когда замирали от леденящих рассказов-легенд о Том, чье имя не произносилось, но которое знали все — Сеятель Тревог…

— О! Чьук, рад вас видеть!

Шульц. Корреспондент «Немецкой волны», немец, попутно пописывает в наших глянцевых журнальцах. Безоговорочное признание у пишущей публики получил, когда статью о погодных аномалиях этот германец-варвар начал таким пассажем: «Снег падал, как Римская империя — неотвратимо и даже у Нила»…

Не ожидал я встретить его на Майдане (где сам бывал ежедневно), но и не особо удивился.

— О, хер Шульц! — (по отношению к немцам я всегда использовал этот вежливый оборот.) — И вы — в революции? В борьбе?

Я, конечно же, как и всегда смеялся «в себе», но услышанное сбило меня:

— Я-я, камрад! Ведь любая борьба — это борьба с самим собою. И не важно, где она происходит: внутри тебя, или на Майдане. По сути — это одно и то же!

«Ай, да немец…», — подумал я. — «Майн Кампф, да и только!»

Вообще-то, я терпеть не могу неожиданных и случайных встреч. Но сейчас, все таки, был особый случай — такое время, такое место… да и назвал он меня «камрадом», а не «геноссе»… Решив для приличия немного поддержать разговор, я припомнил издателя Шульмана — подольского еврея с израильским и американским паспортами (который, по слухам, собирался напечатать книгу статей этого самого Шульца.)

— А что Шульман? Он вас издаст?

— О… Вы знаете немецкий… — немецкий журналист почти зарделся. Начал вдруг свои очки протирать. — Что это такое — «он» — сложный вопрос… и ответ не легок… Личность, конечно же, незаурядная, но и «сука», как говорят у вас; очень неоднозначная, можно сказать — «динг ан зих». Ну, вы понимаете!

Я, конечно же, понял кантовский термин «вещь в себе», хотя не сразу осознал — где это германский варвар углядел в моих словах немецкое «вас ист дас» …

— То есть — издаст, но без гонорара. Вы это имели в виду?

— Неважно… Сейчас это уже совершенно неважно…

А февраль плакал — и не чернильно, как во время оно, а совершенно живо: жженный запах шин смешивался с еще не развеянным духом слезоточивых гранат, которыми вот совсем недавно, пару часов назад, пытались «разрядить» Майдан. Конечно же — безуспешно.

Шульц шагал широко, аки землемерный циркуль из Замка имени Кафки, переваливаясь с боку на бок (но, как мне показалось, — строго не преступая за межу своего комфорта). Попутно он кивал кому-то, здоровался с кем-то раскрытой ладонью или сжатым кулаком, отвечал на чьи-то приветствия: «Героям слава!»; одним словом — был «наш» (не в масонском смысле).

Внезапно он замер, легонько толкнул меня кулаком в бок и почти шепотом, с обреченностью в интонации, спросил:

— А ведь еще смерти будут, наверное?..

Этот же вопрос я уже слышал сегодня от Думона, поэтому и ответил слово в слово в своих словах:

— Да. Десятки десятков. Тьма тем.

Но европейский журналист резко сменил тему:

— А я вот сейчас в волонтерской группе «Евромайдан SOS». Вот и палатка наша… Пытаемся хоть как-то… чтобы…

Надпись на палатке ударила: SOS!

Я споткнулся, и провалился *туда* — в вечный холод, в ад.

…В колымском холоде я лежал под пергаментным одеялом, гордо называемом «верблюжьим», и пар изо рта, казалось, затуманивал всё спальное помещение. Было темно, как и всегда *там*. День от ночи, свет от тьмы — *там* почти невозможно это различить. Но в этой тьме жило и блеклое свечение, также блекло озарявшее мутное и замкнутое пространство с железными койками, обшарпанными тумбочками из дсп, липкими занавесками на окнах, грязно-крашеным деревянным полом.

Очень просто: наш учитель физики смастерил однажды *электронные* часы; и вот над входом-выходом нашей спальни зеленовато-мертвенно светились знаки времени.

…Мы мастерили их на *уроках труда*. Гек, помнится, высверливал дырочки в фанере, где потом должны были быть вставлены светодиодные лампочки, а я все путался проводах. Николай Гаврилыч, учитель физики, почему-то всегда горячился, обращаясь к нам:

— Вы, светоидиоды! Сядьте, и слушайте, что вам...

Но мы и сами светились в себе своим собственным светом, хотя он и не согревал…

Часы получились хороши: фанерная доска, продырявленная по канонам *золотого сечения*, подобно традиционному трансцендентальному транспаранту, была распята над спальной дверью. Мертвенное свечение времени поначалу тревожило, хотя со временем привыкаешь ко всему, даже ко времени.

Но ломается все. Двоеточие между часами-минутами в этом фанерном отмеривателе времени однажды омертвело и перестало срабатывать, на деревянном табло светились лишь некие прямоуголь-

ные знаки, но мы, все же, вполне уверенно — с обреченной безнадежностью — ориентировались в том времени и пространстве, в котором пребывали.

…И вот сейчас я вновь мерзнул под своим «верблюжьим» одеяльцем, мне было дрожно и грустно.

«Может ли кому-то быть еще хуже?» — с печальной насмешливостью всеми брошенного ребенка размышлял я, повернувшись к окну. А тьма за окном была чернее, чем даже когда закрываешь глаза (свои, или кому-то).

Ночь здесь всегда. Но есть обряды, которые мы обреченно обязаны исполнять.

И вот, высунув свой оледенелый нос из-под одеяла, дабы увидеть — сколько до подъема осталось (а подъем здесь проводился *ровно* в семь), на светящемся табло я увидел тревожный сигнал: «SOS».

Да-да! Именно так! Кто-то просил помощи у *меня*! Ведь там было четко прописано:

Мне даже стало жарко. Я вновь нырнул под от благотворителей одеяльце. Теплее, конечно же не стало. Долго, очень долго, можно сказать — «всю свою жизнь» (а ведь вся жизнь и есть то мгновенье, когда ты осознаешь себя) — я размышлял о том, кому и как я могу помочь, если даже себе…

(Тогда, конечно, я не мог поименно назвать всякого рода спасителей рода человеческого, назойливо возникающих вечно из *никуда*, коим числа несть, кои присно и вовеки *оков*…)

Я не стал будить Гека.

Ведь кто-то ждал помощи *от меня*… Не случайно же, именно я уловил этот сигнал… Кто-то просит о помощи. Но кто?..

Когда, через сколько-то чего-то неопределимого, я вновь искоса из-под покрова взглянул на светящееся, там был ответ на мое «кто» — *Бог*! Так и было на озаренном табло:

Я вовсе растворился в пружинах своей «панцирной» кровати. Как Он может просить моей помощи, если я сам жду помощи от Него?

…Должно быть, именно тогда я и задумался о боге. И что-то понял. Он приходит не чтобы доказать, а чтобы подтвердить. Мы поразному встречаемся с ним, но забываем его одинаково — как и свои

сны, как и свое прошлое. Мне же не хотелось забыть этого мгновенья, нужно было кому-то о нем рассказать: я тряс и тряс Гека за плечо, губы шероховато шелестели какими-то словами, но...

…Это Гек встревожено тряс меня:

— Ты что? Что с тобой?

И я вынырнул из ада.

Гек действительно был испуган: он оттянул балаклаву на лоб, а рыжую строительную каску отбросил за голову.

— Тебе плохо? Нужна помощь?..

— Ну что ты, что ты! — Я пропеллерно замахал на него руками, словно Карлсон, сослепу залетевший в липкий и вязкий свет собственных воспоминаний. — Просто вспомнилось… Детство… Когда я тебя не добудился…

Гек понимающе (в самом деле — *понимающе*!) кивнул головой.

— Тогда и не будем об этом… А как твои масонские бродилки? До какого уровня уже дошел?..

Как всегда! С братом мы не виделись с самого дня рожденья — пять месяцев практически! И вот, при случайной встрече он начинает… На самом деле, я понимал *что* и *почему*, почему и ответил совершенно серьезно:

— Уже, можно сказать, «на верхнем». И кстати, «наш архив» — это та самая приснопамятная библиотека Ярослава Мудрого. С последующими добавками, конечно… И действительно — предай гласности *любую* страничку из этого архива, и мир перевернется!

Гек рассмеялся:

— А мало ли *страничек* из ваших всяких архивов уже публиковалось? И что?

Тут уже я рассмеялся:

— А покажи хоть один *оригинальный*! Фишка в том, что время от времени тот или иной орден запускает какой-то фейк — может, истинный документ, а может «пробный шар» — посмотреть реакцию на его появление. Кстати, с тамплиерами как раз ситуация подлинная — магистры истинные! Но… оригинала-то нет! Так и со всем остальным — может-не-может. Вроде бы и что-то подлинное, но оригинал «сгорел», «пропал», осталась перепись… Там переписали, а что — никто и не знает, но все трубят — о! Нашли! Фейк и фейк всюду! Ой, Гек! Я не хочу мусориться во всем этом! Поверь — историю могут изменить лишь *подлинные* документы. Когда-то, возможно, мы доберемся и до них… Но сейчас их никто не покажет, никогда, ведь это вызовет цепную реакцию: каждый орден начнет в оправдание открывать свои подлинные контр-документы… И к чему это приведет… Я и думать не хочу!

— А ты подумай!.. — Гек смотрел на меня грустно. — Ведь что-то менять нужно... И то, что здесь сейчас есть — только начало. Это-то ты понимаешь?

Понимание страшно. И, порой, попросту не нужно. Мы остановились у какого-то костра, поели предложенной каши (вкусной, кстати), и… разошлись.

Как и обычно, Гек вдруг, исчезая, метнулся в сторону:

— Ну, при случае увидимся…

Нас не стало. Но у меня в голове по-прежнему крутились *«Бог»* и *«SOS*.

Я общечеловечески всё пытался понять: то ли мы ищем бога, то ли он ищет нас, то ли он выдает себя за человека, то ли мы просто что-то выдаем…

Хотя, и эти мысли были лукавыми, не ортодоксальными, по сути…

d.

ЛОЖЬ ЛЖЕЛОЖНАЯ
*НЕО*НДЕРТАЛЕЦ, ИЛИ СТОЯЩИЙ ЗА СПИНОЙ

Фрагмент статьи из ежемесячника
«Конспирологический журнал», выпуск 21

<…>

Череп неандертальца с черепом современного человека (кроманьонца) никто не спутает — весьма и весьма разнятся они.

Итак, складывается довольно парадоксальная ситуация: десятки тысячелетий существуют бок о бок два *примитивных* человеческих вида — кроманьонцы и неандертальцы. Затем, в одночасье, каменный век вдруг молниеносно исчезает, зато появляется Шумер — с городами, властью, судом, школами и прочими социальными институтами; возникает письменность, математика, астрономия, философия и литература; создаются высокоточные орудия и приборы. Кроманьонца, понятное дело, уже нет, неандертальца тоже. Только почему-то считается, что один «превратился» в «человека», а второй — «вымер».

Приводим лишь малую часть высказываний современных антропологов о неандертальце.

«…неандертальцы отличаются от современного человека более низким лбом, выступающим затылком, надбровными дугами. Объем мозга — как у современных людей или даже больше», «…открытия ученых, недавно расшифровавших геном неандертальца, указывают на то, что люди, вступали с неандертальцами в половые связи в течение многих тысяч лет. Считается, что такие половые контакты были редкими и случайными. Но они имели огромное значение: почти все современные люди (за исключением людей чисто африкан-

ского происхождения) имеют 1-4 % неандертальских генов в каждой клетке своих тел.», «…либо неандертальцы развивались очень быстро, либо их сообщества представляли собой очень маленькие группы», «…было также обнаружено захоронение неандертальца в железной кольчуге и с железными наконечниками стрел», «…он обладал прямо противоположными человеку свойствами. Человек слаб — неандерталец силен, человек разумен — неандерталец интуитивен», «…беру на себя смелость предположить, что у неандертальца очень сильно развился тот «вариант» разума, который у современного человека развит гораздо слабее, и к тому же упрятан далеко в подсознании — символическое мышление, основанное на ассоциативных связях. Такое мышление подразумевает наличие речи, но очень странной — всего из нескольких десятков слов, каждое из которых охватывает целый круг ассоциативно связанных понятий. Если есть хоть какая-то реальная основа под всякими магиями и телепатиями, то у неандертальцев это должно было быть развито максимально», «…видимо, неандертальцы владели тем, что мы сейчас называем гипнозом и телепатией».

...Как уже было сказано, в древний период в места обитания неандертальцев буквально «хлынули» кроманьонцы, которые были существами групповыми по природе, они размножались с чрезвычайной скоростью, и при этом имели сильно развитые лобные доли — мозговые центры «социального послушания». Их количество на порядки превысило количество неандертальцев, словно мыши, которые поглотили гору... Но существовали ли между ними «смешанные браки»? Да. Такие могли быть, но не системно — неандертальцы ведь всегда жили очень маленькими, «элитными» сообществами-семьями. С другой стороны, то, что у отдельных представителей «потомков кроманьонцев» — нынешних людей — пусть крайне редко, но в яркой и сильной форме проявляются паранормальные способности без специального их развития, свидетельствует о наличии «гена интуиции неандертальца». Почти всегда подобный дар (правда, только между собой) существуют среди пары близнецов.

<…>

Итак, как же они продолжили совместное существование уже в *цивилизованном* мире, эти два вида — те, кого мы называем «современными людьми» и *нео*ндерталецы?

Общераспространенное мнение — неандертальцы были примитивными, грубыми, тупыми существами, ведь если бы у них могли быть сверхчувственные способности, то этот вид еще давным-давно «победил» бы кроманьонцев и обрек их на вымирание.

Это по логике современного человека (коренного потомка кроманьонца). Но не следует забывать, что неандерталец обладал совершенно иным способом мышления, был менее «привязан» к чувст-

венным удовольствиям и таким качествам как «гордыня», «эгоцентризм», стремление «выдвинуться» и т.п. Он обладал способностью непосредственного получения знаний (духовной информации), и намного раньше человека осознал свое «задание» в этом общем существовании в этой данности. Не случайно древнейшие мифы египтян и вавилонян рассказывают о приходе «неизвестного» человека», который говорил на непонятном языке, и обучил людей изготовлять орудия, строить города, дал календари и письмо.

А первыми «посредниками» между *нео*ндертальцами и человечеством стали жрецы.

<…>

*Нео*ндерталец не может долго находиться в большом скоплении людей — его мозг разрывается от «шума» бессвязных (и чаще всего — бессмысленных мыслей) окружающих. Их не встретишь на улицах мегаполиса, они по-прежнему живут маленькими «элитными семьями» и выполняют свое предназначение — помочь людям вырваться за рамки бестолково-рационального существования.

…Именно для контакта с человечеством в целом создавались эти «тайные» общества (правильней сказать — «закрытые»), которые и занимались непосредственным руководством.

<…>

Как происходят обряды «посвящения»? Адепту задаются вопросы, на которые он отвечает, причем и вопросы, и ответы на них заранее известны всем участникам. Для чего это делается? Это напрямую связано с присутствием при обряде «некоего человека с закрытым лицом». Вопрос-ответ, вопрос-ответ… Не напоминает ли это детектор лжи, «полиграф»? Только здесь считываются не физические параметры испытуемого, а духовные; и не мертвым устройством, а живым *нео*ндертальцем, который, собственно, и определяет — подходит ли данный человек (кроманьонец) для выполнения нужной задачи, или нет.

<…>

Символическое и ассоциативное мышление *нео*ндертальцев проявилось даже в атрибутике человеческих «тайных» обществ (обществ-посредников). Например, «вольные каменщики» со своим символом — пирамидой. Да, есть здесь сугубо «человеческий» аспект — началось, мол, все с мастеровых-строителей, а пирамида — это и мастерок, и связь с тайным знанием, тянущимся со времен пирамид… Но для *нео*ндертальца здесь виден совсем другой смысл — «вольные» времена каменного века, когда только закладывались первые камни здания человеческой цивилизации. А пирамида — это одновременно и символ пещеры, и черепа неандертальца (низкие выступающие надбровья и удлиненная теменная часть головы; на наскальных первобытных рисунках легко различить, где люди, а где неандертальцы — у первых головы в виде треугольника, опущенного вниз, у вторых — вверх).

…И ни в коей мере не следует считать их «Правителями»! Путем построения различных систем и практик они лишь дают возможность людям подняться на иной (высший) уровень духовности, «возвратиться» в целостное вселенское существование, побороть в себе «зверя», доставшегося в наследство от кроманьонца.

А все то, что мы имеем в сегодняшнем «цивилизованном» мире — натворил сам человек, и в большой степени из-за неправильного понимания полученных знаний… Да и «общества-посредники», вполне вероятно, ведут какую-то свою игру, неизвестно что сохраняя… Но это уже вопрос отдельный.

5

Выходя из архива, я лишь почесывал свои мало бритые щеки. От всего рассказанного Думоном голова шла замороченным кругом.

Мы вновь прошествовали сквозь кабинет, затем через прихожую, но именно в прихожей прошмыгнули в какую-то невидимую ранее мною дверь, оказались на рядовой лестничной площадке — совково-совковой — спустились этажом ниже, и вошли в некий зал, по виду (да и по духу) напоминавший уже совершенно подзабытый бытейский общепит.

Одно лишь различие: около конвейера раздачи еды не было очереди. Были только мы.

Я напрягся: все-таки уже почти 10 вечера, а тут повсюду свет, как во времена Творенья; оно, конечно, хорошо, но уж как-то непривычно для мучительно собранного по колючим крупицам опыта…

Из пирамиды пластиковых подносов мы взяли по одному, положили их на никелевые полозья и двинулись вдоль. (Думона я пропустил вперед, для *уверенности.*) Не успели мы и двух шагов ступить, как откуда-то из-под ног, сбоку, послышался хрипловатый, протяжный и неразборчивый возглас:

— Ми-ау-у!..

Мастер восторженно охнул и присел на корточки; причем, полы его потертого халата маковым цветком разлеглись по кафельному полу, словно мантия мышиного короля. Руку он протянул куда-то вглубь, а ко мне приподнял лишь подбородок, и на выдохе шепнул:

— Это… это наш всеобщий любимец — кот Дивуар!..

Затем он так проникновенно просюсюкал: «Кись-кись!», — что стал похож на карикатуру.

Но всеобщий любимец материализовался почему-то около моей ноги. Это был дородный плосконосый перс цвета слоновьей кости — явно зажравшийся и зарвавшийся. Он недобро посмотрел на меня своими совиными глазами, еще раз повторил: — Ми-ау-у!.. — и триумфально пошел в зал, туда, где столики и стулья.

Думон выровнялся, любовно проследил за наглым ходом Дивуара, и лихо кивнул затылком в мою сторону, мол, — каково?!

Но я лишь скромно спросил:

— Кушать будем?..

— Да-да…

…А где-то за полозьями, в глубине, что-то позвякивало, скреблось и постукивало. Мой новый начальник (да, уже так!) начал флюгерно вертеть головой из мехового воротника халата, затем тихо, в пол крика, спросил:

— Барбара! Ты здесь?..

Я чуть было не начал осознавать себя героем какого-то мыльного телесериала, но — нет! — из кухонных глубин появился новый персонаж. Это была худощавая сухонькая тетка с редкими пепельными волосами, сплетенными в неуклюжую косичку. Она возникла вдруг совершенно по ту сторону от нас, и абсолютно спокойно, в растяжку, спросила:

— Чего желаете?

Думон радостно воскликнул:

— А выдай-ка нам вашего фирменного! Праздничного!

Он вдруг хлопнул меня по плечу, словно комара прибил:

— Тут у нас новый сослуживец. Порадуй же!

«Ликуй, Исайя…», — подумал я.

Но Думон слюнным шепотом начал вдруг быстро рассказывать, мол, она мастер кулинарии, да она такое из продуктов вытворяет, да она такая повариха!..

— Бабариха? — переспросил я вежливо. — Типа, а во лбу звезда горит? мишленовская?..

Гневного ответа я не услышал, поскольку молниеносно на наших подносах возникли широкие-широкие тарелки, высокие керамические стаканы, по паре вилок и ножей, целомудренные салфетки и отточенные зубочистки.

Содержимое тарелки я смог рассмотреть уже за столиком, сидя, когда нахрапистый Дивуар пытался своим плоским лбом раздробить мою щиколотку.

На тарелке было *нечто*, напомнившее вдруг мой день рождения в глубоком обморочном детстве. *Это* было белым, объемным, а по периметру обрамлялось тонкой линией непрозрачного соуса (или сиропа?).

Минуты полторы-две мы молча ели. Я, честно говоря, не в восторге от молекулярной кулинарии…

— А скажите, Мастер Дум, вы действительно верите в правильность этих восприятий — когда детская манная каша имеет вкус черной икры?

Моя искренняя серьезность и вежливость, похоже, позабавила Думона.

— А что, по-твоему, вообще может определить *правильность* восприятия? — он в очередной раз смаковал победу надо мной. — Что можно есть — то и есть! Всё же лучше, чем черная икра со вкусом манной каши!

Хихикнул, причмокнул, вытер нитевидные уста салфеткой, и вдруг начал оглашать какой-то странный (и совершенно неуместный в данных обстоятельствах) литературно-исторический пассаж.

— Достоевского, поди, читал?

— А то! — ответил я гордо (хоть губы мои были облеплены черной икрой, имеющей вид манной каши).

Мастер доброжелательно кивнул, хоть глаза его были похожи на клюв хищной птицы.

— Федора Михалыча поначалу приняли, поверили ему (ну, вот, как я тебе верю), — Думон больно клюнул меня костяным взглядом, но я широко распахнул крылья своего духа — мол, а какие проблемы?

И тут я услышал совершенно безумную историю, рассказанную почти зловещим шепотом. Оказывается, Родион Романович, с топором под мышкой, возник на книжных страницах не просто так. На самом деле, творца его — Федора Михайловича, вначале приняли в местный Орден за всеоширь видения бытия, но затем поспешно исключили за чрезмерный антисемитизм, и за неподчинение каноническому мышлению Ордена (местного, естественно).

Итак, гордый писатель, отвергнутый кучкой… какой-то «могучей кучкой», решает отомстить. И вот он пишет гневный роман, который насквозь, вдоль и поперек, сверху донизу пронизан темой масонства.

Ну-ка, где Раскольников привешивает на своем пальто топор? — да! именно там, где носили мастерок присно известные *вольные каменщики*; а это маргинальное представление о масонах: «Кто я — тварь дрожащая, или право имею?!» — не что иное, как цинично и вульгарно перефразированный главный постулат любого Ордена. Тот же Свидригайлов отправляется в Америку весьма своеобразным образом (Как раз во второй половине 19-го столетия начался конфликт российского масонства с американским.)… Да и сексуальный аспект, оказывается, не следует отбрасывать. Есть в романе достаточно четкие намеки, что студент Родион вполне мог быть «любовным продуктом» для Алены Ивановны… Одним словом, Федор Михалыч стыдился своего масонского прошлого, но зато и отыгрался на его идее по полной. «Отрыгнулся», можно сказать…

Вся эта услышанная галиматья меня попросту ошарашила (ведь я люблю Достоевского как писателя!)

— А как же «Село Степанчиково», «Бесы»? — спросил я почти робко, словно спичечный коробок переворачивая.

— Это ты специально, чтобы меня взбесить?! — Думон засверкал своим вялым светом.

Но ситуацию разрулил кот Дивуар — он вдруг опять появился из ниоткуда, запрыгнул на стол, и по-собачьи стал обнюхивать тарелку Мастера.

— Кись-кись! — сладко прозвучало вновь, но персидское диво лишь гребануло лапой по краю тарелки, недобро фыркнуло, неспешно прошлось по столу, а потом вообще исчезло так же внезапно, как и появилось до того.

Мастер грустно нахохлился, машинально провел вилкой по манной каше (со вкусом черной икры), а затем как-то совершенно по-человечески — печально и безапелляционно — сказал:

— Любые исторические исследования — это просто препарирование трупов. История, — он, похоже, начал окукливаться, подобно… да, тем, из которых потом… — …такое… Мы ведь, как анатомический театр — копаемся в потрохах прошедшего, но несведущим это неведомо… да и ни к чему это им…

Я даже проглотил нервно еще одну вилочную порцию манной каши. «Тогда — к чему это всё? И о чём?..» — извечная растерянность навалилась на меня подобно известной рассеянности нашего трехмерного мира. (Правильней было бы сказать: я ощутил себя среди «темной материи», хотя она, на самом деле, это бесконечно малое приращение из трех— в четырехмерное, чтобы те самые «бляшки», о которых говорил Гек — ангелы или аггелы — могли через нас пребывать *здесь*…)

— Ну, батенька, — мне даже удалось снизить уровень говорения до наинизшей планки. — Я, конечно, не стану ломать копья за копейку в базарный день… Но ведь должна же быть, в конце концов, справедливость… Почему люди не могут знать, то, что могло бы им… — и тут я замер — «помочь»? «задуматься»? «осознать»?.. — …Что помогло бы сделать их мир справедливее!

— А почему ты решил, что существует (или должна быть) какая-то «справедливость»? — Думон искренне удивился, хотя говорил как-то рассеянно, словно и он был вне нашего пространства и времени. — Вот возьми для примера: в животном мире все пожирают друг друга… Но всё находится в равновесии.

— Но мы же — люди! — Я всхлипнул.

— А какая разница? Для мира важна не справедливость, а равновесие. Любым путем.

— Но ведь пути Господни… — начал было я, но затих, словно стих, недовысказанный и прерванный, чем угодно — пулей, словом, взглядом.

Думон весело потрепал меня по плечу; словно старший брат; словно Старший Брат.

— Пора и честь знать, — он, похоже, собирался вздремнуть на время, а я ему мешал. — Пойдем-ка на выход, а по пути я тебе самое главное скажу…

И я пошел за ним — как на плаху, в то же время неистово смеясь внутри себя: ну полный бардак!..

V

— Ну, у тебя тут полный бардак! Как и всегда, впрочем… — Лана лишь коромысленно поводила плечами, озирая мое бытейство.

…Всего лишь месяц назад она вдруг *вновь* появилась в моей жизни. Да, ведь была ярко-цветущая весна, как и те лет пять, шесть, семь, или сколько там тысячелетий назад, когда мы опять внезапно оказались вместе.

Но, самом деле, познакомились-то мы и того ранее, едва ли не в мое позднее студенчество. Когда я только-только перебрался в съемную однокомнатку на Ветряных Горах. Квартира тогда была пуста — матрац с одеялом на полу, нагромождение коробок с *необходимым для жизни*, и… всё (впрочем, после колымского ада и это казалось раем...).

В ходе какого-то обычного школярского гаудеамуса я заприметил раскосую студенточку, у которой желтовато-пепельные волосы были стянуты на затылке «хвостиком», игриво переходившим в небольшую косичку. Предложение побывать на Ветряных Горах вызвало у нее восторг:

— О! Ве́треные Горы! — Она хлынула за мной, словно игристое вино из опрокинутого стакана.

…Поскольку стола не было, накрыли на гладильной доске. Без утюга. Гаудеамус, игитур…

…Она так быстро разделась и юркнула под одеяло на полу, что я и дыхания не успел перевести…

…А на завтра продолжилась все та же затяжная сессия — с экзаменами, с лотерейными билетами на столах, со сдачами и не сдачами, с вопросами, на которые нет ответов… хоть и вопросы эти мы задаем сами себе… всегда… и не о полете на четырех крыльях… где экзаменатор во рву Миланской крепости созерцает черных стрекоз… и где костюм профессора напоминает одеяние древнеегипетских инквизиторов… и где ты в очередной раз возносишься ангелом в духе своем… и где тебя повергают в преисподнюю непризнания… и ты осознаешь справедливость этого… и теряешь равновесие… но все равно все заканчивается очередным школярским гаудеамусом…

После той ночи с Ланой мы не виделись больше никогда.

Лет десять.

…Мы время на тормозах спускаем. И вот, спустя сколько-то, на какой-то очередной презентации чего-то очередного бессмысленного, я, уже в роли маститого журналиста-пророка, хаживал с неизменным стаканом виски в руке, когда, вдруг, углядел светло-надрывную косичку и раскосые глаза.

— Лана?! Сколько лет, сколько зим… — от собственной банальности я начал ощущать себя тупым бананом.

Но ее радость увидеть меня была совершенно… совершенной.

Будь прокляты те, кто говорит, что «нет в мире совершенства»!

…Она тоже была уже весьма авторитетным психотерапевтом, а не студенточкой с «психушки» (как называли в бытность учащихся на факультете психологии). Теперь я узнал причину глаз-щелочек, да самого ее имени. Оказывается, в начале семидесятых в киевский Сельскохозяйственный институт поступила девушка из Северной Кореи, в аккурат после принятия там «Социалистической конституции». Отчаянно не желая возвращаться на свою северную родину, она через год учебы вышла замуж за своего сокурсника-украинца, а еще через год родила Лану. Пребывая в паутине постоянного страха выселки, семья перебралась в какое-то глухое село на Полтавщине, где и прошло детство Ланы.

— Да и имя у меня на самом деле корейское! — (я с удовольствием слушал). — «Лан» по-корейски значит «мирная»! И я даже могу написать это. Смотри!

Схватив лист бумаги с моего стола, она нарисовала изящные загогулины:

Внимательно рассмотрев рисунок, я промолвил:

— Вообще-то, похоже на какое-то корейское «чучхело»… — но, ожегшись о гневные лучики из ее глаз, насмешливо-уважительно добавил: — Как сказал бы «великий вождь товарищ Ким Ир Сен».

Лана в ответ принялась весело пинать меня ногами — должно быть тхэквондо у кореянок в крови. А я лишь кричал: — «Мирная»? Ой! Да какая же ты «мирная»!..»

…Хотя и тогда мы недолго пробыли вместе — недель девять почти, ну чуть более. В принципе, все было прекрасно и безмятежно, до поры до времени: ночи сменялись днями, свет казался назойливой радостью, спаянные губы не давали говорить (да это и ненужно было!), а потом вдруг словно между нами пробежал мороз по коже.

Я даже еще некоторое время помнил эти странные наши с ней диалоги, в стиле древнегреческой трагедии:

— …Ты просто боишься брать на себя ответственность!

Меня кукожило:

— Оставь ты это психоложество… Давай без фрейдизма — не будем о моих страхах. И вообще, я не вижу смысла продолжать этот разговор — бессмысленный и беспощадный…

А она, отвернувшись, и словно из-за кулис, бросала:

— Если у тебя дурное настроение — это не повод, чтобы я состязалась в этом с тобой! Да ты ведь вообще, для нас, *простых смертных* — недосягаем! — И насмешливо: — Я тобой просто восхищаюсь!

На что я отвечал с мрачноватой веселостью:

— Я ведь не закат на тропическом острове, чтобы мною восхищаться…

Лана парировала вполне достойно:

— Надеялась найти в тебе то… Но это так утомительно и гадко! Вроде как искать фамильную серебряную ложку в бочке дёгтя…

Короче, все получилось, как в старинном романсе:

Она на него положилась,
А он на нее положил…

…Но вот уже почти месяц, как Лана вновь время от времени возникает в моей ветреной жизни, в отовсюду продуваемой квартирке на Ветряных Горах.

И в этот, третий раз, она появилась внезапно. В конце апреля мы («журналистская братия») в какой-то пивнушке провожали Пото́графа — он отправлялся на восток, в добровольческий батальон «Донбасс», военным фотографом. Это было абсолютно неожидаемым для всех (для его «травоядной змеи» — в первую очередь, возможно, он просто… ну да ладно!). Тогда еще никто и не догадывался, что всего через четыре месяца Пото́граф будет выходить из Иловайского котла, будет серьезно ранен, но выживет (как и его ошеломляющие фотографии, которые разлетятся по всему миру)…

Да, это было еще и через несколько дней после того, когда я, пожалуй, впервые предъявил Мастеру Дум серьезную претензию:

— Так если мы *право имеем*, то не должны сидеть сейчас, сложа руки!

На что Думон лишь горизонтально подвигал головой:

— Наше дело — архив от орков уберечь, а всё человеческое… преходяще…

Да, это было еще и буквально через день после нашего последнего и *самого серьезного* разговора с Геком…

…Так вот. Лана вдруг появилась из ниоткуда, легко взмахнула своей пепельной косичкой. Даже дубовые потолочные балки бара вздрогнули (не говоря уже обо мне).

— Пойдем? — она смотрела лишь на меня.

Да и все глядели на меня лишь. Я обнял Аркадия, прощаясь, хлопнул его по плечу, ткнул ногой приснопамятный «альфа-сумец», и мы с Ланой пошли к выходу. В дверях я оглянулся: Аркадий-Пото́граф подмигнул мне на прощанье правым глазом.

…И я провалился в прошлое.

…Старшеклассье. Худющий очкарик, надсмехаемый всеми, носил имя абсолютно не подходящее (даже более моего) для этих промозглых мест — Аттила. Дразнили его, конечно же, просто — «Гнусный Гунн». Мало того, что глаза его были слабы, он еще и страдал каким-то нервным тиком, отчего правое веко его постоянно дергалось. («Тикало», как говаривали мы).

— Ну и сколько нам до подъема осталось? — спрашивали иные, лыбясь, укладываясь ко сну. — Сколько там, у Гнусного Гунна, натикало?..

Но Гек всегда защищал этого школьника, а однажды предложил такое:

— Аттила, — сказал он вдруг, — а вдруг ты — связь со Вселенной? И через тебя передается какая-то информация, как азбука Морзе? Давай проверим!

Он схватил бумаги лист, ручку, взмахнул рукой:

— Закрой глаза и расслабься!

Все вокруг смотрели на все это во все глаза.

— А теперь открой, и не думай ни о чем!

Аттила ошарашено сидел, и однозначно ни о чем уже и думать не мог! Лишь правый глаз его еще более нервно дергался. Гек записывал вслух (он ведь знает *всё*, и азбуку Морзе):

— Так… точка, точка, точка; тире, тире, тире; точка, точка, точка… SOS! — закричал он неистово. — Кто-то просит помощи во Вселенной!

Все посмотрели на Аттилу едва ли не с уважением.

— А кто может у него просить помощи? Он ведь и сам малахольный! — отозвался кто-то из задних кроватей (дело-то происходило после *отбоя*).

— Бог… — ошарашенно прошептал я. — Кто же еще?

Хоть я и шепнул, едва ли не сглатывая эти слова, но все повернулись в мою сторону.

Гек ситуацию спас, да, спас.

— Читаем дальше! Продолжай, ни о чем не думать! — (Это уже к Аттиле). — Тире; тире, тире, тире; опять тире... «Тот»!

Все мы в этом спальном помещении попросту *смялись*.

… Что мы искали тогда (да и сейчас, пожалуй) — никому не ведомо. Да и поиски наши походили больше на бег по кругу. Но иной раз, когда гас свет, и лишь светодиодные часы нервно и беззвучно *тикали*, мы вдруг начинали говорить… О Том, чье имя неназываемо, да и никому неизвестно было. Может, и ведомо, да называть его мы боялись, вот и говорили просто — Тот, кто… Вежливо, с большой буквы — Тот… Кто может всё. Но сами-то мы не могли почти ничего… «Сеятель Тревог» — имя это знали все, но никогда не произносили вслух. Разве что, в подушку уткнувшись слезами, в перья из грубой наволочки колющие, сдавленно шепча, сглатывая слюну и страх: «Сеятель Тревог! Не засей меня!»…

— Созерцая весь этот твой бардак постоянно, я думаю лишь об одном — а способен хоть кто-то засеять здесь спокойствие и равновесие?

Лана, конечно же, намекала лишь на себя. (Как это по-женски!)

— Погоди, я вот думаю…

А думалось мне такое: женщина — это время, а мужчина — это пространство.

Я попытался рассказать об этом, но Лана засмеялась. Как это она умеет. Точнее — как это в ней заложено.

Удивительно, но для меня женщины привлекательны именно своим смехом.

…В самом деле, когда иной раз внешне сексапильная барышня засмеется внезапно крысячим «хи-хи-хи», тонко-пронзительным, переходящим в ультразвук, то ты уже ощущаешь себя мешком зерна, который непременно и радостно сожрут.

А бывает что и громогласное «гы-гы!» — среди людей (да и сам-на-сам) — повергает тебя в шок.

…Красиво отсмеявшись, Лана обняла меня.

— Всё хорошо!

Я вдруг решил: «А вдруг и вправду…» Уже было почти решился рассказать ей обо всем…

Но Лана погладила меня, как подброшенного шелудивого котенка — от переносицы до затылка.

— Ой, Чук, меньше думай, проще будет!

Я даже передернулся — от *нее* такого я никогда и ожидать не мог…

И сразу ощутил себя гладким и ровным куском фольги, который вдруг скомкали — шумно и до скрипа, со смаком и с наслаждением… Остался просто круглый ком — корявый, и не имеющий смысла…

е.

ПСЕВДОЛОЖЬ АМОН-РАЖ

Вольный перевод
коптского свитка неизвестного авторства,
найденного в Поле Тростников в 2013 году

Когда солнце рождается в каждой песчинке, нет покоя.

Когда жаркий песок скребется между пальцами ног, шевелящимися, нет покоя…

— Нет покоя тому, кто был спрятан, — говорит жрец, — я был спрятан, но я обнаружил пределы. И я нашел для себя самого границы…

Техути провел ногой по горячему песку. Его немного пугал Путь, ему предназначенный. Да, он тоже будет жрецом истины, тайным, избранным. Но сейчас, в предзакатье, сидя перед Великой Пирамидой, он пытался осознать смысл всего этого.

— Ако! — наконец он обратился к жрецу. — А что есть Пирамида?

Ако стиснул и так свою редкую бороду в кулак. Словно вместе с нею и себя всего хотел вытащить отсюда.

— Ты видел песочные часы? — спросил он вдруг тихо и утомленно.

— Да.

— Когда время вытекает из верхнего сосуда, то внизу остается лишь песочная пирамидка. Так ведь?

— Да, — вновь повторил Техути.

Великий Амон обжигал с неба.

А песок жег и так обожженные песком пальцы ног. Техути посмотрел вверх, и, ослепленный, спросил:

— А где же тогда верхний сосуд?..

Ако засмеялся:

— Так ведь он уже пуст! — потом шепотом добавил: — И, кроме того, как ты можешь увидеть *пределы*, если сам находишься в этих часах?

Техути большими пальцами ног подхватил горку горячего песка, попытался сохранить ее равновесие, но песок просыпался между пальцев, и на песке образовалась маленькая пирамидка.

— Выйти за пределы этого мира — значит просто выйти из часов, в которых ты живешь?

— Да. Просто выйти за сыпучие пределы времени, в котором ты, увы, находишься.

Прищуренными глазами ученик посмотрел на сияющее тело Ра.

— А для чего мы стремимся вверх?

— Ты поднимаешься вверх для самого себя, о Тихое сердце! — протяжно и напевно проговорил Ако.

Пирамида в знойном мареве шевелилась, словно это бабочка пыталась вырваться из своего когтистого кокона. Техути вдруг вспомнил: всего лишь год назад, до того, как его *избрали* в избранные, они, друзья-мальчишки, от нечего делать придумывали несуществующее. Кто-то, на мгновенье задумавшись, предложил: — «А вот представьте, что вода может быть… твердой!» — «Вода — твердой?!!» — Все захохотали; Техути тоже, он даже ответил: — «Проще представить себя богом!» Но все как-то сразу замерли и затихли. Тогда он виновато проговорил: — «Я никогда не делал вещей, которые ненавистны богам… Господа правды и истины — суть Тот и Астес…» — И оробело спросил: — «Я расставил богов по их дорогам?..»

Также конфузливо он спросил и сейчас:

— Пирамиду нам оставил Тот?

Ако, словно священная змея Сата (чьи годы нескончаемы), приподнялся над песком, лицо его отражало закатное сияние Амона:

— Да-да! Ты умеешь *знать*… Ведь Тот — владыка времени. Он идет, принося известия. Но, создав Пирамиду, он сказал так: «Я открыл путь к вам для себя самого». Ты понимаешь, о чем это?

И Техути вдруг понял: Тот — в каждом из нас. И Пирамиду мы строим в себе, чтобы Тот нашими устами шепнул: — «Я никогда не приду к концу!»

— Учитель! Но я чувствую беспокойство от этих мыслей… — Техути начал просто стряхивать капельки пота с лица, а затем двумя распахнутыми ладонями провел ото лба до затылка; в движении полосок его пальцев сложился почти что немес фараона.

Хотя династии фараонов исчезли уже почти четыре столетия тому, Ако по-змеиному отпрянул:

— Истина всегда тревогу сеет…

Техути неосознанно покачал головой, и вдруг глухо, словно это был кто-то другой, проговорил:

— Мы сами ее сеем… В нас Тот, в нас истина, в нас и тревога… Постоянно…

Жрец вдруг встал на ноги. Один среди иссохшего песка времени.

— Постоянно?.. Да что ты в свои годы можешь знать о постоянстве… Вечность — это День, а Постоянство — это Ночь.

Да, был день, но был и вечер. Амон скатывался по гребню Пирамиды. Ако развел руки, будто хотел сказать: «Когда не останется солнца, останусь только я…»

Ученик пригоршнями ухватил понемногу остывающее время, но песок все так же исчезал. Техути робко спросил:

— А почему пали наши династии?

— А почему падает песок в часах?

Ако опустился взглядом, и невнятно бормотал: «…и даруйте мне мощь плыть вниз по течению и плыть под парусом вверх по течению потока в Поле Тростников…»

В песчаной тишине, даже без посвиста ветра, он бессвязно продолжал: «Я ведь уже стар… Я положил конец своим проступкам, и я устранил свои ошибки…» Брови учителя были печально изогнуты, словно клюв в иероглифе «ибис».

Техути смотрел на жреца почти с испугом, ведь он знал, что истина скрыта в бровях. Но тот вдруг тихо и ласково, словно священную кошку гладил, молвил:

— Всегда помни, что ты — копт. А я расскажу тебе всё…

<…>

(Последующие страницы списка настолько повреждены, что дальнейшее прочтение их невозможно. Разборчиво встречаются лишь отдельные словосочетания: «Книга Тота», «Александрийская библиотека» и «Мы ее храним уже веками».)

6

В прихожей Думон почему-то вновь уселся за стол. Да и выглядел он вдохновлено-восторженным, словно вот только что перечитал «Египетскую Книгу мертвых».

— Ну что, Подмастеренок, «на коня»?

Заветный графинчик засверкал на столе.

Обычно я избегаю подобных поводов для «накатить», ибо, как подсказывает колючий опыт, одним конем дело не завершится. Чаще всего, в какой-то просветленный миг, по-некрасовски, ты видишь, что «шестернею цугом показались дроги»…

— Ну, «вздрогнем»?

Мастер, оказывается, как-то молниеносно успел разлить печальную «Осень» по стоящим здесь уже три часа, и застывших в ожидании, брильянтовым гранчакам.

Я даже растерялся. Откинулся в кресле, вцепился в подлокотники скользкой слоновьей кости. Но Думон, совершенно не глядя на меня, хрипло прокаркал:

— Вперед! Карты брошены!

Он даже плюхнул свою сохлую песочную ладонь на стол. Должно быть, сказывался возраст: большой палец и мизинец его изогнулись внутрь; на гладкой поверхности столешницы темнели лишь три средних пальца. Будто птичья лапка, точнее — словно окаменелый след какого-то священного птаха. И, в то же время: — «Буква «Шин!», — подумалось машинально (и, непонятно почему, нос подсознательно ощутил запах горящих шин; наверное что-то пригорело в столовой).

Да, я опубликовал когда-то статью о картах Таро и магическом их значении, и, глядя на эту букву — ש («Шин») — сразу вспомнил карту, которой она соответствовала. «Шут»! Ну, это там, где какой-то дурачок с песиком стоит над пропастью, во ржи… (Видать, не случайно сказал Творец: «Остановись, творение, на букве Шин и не распространяйся более…») Шут! Что ж, эта картинка мне подходит. Поэтому, играя роль своей карты, я разулыбался:

— Ничего не скажешь, двадцать один — очко! Выигрыш ваш!

Но он смотрел на меня так, словно загнанного коня держал на аркане. Да, на двадцать первом аркане…

В этот, последний раз, мы выпили молча — без тостов и стихотворного стриптиза.

Отдышавшись, Мастер вразнобой подвигал бровями, и вдруг проговорил с какой-то неимоверной грустью, словно потомственный экзистенциалист:

— А предают все. Абсолютно все! Порой сами этого не замечая, но чаще — сознательно. Хотя и по разным на то причинам…

— Если вы обо мне, — начал было я, как и в начале этого вечера, — то…

Договорить не удалось — Думон выпрямился в своем кресле и понес полнейшую чушь совершенно официальным тоном:

— По утрам тебе позвонят, справятся о здоровье («А то — мало ли что!» — он округлил глаза), подъедут и отвезут на работу. Сюда.

Какое-то время он старчески поплямкал губами: плям-плям. Затем строго продолжил, даже указательным пальцем немного подвигал:

— И не пытайся определить, где мы находимся. Это — запрет!

— Ну, то, что в вашем «бобике» затемненные стекла… я ведь и по звуку, да и вообще… могу *знать*…

Лишь криво усмехнулся:

— Лучше не знать… А «бобик», как ты выразился, — (похоже, Думон искренне оскорбился), — это Мерседес-Бенц, Джи-класс!

Я почему-то автоматически брякнул:

— Угу… «Unadulterated Class», — хотя так и не вспомнил, что бы это могло означать.

Но Думон понял, он даже картаво покивал головой.

— Да-да… Именно. И телефоном здесь не пользоваться! Он все равно работать не будет — защитный фон!

Еще покивал, еще, и душевно добавил:

— Да не заморачивайся ты тайнами! Ёксель-моксель…

Он проговорил с такой растяжкой, вяло, но уверенно, что возникло воющее ощущение, что меня бьют резиновым шлангом по голове.

У кого-то иногда бывают провалы в памяти. А у меня порой случаются провалы в детство…

…«Ёксель-моксель, балалайка,
Под столом сидит хозяйка.
У хозяйки длинный нос,
А зовут её...» —

И все вместе мы радостно кричали: «Барбос!»

Да, этот черный лохматый клубок был одной из немногих (если — не единственной) радостей *там*. Я однажды с ужасом подслушал, как наша техничка-уборщица, кося и так косые свои глаза, предлагала директору детдома «отравить суку крысиным ядом». Но тот, будучи человеком партийным, все же, немного оставался еще человеком: «Ну что вы, что вы, зачем нарочитые крайности…»

И мне думалось, что наш Барбос — безоглядно облизывающий всех, подставляющий свое шерстяное пузо для тисканья, не обижавшийся на отсутствие «вкусняшек», — что вот он, просто сущест-

во из другого мира, доброго, светлого, и пришел он сюда лишь для того, чтобы с нами разделить нашу скорбь. Вернее, принять на себя часть этой грусти; а нам стало бы чуть-чуть легче…

—…Эй, заснул что ли? — Думон нахохлился, едва ли не чистил перья своего халата. — Какой-то ты беспокойный…

— Я абсолютно спокоен и невозмутим. Как айсберг. Да. Абсолютно спокоен и невозмутим, как айсберг. Да. Перед свиданием с «Титаником».

Хоть я и говорил совершенно автоматически, мысли мои занимались своим привычным делом — перебирали какую-то словесную шелуху (услышанную и запомнившуюся), отыскивали в ней что-то удобоваримое, переругивались между собой, претендуя на особую значимость, и вообще были беспорядочны.

Взгляд старца мне не понравился — он смотрел на меня уж как-то слишком пристально, окаменело, можно сказать. А губы его двигались, словно и не принадлежали этому лицу, этим глазам:

— Я о «тайнах». Ты заметил — у нас нигде здесь нет окон, так что не пытайся определить, где мы…

Рассмеявшись, я ответил:

— Вся моя жизнь — это попытка понять, *где* я. Так что и вы, mon cher, не исключение, а скорей — продолжение вопроса.

Усталость напоминала о себе. В самом деле — весь вечер провести в помещениях без окон: где было как-то слишком темно (и не из-за отсутствия ламп и светильников), где воздух висел, дергая связанными ногами и высунув затхлый язык, где даже стены, казалось, пытались спрятаться друг за друга.…

Именно здесь мне и предстоит работать…

Думон поднялся. Постоял, покачиваясь. Поморщился:

— И поменьше со всеми этими своими мифами…

Я тоже встал. Смеясь:

— Ну… Можно ведь вообще замутить такой миф, что тебя возьмут на пожизненное обеспечение! Нет?

— Ладно тебе, будет уже, — старик вяло плелся к входной двери, но вдруг резко обернулся: — А что, скажи, ровно через год будет?!

Мне, уже в который раз, все эти вопросы осточертели:

— Да самолет с туристами собьют! — и добавил в безбровые округлившиеся глаза: — Нет, не мы, конечно, а… орда! Да! Бяки-буки.

Мастер в сердцах беззвучно сплюнул.

— Так… Сегодня у нас какой день?

— Вообще-то, уже вечер… Ночь, можно сказать. А с утра была среда.

— Хорошо, тогда разберись там со своими делами до конца недели, а в понедельник тебе позвонят и привезут. И не вздумай нас предать!

— И вам всего доброго!

Думон буквально вытолкал меня за дверь. Словно это был не старик в халате с меховым воротником (хотя и Мастер), а царственный швейцар в ливерной ливрее…

Все тот же «бобик» джи-класса отвез меня на Ветряные Горы. Дороги я даже не заметил, и весь путь мысли мои крутились почему-то вокруг космологии: если почти доказано, что есть невидимая «темная материя», тогда должно существовать и «темное время»! Время, которое мы не замечаем, Время, которое проходит то ли рядом с нами, то ли мимо нас…

VI

Лана внимательно слушала меня. Лишь сейчас, спустя два месяца, я вновь решился, и начал рассказывать ей *всё*: как год назад был принят в Орден и никто не должен был об этом знать (потому-то среди недели не позволял ей оставаться у себя, и даже ночью отвозил ее домой); как *вещал* в неизвестном мне месте и потом был допущен во *внутренний архив*; как в начале этого года призывал Думона задействовать *возможности* Ордена, чтобы не допустить вторжения (но его интересовала лишь сохранность архива); как в апреле (*«…буквально за неделю до нашей очередной, — улыбка, — встречи»*) заявил, что разрываю с Орденом и ухожу; как Мастер Дум прошипел, тряся своими паутиновыми пальцами: — «Что ж, уходи! Исключим тебя. Но если хочешь *мирно* — то еще три месяца отработай! Так у нас *принято*!»; как тогда же рассказал все брату Геку, и он меня поддержал.

— Вчера моя «отработка» закончилась. Теперь запросто, хотя сегодня и вторник, а не суббота, ты можешь остаться у меня! Если захочешь, конечно… — закончил я свой рассказ и вприщур посмотрел на Лану.

Она уже привычно погладила меня, начиная с переносицы, и грустно произнесла:

— Ох, Чук! Чукча, ты чукча…

— Ох, Лан! — так же нарочито горько поддержал я: — Чучхе ты, чучхе…

Но сейчас в ее глазах не было лучей. Никаких — ни смеха, ни гнева.

Скорее, в ее глазах была тревога (за меня? за себя ли?).

— Нет, я понимаю. Неизвестное место, никто не знает где оно. Да и ты просил не звонить в «рабочее время», поскольку там что-то «глушат»… Но почему, вспомни, ведь было, и не раз, — я тебе звонила днем, а телефон твой работал, и ты был дома, и я к тебе приезжала…

Я даже привскочил с дивана под мерзкое «буум» турбийонного дива (все еще живущего у меня), поскольку невзначай зацепил его ногой:

— Ты о чем?! Да, было пару раз такое, действительно. Но ведь я и тогда объяснял тебе, что просто немного приболел... Скажу честно — это я *им* говорил, что болею, просто на работу ехать не хотелось… А в чем проблема? Ведь согласись, в другие дни ты просто не могла до меня дозвониться!

— Я не пробовала «в другие дни»… — Лана сидела с опущенной головой. — Просто иногда я *очень* хотела увидеть тебя… Звонила… Ты был дома… Всегда, когда я звонила… — Она подняла голову: — И это ведь прекрасно!

Она принялась обнимать меня, тискать и ластиться (как это она умеет). Но я отстранился, поднялся, и начал ходить по комнате, размахивая руками, как сеятель с какой-то мифической облигации госзайма.

— Всё-всё! Давай о другом! А почему ты до сих пор не познакомил меня с Геком? Или ты стесняешься меня?..

(Только представьте, как могут выглядеть прищуренные узкие корейские глазки!)

— Лан… Ну Гек — он нелюдим, да и виделись мы с ним в последний раз месяца три назад, еще до тебя, так сказать…

— А вообще — как часто вы с ним видитесь? Вы же братья, как ты говоришь, близнецы-братья, родственники… — в голосе Ланы начали появляться нотки каких-то новых интонаций.

Я изобразил свирепость:

— А ты со своей мамой-кореянкой часто видишься?

Лана покачала головой:

— Нет, но это совсем другое!

Она взяла с дивана свою сумочку, долго (словно нарочно!) копалась в ней, достала какой-то пестрый кулон, раскрыла его и показала мне:

— Вот, смотри. Моя мама.

Я посмотрел на изображение кореянки с узкими перепуганными глазами. Да, некоторое сходство с Ланной можно было найти.

— А теперь ты покажи мне фотографию Гека. Новую, старую — хоть одну!

Стук по столу сначала был тихим, но постепенно становился все громче. Передернувшись, словно это и не я стучал, очень четко выговорил:

— Мы с Геком никогда не фотографируемся. Нет у меня его фотографий! Ни старых, ни новых.

Лана обняла меня, потянула всем телом, и мы вновь сидели на диване.

— Ты только не нервничай! — и она опять стала гладить меня ото лба до затылка растопыренной ладошкой.

— А помнишь, в начале июня ты водил меня на презентацию книжки какого-то немца…

— Ну да, хер Шульц представлял книгу своих статей…

— …И там еще какая-то рыжая тетка всё лезла к тебе целоваться, и кричала, что знает тебя сто лет…

Я хмыкнул:

— Сто лет в обед… Это была Тина, главный редактор очень серьезного издательства… Шульмана… А ты это к чему?

Лана опять понурила голову.

— Дело в том, что на той вечеринке я у нее спросила — почему здесь нет Гека? Она удивилась. «Разве у Чука есть брат? Никогда не видела и не слышала». Так и сказала.

Мой театральный хохот был ей ответом:

— Раз ты никогда не видела Австралии, значит, ее нет! Ты это хочешь сказать?

— Слушай, а вот прямо сейчас, ради меня, — Лана изобразила лик мультяшной куколки, — позвони Геку! Я хочу ему «привет!» прокричать. Пожалуйста, ради меня!

— Мы никогда не говорим по телефону… У меня и номера его нет…

— Как же вы тогда видитесь?

— Ну… Когда нужно, то он приходит ко мне, или я прихожу туда, где он…

— И нет никаких *свидетелей* ваших встреч?

Слова Ланы все больше и больше походили на фразы из какого-то специализированного пособия.

Я потряс головой:

— У меня такое впечатление, что ты говоришь сейчас со мною как врач. Да? Нет?

Она кивнула.

— Чук, а давай пофантазируем, у тебя ведь богатая фантазия! Представь себе маленького мальчика, совсем маленького…

— Мальчик-с-пальчик, — улыбнувшись, поддержал я.

Лана и сама заулыбалась, продолжая теребить кулон с портретом своей мамы, подняла голову ко мне, почти в глаза посмотрела. Но все, что она проговаривала дальше, было уже совсем не смешно.

— Да-да! И вот этот мальчик оказывается в интернате, в детском доме, где-то в северных глубоких снегах. Совсем один (не будем уточнять, что его родители были диссидентами, поехали на Колыму навестить своего высланного друга, а там их…), да, совсем один среди чуждого и совершенно непривычного мира…

Сломанным эхом отозвалось мое:

— Совсем один…

— Да, — продолжила Лана свою историю. — А еще можно представить, что, скажем, на самом деле родились двойняшки, близнецы,

но один из младенцев был, увы, мертворожденным. Но у нашего мальчика осталась *перинатальная* память о брате. Которого, на самом деле, нет.

Лана вздохнула, и опять погладила меня.

— И в этом ужасном детдоме наш мальчик находит поддержку — его брат! Они общаются, помогают друг другу… Но это лишь в представлении нашего мальчика! Это его щит, между ним и враждебным миром. Из года в год это *общение* крепнет. И оно остается, даже когда наш мальчик уже перешагнул за сорок…

— То есть — Гека на самом деле не существует?

Я почти был уверен, что взгляд у меня сейчас растерянный, точнее — растерзанный терновыми колючками непонимания.

— Почему же? Он существует. Но лишь в представлении нашего мальчика… И все бы ничего, это ведь никому не мешает, — Лана легко водила рукой, и ее кулон на нитке, словно маятник, тихо качался: туда-сюда, туда-сюда. — Но болезненная фантазия начинает порождать всё новых призраков!

Лана повернула голову и, пристально не глядя мне в глаза, продолжила:

— За эти три месяца, что мы… как ты сказал: *в очередной раз*, вместе, на всех этих тусовках, где мы бывали, я ведь со многими говорила… И все удивлялись — в последнее время ты, Чук, — сам не свой…

Ровный ход маятника-кулона почти загипнотизировал меня, но я поднялся и пошел на кухню со словами:

— Кофейку не худо бы!

…Пока я двигал кофейную турку над конфоркой, Лана сзади прильнула ко мне. Мягко прижалась грудью к моими костлявым ключицам и я уже был готов эротично воскликнуть: «До кофе, или после?..», но Лана отстранилась, тихо проговорила:

— Так вот, все и удивляются: последний год — ты сам не в себе…

— Так ведь и времена какие! — закричал я. — Революция! Смена парадигм! Как здесь оставаться беспристрастным!

Лана разлила сваренный кофе по чашкам.

— Кофе будешь? — она смотрела на меня так ласково и нежно, что я готов был забыть о безумном разговоре, который мы вели.

Она подала мне чашку, я отсербнул, охнул на горячесть…

— А представляем дальше: наш сорокалетний мальчик постоянно ходит на Майдан, борется… Мальчику видится, что не помогают те, кто мог бы, как ему кажется, *реально* помочь… Он вещает им, но они его не слышат…

Лана отставила чашку — вначале свою, затем и мою забрала.

— И получается, что он, наш мальчик, — она проговорила это так надрывно, словно о нашем с ней ребенке говорила, — нуждается в помощи…

— … Да, еще о детстве… Я, конечно же, не имела права, но я нашла в интернете (хотя и непросто было) список выпускников твоего года в том самом детдоме. Твоя фамилия в этом списке только одна, не две. У меня и распечатка есть, — она потянулась к сумочке. — Показать?

— Не надо… — глухо ответил я.

Мы опять сидели на диване. Профессиональный психолог гладила меня по голове и мягко ворковала:

— Конечно, это не просто принять, вот так, сразу… Что уже год ты, фактически, живешь в каком-то параллельном мире, в каком-то мифическом «ордене», тебя почти не нет в реальности, ты просто выпал из времени…

— «А время проходило то ли рядом с нами, то ли мимо нас», — процитировал я запомнившуюся когда-то мысль.

Лана закивала:

— Да, да! Полное понимание и осознание придут не сразу… Но я помогу тебе! И, конечно же, я сегодня останусь у тебя… И не только сегодня, если ты, конечно, сам захочешь…

…А ведь я ее любил…

Дотянулся до пульта на тумбочке возле дивана:

— Хватит. Давай телевизор посмотрим…

…На всех каналах говорили лишь о сбитом Боинге рейса MH17…

f.

ЛОЖЬ НАРАСПАШКУ

Четыре года я хранил молчание. Постоянно был в масках (это ведь так непросто!). Поначалу я *изображал прием таблеток*, которые мне приносила Лана. Я их забрасывал в рот, имитировал проглатывание, а затем благополучно и незаметно выплевывал в унитаз. И спускал воду. А спустя три месяца, ни разу не упоминая ни Гека, ни Орден, я начал вести себя как Оскар, персонаж Питера Койота (помните, «Горькая луна»?). Нарочито третировал Лану (а ведь я ее любил!), но не мог простить, что она начала *играть* против меня по *их* указке.

Как ее завербовал Орден, и *когда* — я не хотел разбираться. Может, мама-кореянка была заложницей, может, что иное. В конце концов, я довел наши отношения до того, что Лана не выдержала. После какого-то очередного, «взрослого гаудеамуса», поутру она сказала:

— Я ухожу… Ты уже совсем здоров. В психическом смысле, не в нравственном… Надеюсь, что это не ремиссия, а полное выздоровление, если можно так сказать…

Мне было больно — я *знал*, что и она меня любит, но тогда у меня не было иного выхода. Как и у нее.

…И сейчас я говорю и Лане, и Думону: вы промахнулись, слишком уверовав в свое «всезнайство»…

А вот капельки «реальной реальности».

Действительно, Гек родился мертвым. И это было зафиксировано в больничном журнале роддома. И главврач подписался под этим. Но! Через 20 минут Гек начал дышать. Феноменально, необъяснимо.

…Когда мы, *освободившись*, приехали в Киев, и наша тетка (мамина сестра, которая «удерживала» квартиру на Толстого) рассказала нам *все*, мы были обескуражены. Оказывается, тогда из-за канцелярщины было почти невозможно получить *справку о рождении* (Гека), ведь ребенок был прописан *мертвым*. Но наш отец каким-то образом умудрился выбить копию справки о *моем* рождении («мол, оригинальная, где-то потерялась»), по ней Гека и «легализировали».

…После празднования нашего шестнадцатилетия (с все той же манной кашей!), уже ночью, в *спальном помещении*, мы из окон смотрели наружу. Каждый в своем окне. А за окнами была сентябрьская темень. А еще двор в изморози напоминал огромное озеро. А еще около этого озера сидел наш Барбос и какая-то приблудная лайка. А еще они жутко выли. И Луна была огромной…

А Гек шепнул, чтобы не разбудить спящих: «Мы в этих разных окнах, как в двух башнях, смотрим на озеро, которого нет, но и мы смотрим оттуда, где и нас нет…»

Позже, он сформулировал более четко: «Мы всегда должны оставаться в разных башнях…»

В выпускном году, когда наши 16 лет уже позволяли получить паспорт, Гек заявил, что хочет быть «именованным» по девичьей фамилии нашей мамы. И ему это позволили.

В выпускном списке он уже проходил по фамилии, отличной от моей.

Но и это все это я рассказываю не ради возвращения Ланы (ведь я ее люблю!).

Есть более жесткие критерии реальности.

В самом деле, мы с Геком умеем *чувствовать* что и когда. У него, видимо, из-за двадцатиминутной комы, все более ясно… Ведь не случайно, тогда же, после «башен», он стал отращивать патлы, а я вечно брил голову…

Но и не в этом суть. Вы можете спросить — почему лишь через четыре года я начал об этом говорить?

Я расскажу. Еще в том, темном детстве, Гек сказал: «Я знаю… чего нам лучше бы не знать… но это будет…» Именно тогда мы договорились с Геком не договариваться о наших дальнейших встречах. Ведь мы и так между собой *знали* когда нужно встретиться, и так, чтобы не было никаких свидетелей наших встреч.

Но и не об этом речь. Вам не кажется странным, что вдруг «неожиданно» и «случайно» в мире начали *находить* оригинальные

коптские свитки Мертвого моря? Египтяне жгут! Именно их Орден начал первым выброс *оригинальных* документов. Процесс пошел. А если учесть, что сожжение Александрийской библиотеки было всего лишь имитацией (чтобы Птоломеи-оккупанты поверили в уничтожение)… То что, они, копты-египтяне, еще могут «ореалить»!

Мир меняется. И Думону я хочу лишь посоветовать проверить документ из *внутреннего архива* под кодовым номером 22_X_uk. Да. Он не найдет там оригинального документа. Его там нет. Он у Гека, и я передал ему этот артефакт в апреле 2014-го года.

Какие будут последствия после «случайного обнаружения» этого документа, Думон прекрасно понимает. Известный нам исторический мир просто рухнет.

Но, как я уже сказал, мир меняется. Он становится все яснее. У *нашего* Ордена есть некоторое время, чтобы начать «открытость». Мы с Геком даем ему этот шанс.

Почему я не боюсь сейчас говорить об этом? Именно из-за документа 22_X_uk. Мы оба с Геком ощутили, что пришло время рассказать обо *всем*. Попытайся Орден уничтожить меня за эту публикацию, и Гек немедленно опубликует тот самый «похищенный» документ (который взорвет не только нашу историю, но и общеевропейскую, ведь это будет оригинал…)

P.S. А еще я почти *знаю*, что где-то в течение недели совершенно случайно встречу Лану… И хочу *верить*, что в этот, *очередной* раз, наша встреча произойдет из-за нашей любви…

Виктория МАМОНОВА

/ *Санкт-Петербург* /

ВОСКРЕСЕНЬЕ

Лаванда и кипрей, чабрец, календула и череда, отдельно — мелисса, крапива, горячая трава, мать-и-мачеха, душица, лавр, полынь-трава, иван-да-марья, да корень зверобоя, мята и листья тысячелистника, плоды шиповника, березовые почки, цветы василька, корень девятисил, подорожник — по книгам, топинамбур, шалфей — для всей моей семьи, чтобы у вас хватило сил, кто бы вас ни оставил, кто бы вас ни любил… Пусть цветочные и травяные гербарии будут памятью обо мне.

1

Четыре ароматных состава звучат, как стороны света, —
Свежий — на основе хвои и вербены для белого севера,
Горьковатый — солодка с семенами годжи для востока,
Пряный — смесь ванили и сушеного чернослива для юга,
Цветочный — плен пионов и тающей сирени для запада.

Как мы в дыму лет растаяли? Почему мы оставили всё?
Как нам случилось разойтись по сторонам света бездетно?
Где наши цветы и наши тональности — по ту сторону ветра,
На каких широтах, в каких подворотнях, на каких высотах,
На ниточках каких невидимых горизонтов, точно ноты, висят?

2

По воскресеньям бабушка варила варенье из лепестков роз,
самых разных: чайных, черных бордо, белых, приторно-алых.
А рецепт был достаточно прост (хотя никто не повторил после):
сначала все лепестки роз недолго подсушивались на подносе —
потом ссыпались в медный чан, далее — добавлялся кипяток,
вареную смесь заливали сахарным сиропом и летним соком.

Варенье еще немного подходило на огне, впитывая шаги и смех,
остывая, набирало густоту и тягучесть, тяжесть бабушкиных век…
Аромат варенья осваивал все виды движений: он летал и парил,
просачивался в угловые щели, забирался на антресоли, под стол,
забивался в старый паркетный пол, пропитывал волосы и кожу,
он рос в воздухе невиданным растением и кружился каруселью.

Всё это казалось любовью, здоровьем, семьей и свободой —
всё это именно таковым было — без жгучего сигаретного дыма,
без тускло опрокинутых в себя глаз, поредевших седых волос,
без того, что остановилось на полпути, предательски не сбылось,
без закрытых зеркал, лопающихся на интервале сольных пустот…

3

Дедушка считал, мысль воздействует на тело непосредственно,
мысль — это вена, по которой струится ток настроенного сознания,
а речь привносит в осознание структуру, логику общего понимания.
Он называл это «волевым теплом», оно создается концентрацией,
при сем его локация условна — в кисти, в локте, в грудной клетке,
но только не в голове, голова должна чувствовать прохладу
(Ниагарского водопада).

«Волевое тепло», подобно шару, пару, подобно дирижаблю,
можно тренированным сознанием перемещать внутри себя,
обволакивая болящее материальное, болящие органы, ткани
(а вот про болящее восприятие он ничего не написал — жаль),
что настраивает весь организм на другой регистр частот.
Почти пифагорейский, а отнюдь не советский поворот…
Симфоническая Вселенная.

Он всерьез беседовал с сердцем, прислушиваясь к его звучанию,
как к звучанию морских волн (и что они несут в чреве своем?).
Тело, в его понимании, — живой музыкальный инструмент,
а не механизм управления и подавления — нечто священное,
поэтому боль — только мысль, требующая своего исправления.
Весь организм, по нему, резонирует с содержанием сознания,
а содержание сознания — с содержанием жизни…

4

Как вы жили среди пересудов, сосудов идеологий,
спор, покрывавших с лихвой карты мировоззрений?
Как вас не укололи шипы подозрений и тени масс?
Или вас так же жевали и безжалостно спрягали?!..
А вы все равно благоухали, настраивались на волну,
разговаривали с сердцем, душой и волосами — по ту?

Всегда было что-то по ту сторону, какая-то полнота,
та, что для всех непосвященных, незрима, неведома.
Ох, как вы цвели среди зимы человеческого участия!
К чему, из того чего я не знаю, вы были причастны?
Иван и Елена, Елена и Иван — может быть, вам
был известен рецепт какой-то другой любви?!..

5

Фокусы истории — пружинящие повторы, черный бархат,
выбитые витражи.
Ничто не восстанавливается так долго, как ткань человеческой души.
Ничто не рвется так быстро, как гуманность сама по себе
(а не воистину!).
Ничто так не тлетворно, как текучие иллюзии,
многообещающие миражи.

После революции детей врагов народа — поэтов, генетиков,
минералогов —
кому не исполнилось пяти особенно, распределяли по домам
и приютам,
к юным беспризорникам, попрошайкам и к малолетним проституткам —
всем — пытка; по сути та же евгеника, но только непонятно как,
наоборот…

Цель — сможет ли голубая кровь не поддаться пошлости
и огрублению,
сможет ли сохранить индивидуальность и высокое предназначение
среди вшей, мата, вони, всех видов нечистот и вещного отношения?
Так вот, нет, не сможет: кому нет пяти, дороже чай и колесико колбасы.

Ребенок считает, что весь мир — продолжение материнского лона,
любви,
что мир не злобен и не колюч, а скорее — тягуч и сладок, как леденец…
Пример под конец: дочь расстрелянного графа стала водителем
трамвая
С простыми синтаксическими конструкциями,
верная дщерь революции...

Теперь и тогда — основное упущение — в направлении хода и импульса,
в коллажности форм, злобе и коллективной упертой выспренности…
Импульс должен быть открытым и восходящим, парящим над талым,
а в России он — исторически нисходящий, интонация в речи — та же.

6

Нина, как ты умирала, вздорная и подвижная, бегающая за голубями,
Нина, Нина, как ты умирала — неподвижная и парализованная,
пустая,
не принявшая от жизни ни хлеба, ни мякоти близких сердец, ни любви,
за которой бегала оголтелым, раненым зверьком, как за голубями…

Все унесла белая река — твое дыхание и твои мечты,
и твою ранимость.
От всего отказалась ты, от всего отвыкла ты —
испарилась твоя малость.
Прощай, бегай там, за облаками, за белокрылыми ангелами,
за снегами,
Мелькая белокурыми косичками, со смеющимися глазами-лисичками…

Чем дальше мы уходим от цвета, тональности, тем младше становимся.
Возможно, этот образ мне продиктовала или нарисовала бессонница…
Не в том дело. Тем меньше цвета в самом импульсе,
меньше движения,
зато — много света, а порой — слишком много... Он всё поглощает.

7

Таня, Таня, где ты потерялась, тебя все кличут, и все зовут годами,
а ты всех видишь, но не признаешь, совсем не отзываешься душой.
Таня, где ты застряла, в каких душных кустарниках и в каких цветах,
где твое красное с белым платье, где звонкая радость — лишь страх?

В доме, сокрытом в других домах, сером, прозрачном и неземном,
в доме, где сквозит и переворачивается на балконах сонный шум,
в доме проклятом, а не родном одна растерянность в твоих глазах.
Никто не слышит твою музыку давно, твой беспокойный ум. Никто…

8

Лидочка и Лидия, где твоя золотая ладья торжественной Исиды?
Где твои сандаловые руки, где твои глаза, полные любви, не муки.
«Вот они!» — отвечает мне мать. Так что вдруг случилось со всеми?
Прогремели грозы, пришло ненастье, стекла реальности запотели?

Что вдруг?.....
Почему все оказались в своих историях, словно нищие паломники,
В своих красном, зеленом и желтом платьях — пришлись некстати,
Хотя вполне подходили временным срезам по походке и стати?..

9

В конце двадцатых чисел марта и до десятых чисел апреля
в Киото и Токио (ох, хорошо, мама, что хоть не на Венере)
ароматные метели лепестков — розовых и снежно-белых —
цветут, перисто реют, колышут воздух и плывут на восход.

Сакура открывает миру свою кратковременную красоту,
чтобы через две недели исчезнуть… Есть общий ход…
А впереди — долгий год трудов, поспевания сока, плодов,
Невероятной тишины, замедления роста, уплотнения колец.

Год, что сорвет с дерева жизни несколько зрелых сердец…
Ритм чередований прост, хотя через него не переступить,
а ты постоянно, год за годом, рвешь эту нить. — Да, я — не ты,
я — на возвратных ритмах, одна из гончих млечной Гекаты.

10

В детстве я составляла ароматы из сушеных цветов, листьев, трав:
меня не устраивал мамин парфюм, духи бабушки, тети Нины, Тани.
Все химические соединения казались искусственно напускными,
а ароматические масла — избыточно тугими, барочными по цветам.

Сочетание ароматов ингредиентов, как лента, должно извиваться,
подобно змеистому течению на фоне ведущего, главного аромата:
цветочного, свежего, фруктового, горького, безбрежного, пряного —
никто не предупредил, что у беды и потери, смерти и опустошения
есть свои тональности, свои цвета и свои ароматы, с чем сравнить?..

На некоторые из них у меня развилась к зрелости жуткая аллергия.
Да-да, всё более, чем очевидно, дедушка, — неправильное звучание…
Ведь сочетание ароматов сравнимо с сочетанием различных цветов,
что могут быть выстроены на принципах контраста и дополнения.

Контрастность нужна, когда требуется духовное звучание сестер.
Дополнение создается на градуированности тона, мерцании валёр,
вращении туманности Андромеды, медных тенях, темных объемах —
одним словом — на переходах, камерности единичной, си-минорной.

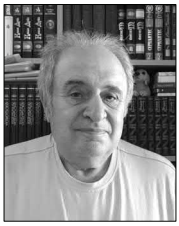
11

Какие голоса переливаются, парят, по-журавлиному курлычут!!!
Я вас порой в себе всех слышу — чудесных птиц и розовых ягнят.
Ну а потом всё разом заглушает водопад, я выбираюсь к Океану,
а он глазеет на меня, как Дхарма, воплощение нормы, или Мана.

Как передать твое дыхание? Может, как смесь герани и лаванды,
как запах крови роженицы, высокогорных трав и молодой орлицы,
клин караванов — то пустот, то ритмических повторений и оссаны,
как пенный капучино, чудаковатый Пульчинелла. Ты меня читаешь…

Как передать твое спокойное присутствие, которое касается меня,
ты уменьшаешься до капельки, фрактальной капельки-царапинки,
и переселяешься в меня, а здесь — внутри — ты разливаешься звеня
до привычных объемов и до всех своих вековых слоев и водоемов.

Долго-долго после ты смотришь на мир через окна моих серых глаз.
Весь ли мир имитирует твою мелодию и качается на твоих волнах?!
И весь мир прислушивается к тебе, чтобы услышать первозданное,
Хотя ничего — и даже тектоническая плавность — не предзадано…



Марат БАСКИН

/ *Нью-Йорк* /

СВЕРЧОК ЗА ПЕЧКОЙ

Маленькая сентиментальная повесть

1

Это, правда, давнее,
Но и о давнем
Не умолчишь…
Иосиф Уткин

Я вам скажу, мистер Баскин, вся жизнь — это большая дорога. И не имеет никакого значения, носишься ли ты по миру, или сидишь в своем Краснополье, и читаешь всю жизнь а бихул, книжку. Как говорил ваш дедушка, умный человек в Краснополье, ин вос фар а вэг дэр мэнч вил гэйн, фирт им Гот![1] И имею я ввиду, конечно, не просто дорогу, а жизнь. Вот я из нашего местечка никогда никуда по своей воле не уезжал. А пришлось. До Америки доехал! Как говорил Шолом-Алейхем, у кого скрипач на крыше играет, а у кого сверчок за печкой! Шпилн дэ грилн, играют сверчки! Так вот этот грил всегда со мной, куда бы я ни подался в жизни. Вот сейчас разговариваю с вами, и слышу, как он сверчит. Такая моя дорога. И еще хочу добавить, что это не просто сверчок, а еврейский сверчок. У него свои еврейские заходы. Реб Гриля, как я его зову.

А началась дорога, как у всех, с рождения. И с имени. Долго мне выбирали имя. Папа был из простых, из бологолов, и имя мне хотел простое: Марк, Мордухай. В его роду это имя передавалось со времен Есфирь, как говорил папа. Вот, как вас назвали. А мама была из ихэс, знатного рода, в их семье были провизоры, адвокаты и вообще неизвестно как они попали в Краснополье. И она решила назвать меня Эммануилом. И кем вы думаете, меня назвали? Конечно, Эммочкой! Вот как назвали, Гриля и зацокал.

---

[1] Куда бы ни собирался идти человек, Бог его ведет! (*идиш*)

Сверчок на печке спал, а я возле печки. Папа сделал козлы из березы, положил на них доски, матрас мама пошила из старой занавески, и в него сено положили. А подушку бабушка принесла. Она три года гусиный пух для нее собирала: гусей у нас только на пасху покупали.

— Приданное, для Эммочки, будет, — говорит. Как будто я не будущий жених, а будущая невеста.

Натерпелся я с этим именем в детстве изрядно. На нашей улице были три девочки Эммочки! И я четвертой стал. Да, что говорить, когда даже моэл, человек, который делает обрезания, шутил, что Эммочка очень красивая девочка! Вы спросите, откуда я это знаю, и я не буду вам майсу придумывать, что папа рассказал! Знаю и все. Гриля сказал.

Правда, в армии меня Эммочкой не звали. А звали Философом. Командир нашего стройбата, молодой лейтенант, почти наш ровесник, сказал, что философ такой был Иммануил Кант! Немецкий. Но этим меня не попрекали. А Философ хорошее имя. От этого имени меня на философию потянула. Я даже в библиотеке книжку Канта нашел. Библиотекарша на меня глаза вытаращила. «Критика практического разума»! Читали такое? Я ее от корки до корки осилил. Все помню. А столько лет прошло.… Поступай так, как бы ты мог пожелать, чтобы поступали все! Хорошо, если бы все так поступали. Но.… Размечтался я тогда поступить после армии в университет, и стать настоящим философом. Философствую и служу. Тут приходит от мамы письмо: меня женили! Не в прямом смысле, а в еврейском. Устроили шидех. Без меня решили на ком мне жениться. А шидех из ви, а лэйтэр, аз мэ штэлт им крум, крыхт мэн аруф, как говорит Гриля. Женитьба, как лестница, если криво поставишь, так легко слетишь. Приехала к дяде Берлу, нашему соседу двоюродная сестра Бэла с Молодечно. Вы слышали о таком городе? Ах, вы там работали. Тогда мне легче вам объяснить. Тетя Бэла работала там, в музыкальном училище и имела дочку на выданье. И искала ей жениха по всему свету, в смысле объезжая всех родственником. И я подошел. Ей очень понравилась, что моя мама работает в аптеке, а мамин брат в Киеве адвокат. А маме понравилось, что у нее мама музыкантша, и она сама музыкантша, а папа какой-то главный в городском отделе культуры. Мама показала мою фотографию с автоматом и в пилотке у знамени полка, а моя будущая теща семейный снимок, на котором Розочка исполняла арию Кармен из оперы Бизе. В пять лет. В общем, вундеркинд! И пошла история. Мама мне пишет, я ей пишу.

Осталось несколько месяцев до дембеля. Все ждут, когда я приеду. И приехал. Взрыв на Чернобыле. И наш стройбат туда. Ликвидировать аварию. Отправили нас туда в первый день, когда еще радио молчала. В верхах совещались, а мы работали.

Через два месяца все получили свою дозу. И оказались в госпитале под Москвой. Я с командиром в одной палате. Он уходил в иной мир, и ему хотелось поговорить. Мне сказали, что у меня не будет детей, и мне тоже хотелось поговорить. И мы говорили. Однажды среди ночи, он сказал:

— Слушай, философ, женись на моей бабе! И вырасти мою дочку. Боюсь, возьмет она какого-нибудь дурака и не будет Танюше житья. А вы евреи — добрые люди. И Насте будет хорошо и Танюшке.

— О чем ты говоришь? — от неожиданности предложения, я буквально задохнулся.

— Что думаю, то и говорю,— сказал командир. — Не думай, что я тебе старуху подкидываю. Она твоя одногодка. Красивая. Врач.

— Не трепись, командир, — сказал я, закусив губу, — проживешь еще много лет, и на свадьбе своей Танюшки погуляешь! И внуков побалуешь!

— Философ, не философствуй! На жизнь надо смотреть трезво, как говорил твой Кант Иммануил! — оборвал меня командир. — У тебя детей все равно не будет. И моя Таня будет тебе дочкой! Я ее еще не видел. Но Настя пишет, что она, белокурая, как она! Скажешь, что в жену пошла! Такое, не редкость!

— О чем ты говоришь,— возмущался я.— Вбил себе в голову, неизвестно что, и мне голову морочишь! Жить ты будешь! Долго и счастливо! Я слушать не хочу твои разговоры! Поворачиваюсь на бок и сплю! — И я демонстративно отвернулся к стенке.

— Мало мне осталось, и поэтому я тебе спать не дам, — сказал командир.— Послушай меня! Хорошо, пусть ты прав и я буду жить долго и весело! Но если будет по-другому, дай мне слово, что не оставишь моих! Мы с Настей из одного детдома. У нас воспитательницей была Клара Моисеевна, еврейка. Мы ее как маму вспоминаем. Так что Настя против еврея не будет. Насчет этого не думай! И дочка еще меня не видела. Она будет думать, что ты ее папа!

И тут меня взорвало. Я решил защищаться нападением.

— Она что у тебя крепостная, в рабстве, что ты распоряжаешься ее судьбой?! И если тебе очень хочется, то я обещаю, что буду помогать им! А уж как она дальше жить будет, ее дело, а не твое, товарищ лейтенант! Дошло?

— Не дошло, — сказал он.— Не в деньгах дело! Ей нужен муж, а Танюшке папа! И то, что я тебе сказал, я ей написал, тебя не спрашивая! И написал ей адрес твоих родителей! Я когда-то благодарность им писал от лица командования. Он у тебя простой. Как у Чехова. На деревню, дедушке. И я его запомнил. Так что, она тебя найдет!

Хотел я его послать подальше, но тут под ухом реб Гриля зацокал, не знаю, откуда он вылез:

— Швайг, швайг, швайг! Молчи, молчи, молчи! — и я промолчал.

Пусть лейтенант думает, что все так и будет. Может ему от этого легче станет.

После этой ночи, мы больше об этом с командиром не говорили. Через неделю меня выписали и начистую демобилизовали. А лейтенант остался в госпитале. Я попрощался с ним, сказал, что мы обязательно встретимся, он махнул безнадежно рукой, и, когда я уже оказался почти у дверей, остановил меня:

— А ты не забудь про мою просьбу, философ!

Я едва, машинально, не спросил:

— Про какую просьбу?

Но не спросил. Ибо сверчок опять зацокал над ухом. И я кивнул.

Доктор, выписывая мне документы, посмотрев на мой удрученный вид, похлопал меня по плечу и, заговорщицки, подмигнул:

— Считай, что тебе повезло, по сравнению с другими! Из вашего батальона единицы выпишутся отсюда. Так что живи за себя и за того парня, как в песне поется. Не переживай, солдат! Можешь теперь гулять с бабами спокойно — детей не будет! И побольше пей вино — вымывает радиацию! И голове веселей! — и добавил: — Жизнь, что-то забирает, а что-то дает!

Я сделал кислую улыбку, и ушел.

Поезд на Минск уходил вечером, и я целый день проторчал в очередях в московских магазинах, стараясь что-нибудь купить из еды для дома. Ибо, как написала мне мама, чернобыльская беда не обошла стороной и наше Краснополье. То ли по чьему — то приказу, то ли по воле природы облако из Чернобыля докатилась до нашего местечка, и вылилась радиоактивным дождем. Кто прав, кто виноват — об этом один сверчок знает. Но он мне не говорит, что бы я, не терял веру в родную власть, как он выражается, и лично в товарища Горбачева. Ибо товарищ Горбачев еще для евреев доброе дело сделает. Я не уточнял, какое дело. Денег у меня особенно не было, но что-то купил: на Горького нарвался на тушенку, а за несколькими кольцами колбасы пришлось забраться почти в конец города, на Пресню. И купил, как советовал доктор, бутылку дешевого вина. Перед самым поездом, заскочил на центральный почтамт и позвонил домой. И мама сказала, что раз я буду в Минске, то это два шага от Молодечно. И попросила заехать к Розочке. И добавила, что хорошо, что нашлась невеста подальше от Краснополья. Ты устроишься там, и мы переберемся туда из радиации. Сказала, что они с ней созвонятся. И дала мне ее адрес.

Поезд был ночной. Отправлялся поздно. И соседи по вагону, двое старичков командировочных, немного поговорив о своих делах, легли спать. Я предложил им выпить, но они, посмотрев на мое дешевое вино, скривились и отказались. И тогда я выпил всю

бутылку сам. Потом взял простыни, подушку, забрался на верхнюю полку, лег, думал, что усну, но не смог. Так до самого Минска лежал. О чем я только за ночь не передумал? И о лейтенанте, и о его дочке, и о маме, которая ничего не знает о моих бедах и ждет внуков, и о Розе, которая пока еще думает, что махт а мецоцэ[1]. Множество вопросов крутились в голове и ни на один из них я не находил ответа. А реб Гиля в спячку ушел. Как будто не я выпил вино, а он.

2

Но по-разному счастье курится
По-разному
У разных мест:
Мотэлэ мечтает о курице,
А инспектор курицу ест.

Иосиф Уткин

В Минске я сдал свой чемодан в камеру хранения, купил на вечер билет на Краснополье, и налегке поехал в Молодечно. Мама сказала, что бы я купил торт, но на торт у меня денег уже не было.

Жила Роза не далеко от вокзала, в самом центре, в многоэтажном доме напротив кинотеатра. На первом этаже дома был большой магазин. Я наскреб последние деньги и купил коробку конфет. Был будничный день, но предупрежденные маминым звонком, вся семья Розы была в сборе. Со Сморгони приехала Розина старшая сестра Голда с двумя пятилетними мальчишками — близнецами, которая виновато сообщила, что муж то же собирался приехать, но не отпустили на работе, какая-то проверка в школу приехала. Мальчики, обрадованные моей солдатской формой, буквально повисли на мне. И Голда одобрительно заметила, что меня любят дети, и я буду хорошим папой.

Как и положено, в еврейской семье накрыли праздничный стол. Пошли застольные разговоры. Стали все расспрашивать меня о будущем: где я намерен жить, у вас же в Краснополье радиация, собираюсь ли я пойти учиться, и куда, ибо без образования сейчас трудно. Я отвечал какими-то обтекаемыми фразами, мол, жизнь покажет, конечно, надо выбираться из Краснополья, а к чему руки приложить не знаю, может на строителя выучиться, стройбат все-таки прошел. Обо всем говорили, только не о прошлом. Мама строго — на строго, предупредила меня, чтобы я не заикался, о том, что был в Чернобыле:

— Зуналэ, сейчас про радиацию мегилу говорят. Они испугаются и шидех не состоится. Помолчи! Хватит того, что они знают, что в Краснополье радиация!

---

[1] Делает удачное дело (идиш).

И я молчал. Но мне очень хотелось поговорить об этом. Ибо это мучило меня и не давало покоя. И напоминали об этом племянники Розы, которые разместились на моих коленях и ни за что не хотели слезать. Да и мне не хотелось их отпускать.

Есть люди, которым легко говорить неправду, ибо они говорят ее постоянно. Если люди, которым легко промолчать, ибо они ни перед кем никогда не раскрывают свою душу. А есть люди, как я, которыми не могут соврать и не могут ничего утаить, ибо потом их замучит совесть. И не спрячешься от нее даже за китайской стеной. Честно скажу вам, это плохое качество. Но так меня воспитали. Плохо воспитали, как я не раз убеждался в жизни. Но перевоспитать я себя не могу.

Когда я часа через четыре распрощался со всеми и собрался на вокзал, Роза вышла со мной. И первыми словами, которые я ей сказал, как только мы оказались на улице, были слова о Чернобыле:

— Я был там. Не хотел говорить при твоих, а сейчас скажу.

— Хвастаешься?— она не поверила мне.

Тогда, еще все думали, что этим можно хвастаться.

— Ох, — я вздохнул, — если бы это было хвастовство! Это правда, — и тут же, чтобы не задохнутся, подступившим к горлу комком, быстро добавил: — Я получил там свою дозу!

— Что? — не поняла она.

— Получил облучение, — сказал я, и добавил: — У меня не будет детей. Я об этом не говорил даже родителям. Тебе говорю первой.

Она несколько минут смотрела на меня широко раскрытыми глазами. И я, не дожидаясь ее слов, чтобы оборвать этот разговор, подвел черту, как говорил командир, объясняя задание:

— Ты — красивая! Ты найдешь хорошего парня! И у тебя будут двойняшки, как у твоей сестры! Не обижайся на меня! Конечно, мне не надо было заезжать к вам. Но не знаю почему, я заехал. Не могу объяснить. Но я сказал тебе правду! И провожать меня не надо! Я дорогу до вокзала знаю.

Я думал, что она без слов повернется и уйдет. Но она спросила:

— А я тебе нравлюсь?

— Нравишься, — честно сказал я.

И опять услышал неожиданный вопрос:

— Я видела, как ты быстро подружился с моими племянниками. Они чувствуют человека, который любит детей. Ты хочешь иметь детей?

— Для чего этот вопрос? — недоуменно спросил я.

— Что бы помочь тебе.

— Ты — волшебница?!

— Немножко, — заметила она, — но здесь дело не в волшебстве. Я просто беременная. Об этом не знают мои родители, — она на

минуту замолчала, пристально глядя на меня, а потом добавила, — как и твои о твоих проблемах. Так что, если желаешь, мы можем решить наши проблемы вместе.

— Но ты же любишь отца своего ребенка,— сказал я первые пришедшие на ум слова.

— Врать не буду. Мы должны быть честными. Признаюсь даже, что хотела тебя в начале обмануть. Да, я его люблю! Но у него хорошая жена. Двое детей: мальчик и девочка. И он их любит и никогда не уйдет из семьи.

— Но без любви нельзя жить вместе! — вырвалось у меня.

— В наших обстоятельствах можно. Моя мама не любит папу и, слава Богу, живут уже тридцать лет с хвостиком! Так что, подумай!

Она посмотрела в мои растерянные глаза и добавила:

— Только недолго, ибо скоро может быть видно мое положение. А у папы было уже два инфаркта. Третий он не перенесет.

Захотелось спросить, а помнила ли она про это, до того, как влюбилась. Но тут же вспомнился Кант: иной вопрос уже в самой постановке вопроса не имеет смысла. И я не спросил.

На вокзале она поцеловала меня.

И прошептала на ушко:

— Кстати, моему папе все говорят, что дочки на него не похожи. А он говорит, что мы похожи на его дедушку, которого никто никогда не видал. Заметил, мы с Голдой рыжие, а папа черный, как смоль. Внучки рыжего Мотыле! Читал про него?

— Не читал, — честно признался я.

— А там есть строчки про меня, — впервые за нашу встречу рассмеялась она, — она хорошо варила цимес и хорошо рожала ребят! Ты любишь цимес?

— Не очень, — сказал я.— Я люблю мочанку.

— Его жена тоже не любит цимес. А он любит. Может поэтому и изменил ей, — по сей день я не знаю, почему это она вдруг сказала тогда, сказала совершенно неожиданно для меня, и, мотнув головой, расплескала, как волны, по ветру свои рыжие волосы.

В автобусе, я, не спавший вторые сутки, моментально заснул. Даже проспал остановку в Могилеве, где автобус стоял целых полчаса, и только после Черикова, когда выехали на Краснопольскую дорогу, проснулся. И то не своей воле, а потому что над ухом зацокал реб Гиля.

— Вос зэ а майсэ фун а цыгэлэ а вайсэ? Что за история про белого бычка? — пошутил он.

— Не издевайся, — сказал я. — Не хватает мне, чтобы и ты еще издевался.

— Я не издеваюсь, — сказал сверчок, — просто хочу тебе заметить, что такая мадам, как Роза, тебе подходит! С ней ты не пропадешь!

— Она же меня не любит, и даже не скрывает это, — заметил я.

— Ит из унтэр а гройсн фрэгцэйхн. Это под большим вопросом, — заметил реб Гиля.— Может еще и полюбит. Конечно, сейчас ее подталкивают обстоятельства. Но и тебе кое-что мешает зайн а порэц ба зых![1] И хочу тебе сказать, ты тоже для нее не большая радость, что бы тебя любить! Поверь мне, я знаю твои способности. При твоей сверхчестности, ты каждой сразу скажешь про свои беды. И, попробуй, найди такую, что бы согласилась! Конечно, если бы ты был Ротшильд, то мог бы крутить носом. Но, когда у тебя пустые карманы, то я бы не советовал!

— Но она даже не сказала, что больше не будет с ним встречаться, — схватился я за последнюю соломинку, что бы возразить реб Гилю.

— Я не думаю, что ты а нар фун коп биз фис (дурак с головы до ног), что бы жить с ней в Молодечно?!— подпрыгнул на моем плече сверчок.

— И где мне жить? — спросил я.

— В Америке! — сказал сверчок.

— Опять издеваешься, — сказал я.

Но реб Гиля ничего мне не ответил. Просто покрутил лапкой у виска, мол, о чем говорить с дураком, и спрыгнул с плеча.

Когда я вошел в дом, мама чуть ли ни с порога, сказала, что им звонила вечером Розина мама и сказала, что я им понравился. И что они сказали, что не надо тянуть со свадьбой. И, главное, они все расходы на свадьбу берут на себя.

— Это главное? — переспросил я.

— Не последнее, — сказала мама, — мы не богачи.

Я мучился, не зная, какое принять решение. А сверчок куда-то запропастился, и посоветоваться мне не было с кем. Сходил в библиотеку, хотел перечитать Канта, но в библиотеке о нем даже не слышали. И полезли из памяти перемешанные обрывки мыслей. Все надо совершать, исходя из максимы своей воли. А какая она моя воля? От сексуальности мутится разум. Мутится и что? Но у человека на это накладывается нравственная форма. Накладывается. Но кто более нравственен я или она? Человек не может считать себя абсолютно правым.

Мама каждый день напоминала мне, что надо позвонить Розочке. Я сам понимал, что надо дать ответ. Но надеялся на какое-то чудо, и ответ придет сам собой. И не звонил. И тогда она позвонила сама. Мама подняла трубку и хотела сразу передать мне, но Роза сначала довольно долго говорила с ней и только потом попросила позвать меня. Я взял трубку и услышал всего два слова:

— Да или нет?

— Да, — ответил я и, как-то машинально положил руку на рычажок телефона, отключив разговор.

---

[1] Строить из себя аристократа! (*идиш*)

— Что так быстро?— удивилась мама.

— Случайно отключил, — признался я.

— Шлеймазул, — сказала мама и успокаивающе добавила, — подожди, сейчас она перезвонит.

Но она не перезвонила в тот день. И я подумал, что это судьба. И моя история со свадьбой закончилась. Мне как-то на душе стало легче. И, главное, не я принял решение, а судьба. В эту ночь я спал спокойно, но утром, проснувшись, услышал цоканье сверчка. Хотел с ним поговорить, но он уклонился от разговора, хотя цоканье не прекратил. И выцокивал он фрейлахс, еврейский свадебный танец. А вечером позвонила Роза и сказала, что договорилась насчет ЗАГСа и ресторана. Ресторан напротив их дома, возле кинотеатра.

Свадьба была хорошая. И в меню была моя любимая мочанка. И не было цимеса. Но мне все равно казалось, что среди гостей сидит отец Розиного ребенка. Я хотел спросить об этом Розу. И я думаю, она ответила бы мне честно, Но я не спросил.

После свадьбы переехал я к Розе, потом мы переехали в Сморгонь (я вспомнил слова реб Гиля) устроился на стройку каменщиком и поступил в Политехнический на инженера-строителя на заочный факультет. Сначала снимали жилье, а потом мне дали квартиру. В малосемейке. Через семь месяцев родился мальчик. Вполне хорошее время. Семимесячные дети рождаются довольно часто, успокоила меня мама. Мальчишка был совершенно не похож на Розу: русый, голубоглазый. Наверное, в папу. Мне хотелось сказать Розе, что у нее был красивый любовник, нечета мне. Но не сказал. Мама все спрашивала, на кого он похож. И я, вспомнив, мамины рассказы о дяде Теодоре, которого все принимали за русского, сказал, что малыш вылитый Теодор. И мама сразу стала говорить, что его надо назвать в честь дяди Тимкой. Но я возразил, сказав, что мы с Розой решили, что первый ребенок будет назван в честь ее родственников. А вот второго мы назовем в честь дяди Теодора. Когда я рассказал об этом реб Гилю, он долго цокал, а потом сказал:

— Рассмешил, рассмешил. Но так оно и будет!

— Что будет? — спросил я его.

— Много будешь знать — быстро состаришься, — ответил он.

Роза то же долго смеялась, когда я ей пересказал разговор с мамой, а потом сказала:

— Тогда назовем нашего малыша Мотей в честь моего дядю Мотылэ. Ты не против?

— Нет, — сказал я, — но ты мне про этого дядю ничего не говорила.

— В первый день рассказала, — засмеялась Роза.— По пятницам Мотэлэ давнэл, а по субботам ел фиш![1] Вспомнил?

---

[1] Давнэл — молился, фиш — рыба.

— Вспомнил, — кивнул я. И провел ладонью по Розиным рыжим волосам.

Пятилетие Моти совпало с моим окончанием института, и мы решили отметить оба праздника вместе, в Молодечно, в «Папарацькветке», в том же ресторане, где была наша свадьба, и где готовят самую вкусную мочанку. По этому случаю приехали мои родители из Краснополья. Так получилось, что приехали они к самому торжеству. И уже за столом мама вспомнила о письме, которое они получили буквально перед отъездом:

— На автобус шли, и нашу почтальонку встретили. Говорит вам письмо. Взяли, смотрим, тебе.

Я взял письмо, пробежал глазами по адресу и вздрогнул. Я понял от кого это письмо. Я не мог ждать конца торжества: я открыл его сразу. Маленькое короткое письмо всего из нескольких предложений, написанных почему-то на медицинском бланке.

Я не знаю Вашего имени. Леша мне не сказал. Он называл Вас Философом. Он сказал, что если мне будет очень плохо, я могу обратиться к Вам. Мне плохо. Очень. Настя.

Роза заметила, что я изменился в лице.

— Что там? — встревожено, спросила она.

Я протянул ей письмо. Она пробежала его глазами, и ничего не поняв, спросила:

— Кто она?

— Она жена моего командира. Вечером все расскажу.

И все ей рассказал, ничего не утаив.

— Если бы тогда, сразу, пришло это письмо, то я, наверное, на ней бы женился,— честно сказал я, — но теперь у меня ты и Мотя. Но я должен поехать к ней. Ей плохо. Я обещал лейтенанту, что помогу.

— Да, поезжай, — согласно кивнула Роза, и, как всегда неожиданно, добавила.— Если ты решишь остаться с ней — оставайся! Ты нам с Мотей ничем не обязан. Это мы обязаны тебе! Я дам развод!

— Не говори глупостей, — сказал я и добавил, погрозив ей пальцем,— скорей ты меня бросишь, чем я тебя.

— Не дождешься! — сказала она и прижалась ко мне.

Роза сказала, что поговорит с моим начальством об отпуске, и я выехал утренним поездом на Москву, с билетами помог тесть, а потом от Москвы еще с двумя пересадками добирался до маленького поселка в Курской области, где Настя работала врачом в местной поликлинике.

— Чуть-чуть опоздали, — сказал главврач, маленький сухонький старичок, чем-то напоминающий гнома из детских сказок, — вчера Настасью Ивановну перевезли в областную больницу. Хотя,

я бы это не делал. Ей уже ничем не помочь, а уходить в иной мир лучше в родных стенах. Но она не хочет, что бы это было на глазах дочки. Вы Философ?

— Да, — сказал я.

— Она меня предупреждала о вас! Она очень вас ждала. У нас сегодня санитарный самолет, с области. Я могу поговорить, что бы вас взяли. Может, успеете повидаться. Мы ее все очень любили, — сказал он почему-то в прошедшем времени.

— А Таня где? — спросил я.

— О девочке не беспокойтесь. Она у подруги Настасьи Ивановны пока. У нашего прокурора. У нас прокурор женщина. Строгая, строгая! Я бы вас чаем с медком угостил бы, но самолет через час улетает. Наш шофер вас довезет до аэродрома. Надеюсь, еще увидимся.

— Увидимся, — пообещал я.

Я застал ее еще живой. И первые слова ее были:

— А вы на Лешу похожи. Я боялась, что вы не откликнетесь. Спасибо вам! Не послушалась я Лёшу. Неудобно было, как-то самой, в жены напрашиваться. Не заведено это у нас. Решила сама оставшуюся жизнь прожить. Переехала в этот поселок. И вот теперь Лешка к себе зовет. Не хочу я, что б Таня, как мы с Лешей, воспитывалась в детдоме. Не хочу! Не хочу! — тихо, едва слышно, сказала она и замолчала, с надеждой глядя на меня.

У нее уже не было сил уговаривать меня. Но ее глаза молили. Они ждали моего ответа. И я сказал:

— Я заберу Таню. Она будет мне дочкой.

— Спасибо,— сказала она, — спасибо…. Таня знает про вас. Скажите, что вы — Философ! И она вас узнает…. Вера Анатольевна поможет оформить все документы, — ее глаза стали влажными, и слезинки поползли по щекам. Она попыталась рукой вытереть их, но рука не послушалась и только вздрогнула, приподнявшись над одеялом.— Спасибо, — еще раз прошептали ее губы.

Вечером ее не стало.

Ночным автобусом я вернулся в местечко. Водитель автобуса, двигаясь по поселку, объявлял известные местным остановки:

— Почта, райком, магазин, больница.

Возле больницы я вышел. И почему-то решил не искать гостиницы, а зайти туда. На удивление мне, главврач все еще был на месте. Я рассказал ему все. А потом он повел меня к себе ночевать. Был он старым холостяком, жил в пристройке к больнице. Почти всю ночь мы сидели с ним, и пили медицинский спирт, чуть-чуть разведенный водой, закусывали луком, обильно посыпая его солью и запивали сырыми яйцами, которые ему привез брат из ближайшей деревни. И говорили.

— Хорошая женщина была. И умная, и красивая. В одном человеке — это редко совмещается. Вот Вера Анатольевна у нас —

умная баба! Прокурор! Пока ушами видишь — хороша! А как глазами увидишь — испугаешься. Правда, муж у нее такой же. Но председатель нашего поселкового совета. Такова жизнь, как любят говорить умные люди….

— Такова, — согласился я.

— Когда Настасья Ивановна к нам приехала, я на ее глаз положил, — вернулся к прежнему разговору доктор, — даже согласен был на холостяцкую жизнь крест положить. Но не вышло. Правда. Наверное, возрастом не подошел. Но она даже нашему красавцу Рентгенологу от ворот поворот дала. А все женщины у нас по нем млеют. Она вообще ни с кем. Все своего Лешу вспоминала. Он и в правду, красавец был? — спросил он, с любопытством поглядев на меня.

Я пожал плечами, и почему-то вспомнил Канта:

— Моральные принципы независимы от моральных доводов, красота вещь относительная, — сказал я, — если ты кого-то любишь, он для тебя красив.

— И вправду, ты философ, — заметил главврач. — Это придает мне надежду, что и я для кого-то Муслим Магомаев.

— Для кого-то, — согласился я.

— А ты женат? — доктор с хитринкой посмотрел на меня.

— Да, — сказал я.

— А дети у тебя есть?

— Есть.

— А жена твоя не будет против того, что ты удочеришь Таню? Ты с ней обговорил это дело?

— Обговорил, — первый раз в жизни соврал я.

Сказал я это, как-то неуверенно, и доктор заметил это.

— Смотри, а то жены очень щепетильны в этом вопросе. Будет всю жизнь думать, что дитя от любовницы! Вот если бы жена тебе привезла дитя неизвестно от кого, ты бы сразу подумал, что от любовника? Или нет?

— Нет, — уверенно сказал я.

…Хотя Таня и была на год старше Мотика, но выглядела ровесницей. Увидев меня впервые, она настороженно посмотрела на меня, и почему-то спряталась за более смелую подружку. И тогда я сказал, что я Философ. И в ту же секунду она бросилась ко мне:

— Папа!

Я подхватил ее на руки. Она прижалась к моей небритой щеке. И заплакала. А потом, повернулась к дочке прокурорши и гордо сказала:

— А ты говорила, что Философ не приедет. Мама сказала, что он приедет! И он приехал! Мама никогда не обманывает!

— Не обманывает, — подтвердил я.

— У меня папа Философ, а у тебя папа Ваня! — гордо заявила она подружке, а потом попросила: — Папа, а можно я тебя буду называть, как мама, просто Философ?

— Можно, — сказал я.

Так она меня называет, и по сей день. Всех это очень удивляет. Сначала только она меня так называла, а потом и Мотю приучила к этому. И даже Роза иногда забудется и вместо Эмки зовет меня Фил. Звучит по-американски.

Все документы на удочерение оформили быстро, как говорится, вся власть в руках народа. Чтобы не было и дальше канители, исправили ей и отчество, и в выданном новом свидетельстве о рождении по случаю потери старого, записали, что отец я.

— Ну, что? — сказал сверчок, разбудивший меня среди ночи в поезде Калуга-Москва, — я же тебе говорил, что обещание мамы ты исполнишь, и второго ребенка назовешь в честь дяди Теодора. Из Теодора прекрасное имя для девочки Таня. Мама твоя будет рада. Как говорят цадики, ба едн умглык из ойх фаран глык![1]

— Папа Философ, что ты сам с собой разговариваешь во сне, — перебивает наш разговор проснувшаяся Таня.

— Это у философов бывает, — говорю я.— Спи!

3

Сколько домов пройдено,
Сколько пройдено стран,
Каждый дом — своя родина,
Свой океан.

Иосиф Уткин

А потом началась Америка. Закружился, завертелся еврейский народ, и потянулись, как стаи птиц к югу, еврейские караваны в Америку. Чуть ли не у всех нашлись там родственники близкие, далекие, третья вода на киселе, четвертая бабушка восьмого дяди, как говорит реб Гиля. Нашелся и у моего папы двоюродный брат троюродной тети, которого мы превратили в родного брата по дедушке. Поехали и мы. На таможне в Москве, пограничник долго удивлялся нашим малышам и не верил, что они не близнецы.

— Одно лицо, — говорит.— Только по писькам можно отличить! И бывает же такое! А в документах написано, что не близнецы!

Дальше можно и не рассказывать. Прошли все, как и все. Всякого хватало в жизни. На то, она и жизнь. Как говорил еще Шолом-Алейхем, дэм мэншнс лэбн из ви а ярид! Человеческая жизнь, как базар! Всего хватает! Но одну историю в конце хочется вам рассказать, мистер Баскин.

---

[1] И в несчастье можно счастье найти!

Двадцать лет прошло в Америке, как один день. Танечка врачом стала, а Мотя у нас адвокат. Слава Богу, внуки уже есть! Что еще в Америке надо? Я маленький бизнес имею, копейка капает, жизнь идет. Роза в Еврейском центре работает, помогает старикам нашим документы всякие оформлять. В общем, как говорит реб Гиля, живи и радуйся!

И вот вчера приходит Роза с работы и сверкает, как новая люстра. По лицу вижу, что ей не терпится мне что-то рассказать. Но жду. Вопросы не задаю. Покрутилась на кухне. Ужин приготовила. Зовет к столу. И не успел я к блинчикам прикоснуться, как говорит:

— Эмма, ты знаешь, кто сегодня ко мне на консультацию приходил? — и хитро смотри на меня.

И тут мне сверчок на ухо шепчет:

— Он.

Ну, я и говорю:

— Он!

Она на меня глаза вытаращила:

— Откуда ты знаешь? Только не говори, что сверчок подсказал! Я от этих разговоров с ума могу сойти!

И я решил ее успокоить:

— Просто так сказал. Есть же только два варианта: Он или Она. Я выбрал Он.

— Так ты не знаешь, кто Он?

— Не знаю, — говорю.

— Ну, — она на пару секунд замолчала, подбирая слово, что бы меня не обидеть, потом сказала, — мой старый знакомый с Молодечно! — и тут же, не дав мне вставить вопрос, не останавливаясь, пояснила: — Он меня не узнал! Представляешь, не узнал! Ты думаешь, я так изменилась?

— Я думаю о другом, — неожиданно для нее, сказал я, — я думаю, а хотелось ли тебе, что бы Он тебя узнал?

— Хотелось!— как всегда честно, призналась она.

Вот такая история. Как говорили у нас в Краснополье, «жыцце, што воуна, як ні круці, а выпрастаецца усяроуна». Жизнь, как шерстенная нить, как ее не закручивай, а все равно выпрямится!

Борис ВАНТАЛОВ

/ *Санкт-Петербург* /

ЗАЙЧИКИ В ВОДЕ

1

Старообрядец,
книгу читаю,
ручкой пишу.

Я исчезаю.
Я не ропщу.

2

Постылые трели комарика я.
Сознание в сумраке млеет.
Пропащие книги. Конец декабря.
И ёлка, как труп, зеленеет.

3

Утро муторного дня.
Тела тёплая кастрюля.
Мозг транслирует меня.
Старости тупая дуля.

Зажигаю газ земли.
Ставлю чайник на конфорку.
Бродят мысли не мои,
теребя седую холку.

4

Декабрит сологубовский. Холод.
В дымке выхлопов кружево шин.

Года нового ярмарка-город.
Ты и вечность. Один на один.

Бытие прожевало личинку.
На пороге уже ничего.

Мир встречает китайскую свинку.
Ну, а ты — ноль себя самого.

5

Когда окочурится утро,
день быстро покатится в ночь.
Сознания сыплется пудра
в провалы беспамятства. Прочь!
Прочь! Всё, что казалось тобою.
Прочь! Каждую строчку твою.

Живи мировой тишиною,
безмолвно застыв на краю.

6

борька
это кто
борька
это что
борька
это где

только
зайчики
в воде

ноябрь — декабрь 2018

Александр ПРОТАСОВ

/ *Киев* /

DUENDE

Как было ясно Федерико Гарсиа Лорке, дуэнде — это не вдохновение, это не Муза, даже не талант. Это то, что живет в крови. И, где-то не соглашаясь со своим другом Дали, он отрицал, что дуэнде — это Ангел, который движет рукой художника. Это страсть. Это полет. Кто-то из персонажей его лекции сказал: у такого-то нет дуэнде, он хороший актер, но у него нет дуэнде. Это неправильный подход. У него сейчас нет дуэнде или у него вообще его нет? Дуэнде — это запечатленный миг, оно может быть в одной единственной песне. За всю жизнь.

Есть понятия, которые не подлежат определению. Что такое Вера? Вера — это Бог. Но Бог — это Бог. Можно сказать, что дуэнде — это дуэнде. Нет, дуэнде — это свобода. Свобода отношений между тобой и твоим Искусством, твоим Творчеством. И поэтому оно должно иметь форму. Кроме того, за дуэнде надо платить. Почти всегда — дорого.

Кисть Хокусая танцует фламенко,
Изображая простую лошадь.
Женщины стирают в реке. На горизонте Фудзи.

ХАЙКУ И ХАЙБУН

Почему эти коротенькие, пяти- или трехстрочные произведения поэзии, скорее всего, очень далекие от оригинала в русском переводе, трогают душу? Скорее всего, потому, что они созвучны самой природе ощущений. Они всегда кратки, как чувство нежности к падающему осеннему листку, восхищения — к лучу солнца сквозь облака, радости — при виде детишек, копошащихся в песке. Да это весь мир! Мозаика мира. Немногим дано рассмотреть в отдельности каждый кусочек смальты. Да это и не нужно всем. Всем — достаточно видеть общую картину. Дай Бог заметить хоть сотую часть этих прекрасных мгновений. Мир разнообразен.

Я не знаю, надо ли прозаическую часть хайбун рассматривать как объяснение поэтического всплеска. Но если такая форма родилась, значит, автор чувствовал в ней потребность. Я думаю, что «Доктор Живаго» — тоже хайбун. Пастернаку понадобился целый роман, чтобы в конце прозвучало:

Свеча горела на столе,
Свеча
Горела.

СООБЩЕСТВА СЛОВ

Я ходил по питерским книжным магазинам и магазинчикам без какой-то особой цели. У меня уже давненько пропал зуд покупателя книг. Книги стали как-то сильно тяжелы и дороги, а пространство, ими занимаемое в моем жилом окружении, превысило некие разумные пропорции. Но отказать себе в удовольствии полистать? Качество полиграфии в нашем мире значительно улучшилось, и переплет стал разнообразен и приятен на ощупь.

В светлой обложке одна пялилась на меня, как только я вошел в магазинчик. Я сразу не понял, что именно пялилось — «Пабло Пикассо», «Стихотворения» или его рисунок — женская головка?

То, что я открыл на первой же странице, не было собственно стихами. Это были геометрические фигуры из слов. Прямоугольники — в большей части.

31 октября 1935 года
в спальне новобрачных помещения с осторожностью на край подоконника между корзиной и овощами бутылкой жавелевой воды и веточкой петрушки рука вызывающая

или

11 октября 1936
повязать на шею как шарф ванну наполненную кипятком повязать на шею как шарф платяной шкаф наполненный грязным бельем

Что думал Пикассо 11 октября за четырнадцать лет до моего рождения не предполагая что один пожилой барселонский босяк украдет у меня кошелек посреди толпы стоящей у музея Пикассо жарким летом в готическом квартале но я был турист и воспринял это как должное я был чужим самым чужим потому что я понимал что чужой можно воровать у чужих это закон африканский индейский а также цыганский а также всемирный может быть только так мы поддержим свой этнос только вот места здесь нет шарфу наполненному кипятком amarillo может amargurado что управляет миром слова числа даются в награду

Как учил Пелевин, хайку писать очень просто, надо только вместо километров ставить ри.

Много дорог я прошел
Тысячи ри
А мир одинаков везде.

ЗЕМЛЯКИ

На каких-то тропках жизни встретил земляка. — А! Земляк! Хорошо иметь земляка. Можно поговорить о той стране, которая уже давно не наша. Не то чтобы не та, но принадлежит уже другим мальчикам. Которые будут её вспоминать и рассказывать внукам, как она была хороша. Бог знает, что мы приобрели и что потеряли. Что еще обретем. Что там сказал Джон Донн? Человек не остров. Земляк — это как веточка знакомого дерева, принесенная волнами океана к твоему берегу. Почему же не остров? Еще как остров!

В море ушел моряк
Думал, к зиме вернется.
Оказалось — на целую жизнь.

СВОИ И ЧУЖИЕ

В одной из своих книг о путешествиях по Ориноко Александр фон Гумбольдт делает кошмарно справедливую заметку. Рассуждая о каннибализме среди индейцев, он приходит к выводу, что в основе его лежит глубокое, почти физиологическое убеждение, что люди другого племени совершенно иные, скорее из разряда тапиров, обезьян, капибар, то есть того, что может быть предметом охоты и потребления. (Кроме того, в этих, казалось бы, богатых кормами краях, был сильнейший дефицит белковой пищи, есть кого-то надо…)

И если мы пытаемся убедить индейцев в неправильности этих жизненных установок, то, замечает Гумбольдт, они ведут себя также как мы, просвещённые европейцы, которым вегетарианец индус, весь в слезах, пытается доказать, что все животные с теплой кровью, как и люди — одной, теплой крови.

Включай телевизор —
На Ориноко ехать не надо.
Как полюбить в этом мире?

2013–2014

Максим КОРЕПАНОВ

/ *Москва* /

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН
Стихотворения в прозе

* * *

Как будто нет никакого вторника, а только густо пахнущие мёдом цветы возле берёз, где солнце нагревает землю и кирпичи старой, много видевшей школы. Нет никакого дня, кроме того, в котором звенят весёлые крики детей, но аттракционы на площади уже как будто устали и замерли в ожидании… Нет ничего-ничего, только запахи книг и старики у подъездов, которые никуда и не за чем не спешат. Нет ни галстука, ни пиджака, никакого постмодернистского сюра. Есть только надёжные люди в мастерской под вывеской «Ремонт бензопил», с которыми можно пить — крепкий алкоголь или чай.

Нет ничего-ничего, лишь уходящее лето: здесь и сейчас.

31 августа 2017 г.

* * *

Сегодня по-особому хороший день. После дождливого лета солнце радует своим нежным теплом. А под ногами тут и там уже похрустывают первые палые листья. Воздух пахнет свежескошенным сеном — недавно всюду последний раз в этом году подстригли газоны. Идти по полуденной, солнечной улице легко и приятно; грудь вместе с приходом осени неведомо от чего полна новой жизнью, новым ожиданием, новой любовью — к искренней красоте мира, становящейся в эти первые, добрые дни сентября особенно отзывчивой ко всякому неравнодушному сердцу.

Я сегодня всё сразу: и монах, и поэт, и немножко бродяга, и художник, и счастливый отец, и просто идущий краем дороги, глазеющий по сторонам — счастливый провинциал на уютной, тенистой стрит.

1 сентября 2017 г.

* * *

В начале лета в часы закатов и рассветов небо над детским садом, где я работал сторожем, наполнялось несмолкаемым шумом десятков снующих и кричащих стрижей. Я любил это время — когда все ещё спят, и в мире нет никакой фальши. Так хорошо, что не хочется произносить ни звука. Стоишь, смотришь себе по сторонам и как будто чего-то ждёшь. Но ничего, вроде бы, тебе и не надо, всё, по-настоящему важное, есть и так.

Когда же листва стала всё больше и больше желтеть, небо потускло. Оно по-прежнему оставалось высоким и голубым, но без щебетанья стрижей всё казалось в нём одиноким: кудрявые силуэты деревьев, столбы с проводами, очертания крыш, медленно и отстранённо летящие неведомо куда белые горы.

«Вот и опять мы одни», — думаю я, и откуда-то из глубины мира молчаливым согласием откликается мне первая осенняя тишина...

2 сентября 2017 г.

* * *

Ранний час. Ещё повсюду безмолвие и серые, рассветные сумерки. Северный ветер окреп. А с ним — неизменное в такую пору невесёлое чувство преходящести бытия, непостоянства его и изменчивости.

Вот и минула ночь — одна из первых холодных ночей этой осени. Что принесёт зародившийся день? Однообразие суеты? Постоянство гармонии? Пустую, одинокую дорогу или — путь, исполненный совершенства?

За утренней чашкой с остывающим чаем приятно думать обо всём этом. После молитвы душа обрела себя. А мир повсюду так тих, несмотря на то, что ветви акаций за окнами гнутся и гнутся в порывах ветра.

Есть ли что полезнее, чем начать день с благой вести? *«Когда же он шёл и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба; он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь; трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи! Что повелишь мне делать? И Господь сказал ему: встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать»* (Деяния, 9:3-6).

3 сентября 2017 г.

* * *

Вот и пришло время, когда мир за окном объял порывистый северный ветер. Меньше вокруг стало уюта, с большей печалью

склонились к земле осенние, догорающие цветы. Поубавилось на улице праздных гуляк и совсем не осталось детей. Мир приутих и приуныл.

А не вчера ли ещё мчался на своём велосипеде по солнечной, песчаной дороге весёлый мальчишка, и свет заливал его безмятежную, юную жизнь, голубые глаза, тронутые солнцем непослушные русые волосы?

Второе сентября того года мальчик почему-то запомнил надолго. Целое утро с папой они катались на велосипедах, проехав несколько километров через весь городок с востока на запад. По пути зашли поставить свечи в крохотную церквушку, встретили старенький, арболитовый домик, где когда-то младенцем жил папа мальчика, залезли на навеки застывшую на постаменте БМП, наверняка в каких-то своих металлических снах помнящую жаркие пески Афгана... Наконец, стояли на ветхом бревенчатом мосту над рекой, кидали в кипящий водопад плотины комья засохшей глины, кричали что-то весело друг другу, пытаясь перекричать бушующий рёв воды. А потом, отдыхая от долгого пути и начинавшего жарить солнца, сидели на приютной веранде их старшего друга Аркадия, заметно постаревшего в то дождливое лето семнадцатого...

4 сентября 2017 г.

* * *

Осень прикасается к нам первыми заморозками, первой простудой, золотистым вином, выпитым с корешами... Пальцы уже замерзают на струнах и не так уверено берут аккорд. Есть во всём этом своё очарование — юность посылает привет потускневшим героям улиц, напоминает: «Время — шалая вещь, и играет оно — против вас».

Не горюй! На самом деле, на душе очень радостно! Светлый, знакомый мотив тешит сердце. Не через чёрные стёкла, а голубыми глазами смотрят друзья на мир. И если они уходят, и их шаги затухают, то только здесь, а вовсе не в Вечности. Там, за чертою земли, всё ещё слышатся их голоса.

Их путеводные голоса.

7 сентября 2017 г.

* * *

Утро начинается не с кофе, утро начинается с дождя. С одиночества, с вдохновения начинается оно. С силуэта раннего прохожего за окном. Что и куда несёт он в своём утреннем сердце? Кто и с чем ждёт его в этот субботний час?

С воспоминания начинается утро, с письма: *«…Помнишь, какими бесконечными казались наши летние знойные дни, когда каждый раз*

с таким нетерпением смотрели мы на циферблат, ожидая спасительной вечерней цифры восемь? Ведь после неё солнце, наконец, милостиво прятало свои раскалённые копья-лучи. Незатейливо танцевали в такой момент в легком порыве ветра невесомые пылинки. Мы ставили на огонь воду и брали любимый «Юньнань». Это вовсе не было чайной церемонией, это был наш маленький ритуал вечернего чая под грушевым деревом. Настаиваясь, чай приобретал цвет янтаря. Прохлада опускалась на город, пели цикады, и их трели наводили на грусть. О чем они пели? О том, что их лето проходит, а с ним — и жизнь?.. Медовый-медовый запах груш и чай делали своё дело — для нас наступал миг нирваны».

Утро начинается с любви.

9 сентября 2017 г.

* * *

Говорят, в Древнем Китае лето и зиму не считали достойными упоминания — жизнь души и живота определялась сменой Весны и Осени. Поэтов вдохновляли летящие в небе клинья гусей, а крестьяне с волнением и надеждой ждали разлива рек.

Сердце по-особому чутко именно в это время. Вот и ты, летом или зимой легко забудешь меня, а сейчас, когда дни желты и ясны, я верю — нет-нет, а память твою опять пронзит:

«Девушки, вы, что прочтёте когда-нибудь эти стихи
И с грустным волненьем подумаете о поэте.
Знайте, что я написал их для девушки точно такой же как вы,
И что все это было напрасно».

(Эрнесто Карденаль)

10 сентября 2017 г.

* * *

У каждого в жизни должен быть родник, исток с вечно живой водой: с высоко взлетевшими над головой деревьями, с гладкими камешками на дне русла, каждый из которых — как будто напоминание о чём-то хорошем, что не однажды случалось в жизни. Откуда и куда текут эти воды, пусть каждый решает для себя сам. Когда лес наполняется осенью, как приятно, бродя по бору, прийти к своему роднику. Стоять здесь, слушая, как по нехитрому навесу мерно стучат капли дождя, как негромко и говорливо переливаются в желобе струи. Слушать, как случайный ветер, пролетая верхушками елей, сбрасывает на мягкую землю шишки, тон-

кие веточки и сухие иглы. «Есть ли на свете Бог?», — приходят в такие минуты в голову мысли, и самому становится смешно от этих глупых, мещанских вопросов.

Легко шагать по лесной дороге вдоль родника — вперёд, к просвету среди деревьев. Рай на душе от святой воды, бессмертие.

11 сентября 2017 г.

* * *

В бархатный сентябрьский вечер выйти из сельской «Пятёрочки» в мягкий свет фонарей. Непринуждённо насвистывая, тихонько чалить к близкому полумраку знакомых уютных дворов советских ещё двухэтажек. Знать, что навстречу почти не попадутся угрюмые и пустые, как в городе, тяжёлые взгляды. Даже лица, тронутые алкоголем, здесь будут не так безнадёжно несчастны, как в каменных, светящихся джунглях. А вместо безвкусных и пошлых, молодящихся «светских львиц» по пути обязательно встретятся прекрасноликие сельские леди с красивыми и тихими голосами.

Просто любить: всю эту ясную и простую, надёжную осеннюю жизнь.

13 сентября 2017 г.

* * *

Найти бы такие слова, которыми говорить о смысле жизни не назидая, но чтобы потомки при этом внимали им и сохраняли в сердце. Увы, остаётся только одиноко бродить меж сосен, дышать их осенней хвоёй, загадывать несбыточное да неумело сочинять стихи. Что потомки? Нам ли, наполнившим свои судьбы ошибками, поучать других? Осенние сосны, росли ведь они здесь когда-то, когда я сам ещё был юнцом — так и будут расти, даже когда и пишущего эти слова не станет. Есть другие, мудрые книги, которые, как и эти деревья, несут свой свет сквозь века. Пусть они и станут путеводными маяками для сыновей. А нам, старикам, пусть уж одно — гулять по осеннему лесу, потягивать с улыбкой лёгонькое винцо, думать о чём-нибудь светлом да тихой любовью благословлять своих повзрослевших детей…

14 сентября 2017 г.

* * *

Пустынное шоссе, ведущее как будто из темноты в темноту. Лишь где-то далече, на холме — зелёный неоновый маяк круглосуточной заправки. Но на самой середине этого участка ночной дороги — свет одинокого фонаря, дрожащий чуть и всё же уве-

ренно вырывающий из мрака некоторые очертания: часть белой кирпичной стены, крестовину окна, неровный край железной крыши, наконец, грубо сколоченный деревянный тамбур и в глубине его, почти в тени — дверь.

Пока мир утопает в безмолвии чёрного пламени ночи, за этой дверью теплится ещё один электрический огонёк. Неяркая лампочка освещает камору: дощатую шконку, видавший виды потёртый стол, немудрёный шкафчик для столового барахла да пару пыльных полок. На клеёнчатой, до дыр вытертой, но чистой скатерти дымится жестянка, и по каморе от неё плывёт ласковый аромат только что заваренного зелёного чая — любимого, как известно, среди дворников, сторожей и кочегаров. Рядом с кружечкой раскрытая книга — «Жития святых».

Тот, кто читает её, знает — с каждой перелистываемой страницей рассвет становится ближе.

15 сентября 2017 г.

* * *

...А потом снова пришло письмо из Франции. Она писала, как хороши в эту пору, в середине сентября, стали горы в Юре: *«Осень опускается медленно. На дальние вершины, опалённые летним зноем, проливаются потоки дождя, и ветер приносит запах высушенного чабреца, зверобоя и тысячелистника. Этот целебный настой можно вдыхать и вдыхать без конца — воздух сам заполняет легкие. Повсюду рубиновые россыпи спелого шиповника и барбариса. Деревья каждую минуту роняют листья, оголяя стволы... А печальней всего наблюдать, как улетают журавли. По небу летят паутинки, и лучи солнца пригревают спину. Задрав голову, ты ищешь клин, что издаёт протяжный, тревожный стон, пробирающий до самых глубин души. И ты смотришь на него, и провожаешь, как самого близкого человека, что отбыл в чужие края, но который вернется. Ведь он обещал?..».*

Там, где через провинциальный Сен-Клод несёт свои чистые воды тихая Вьенна, 10 лет назад они часто уходили с ней вдвоём в эти горы. 10 лет назад... Любила ли она его тогда? Вряд ли. Но и он — о любви ли думал в то время?

На заре времён сюда в Юру бежали от сует и тщеты мира преподобные Роман и Лупикин Юрские. Святая и сильная жажда Бога вела благочестивых пустынножителей. «А какая тоска гонит твоё пустое и скучное сердце? Может быть, эти горы ответят? Может быть, Вьенна?» — спрашивал он себя 10 лет назад.

И ответ ему был.

16 сентября 2017 г.

* * *

Хоть и грустна, а всё же величественна ты, красота заката. Остывая, солнце ещё может вдруг так ярко вспыхнуть из-за наплывающих вечерних облаков, что мир почти тонет, слепнет в этих исполненных радости прощальных лучах! Может быть, к ночи вызвездит, и с запада сильно потянет прохладой. Во всей своей величественности воссияет узнаваемый Орион, и сотни других созвездий прикуют к себе случайный человеческий взор. Но пока даль и близь освещены единственным светом: неповторимым солнцем заката. И душа не спешит, не хочет прощаться с этим священным теплом!

Но длиннее становятся ночи, и тьма их всё глубже. Холодом веет осень. Что ж, лето, прощай!..

17 сентября 2017 г.

* * *

Весной в Туркестане, когда степь занимается разноцветьем тюльпанов, в ней появляются такие места, куда слетаются волшебные пери слушать голос божественного Саади. Но как он поёт о любви, которая всё сжигает, слышит не каждый. Незримые пери окружают душу давно ушедшего шейха и каждый раз вновь и вновь загораются от его песни-поэмы, словно опьяняются чистейшим вином рая. А Саади поёт…

Песня его — о Сияющей Аревик, повелительнице Армении, царствовавшей много веков назад и ставшей после смерти поэта самой яркой звездой в созвездии Ориона, появление которой предсказывал ещё Бируни.

Говорят, там, где поёт Саади, можно найти старинный золотой драм с царственным профилем виновницы его любви. Эти монеты очень дороги и давно стали исключительной нумизматической ценностью. Но вовсе не земным золотом разбогатеет нашедший её.

Если, конечно, услышит, как расцветает весной в Туркестане степь…

20 сентября 2017 г.

* * *

Три года назад я был в командировке в Калуге. Там, в исторической части города, стоит старая водонапорная башня. Человек, бывший в тот вечер нашим гидом, предложил подняться на неё, чтобы посмотреть, какой замечательный вид открывается сверху. Меня же на её вершине привлекла нацарапанная на кирпичах надпись: *«Триста железных ступеней я отсчитал, пока поднимался наверх. И вот, на вершине башни, толкнув ногой подгнившую дверь, увидел перед собой, под ногами, враз помельчавший, серый осенний мир. Хоть и знаком и мил он был, но всё таки скучен. Холодало. И вместо солнца из разрывов в сплошном мареве туч с неба начинал вдруг лететь первый редкий снег.*

И всё же что-то большее было во всём этом минутном разочаровании! Не о вечной тоске, а о вечном покое говорили полыхающие в золоте и багрянце деревья, тянувшиеся по горизонту хвойные чащи, с детства знакомые улицы, многим из которых уже несколько сотен лет.

Вслед за весёлым ветром прыгнул я в этот мир! И ветер меня унёс».

Никто не знает, кто нацарапал эти строки. Не было там и даты. Но, прочитав, я крепко задумался: а только ли город видно перед собой с этой вершины? Только ли крыши и улицы? Может быть, что-то больше? Наверняка.

22 сентября 2017 г.

* * *

Ни ветерка. Как будто по отвесу, совершенно прямо падают на землю капли дождя и увлекают за собой редкие листья подёрнутых жёлтым берёз. Но вот медитативность этих мгновений нарушается дуновением в кронах, и дождь сразу начинает шуметь сильнее, и ещё больше листвы летит вниз. Какие этюды можно было бы писать в такие минуты, владей кропающий эти строки хоть чуточку искусством живописца!

В жизни печален отнюдь не дождь, а то, что не в твоих силах и умении запечатлеть его на холсте. Точно так же в красивой женщине печалит не её недоступность, а невозможность передать в рисунке точность и совершенство прекрасных черт, особенно — её изящных и тонких ладоней.

Что тогда остаётся?! Попивать на рассвете чаёк да поскрипывать пёрышком. Ведь говаривал же старик Чжуан-цзы: *«Там, где люди не в силах изменить что-либо, — там и пребывает естество всех вещей»...*

23 сентября 2017 г.

* * *

Вечные ли мы скитальцы на синих путях судьбы? Сломленные ею герои или взращённые ею счастливцы? Звёзды вдохновения, для нас ли вспыхивают они? Или бесконечные вереницы электрических фонарей ночь напролёт водят нас от бара к бару? И что ищем мы там? Или прячемся от кого?

Там, где я вырос, словом «Бродвей» называлась городская окраина, и парни с нашего района, когда пили по вечерам спирт, вовсе не помышляли о героях Потерянного поколения. Так отчего сегодня, когда многое (и многие) уже позади, вдруг приходит чувство неясной печали?

Я захожу в гости к знакомому, продающему в розлив вино, и заказываю бокал. Потом, когда он ставит блюз, беру ещё два. Здесь

часто собираются мои друзья-пьянчуги, а со стен на нас смотрят нестареющие Хемингуэй, Ремарк, Олдингтон, Дос Пассос и Фицджеральд. Ваше здоровье, солдаты!

В полночь бар закрывается, и я ухожу. Мне грустно.

Но ночь нежна.

24 сентября 2017 г.

* * *

Конечно же, Борхес прав, и в литературе существует всего четыре основных сюжета, а всё остальное есть лишь та или иная их интерпретация — сад ветвящихся тропок. В какой-то мере вечны лишь символы и архетипы, а вовсе не наши иллюзорные индивидуальности, похожие на жёлтую пыль в придорожной канаве смерти.

Может быть, именно поэтому всё, что ты здесь прочитал, на самом деле только много раз повторившийся рассказ-зарисовка — о том, как на террасе провинциального кафе, небрежно опёршись плечом о перила, стоит Поэт и потягивает из стакана бордо. Мимо иногда пролетают машины, а вдали, куда он, прищурившись, смотрит, зацепившись за горизонт, не обжигая, горит золотое солнце.

Весна это или осень, закат это или рассвет ты должен увидеть сам.

27 октября 2017 г.

* * *

Это было старое сельское кладбище, на календаре — среда. После полудня, когда в самом разгаре ещё был рабочий день, я пил за могильным столиком искусственное вино с ароматом клубники. Я не святотатствовал, я писал стихи.

Один, совсем один, но — окружённый множеством людей, приветливо улыбавшихся с фотографий на памятниках. Наверное, такими и знали их родственники — улыбающимися, добрыми, не помнящими зла. Другие смотрели немного устало, но тоже по-доброму. Как, например, мой дед (отец моего отца), у чьей могилы я сидел.

Что-то неуловимое происходило в мире. Бесконечно шумели на шоссе машины, а здесь было так тихо, что казалось, я слышу, как растут деревья. Ещё цвели золотые шары, и пестрели в траве неувядающие пластмассовые венки…

Я вспомнил, как в первые дни сентября мы весело катались с сыном на велосипедах по нашему городку. Сегодня, когда я заберу его из детского сада, и на любимую нашу провинцию опустится тихий вечер, мы пойдём с ним, держась за руки, по знакомым улицам и будем неспешно говорить о самом разном, обо всём, что вложит в тот момент в наши сердца Бог. Потому что, хоть и закончился бархатный нежный сезон, но жизнь — всё равно продолжается.

Правда, ведь, дед?

29 сентября 2017 г.

Тамара ВЕТРОВА

/ *Париж* /

ПРИВЁЛ ЧЁРТА

Вася Ягудин был добряк и маловер. Тем удивительнее, что мохнатый потащился за ним, как верный пес. Как привязанный.

Не зная, что делать с непрошеным соседом, Вася вначале вертелся во все стороны; на лице его сидела жалостливая улыбка. Но к концу дня попривык к сопению за спиной. Вот только думал: не услышали бы посторонние люди. Независимые эксперты, так сказать...

Однако, хотя Вася, как сказано, только и знал, что вертеться, никого он толком не разглядел. Да и не имел подобной задачи — вычислить пришельца. К чему? Даже полному недоумку понятно, что, если уж чего видишь, то оно и есть. Ну а нет так нет, как говорится...

Таким образом Ягудин провел целую неделю, будучи погружен в двусмысленность, как в Ельницкий пруд посередине лета. Теплая вода и мокрые травы по талию, так сказать... Собственно говоря, так можно было жить и жить, ведь мохнатый не совался ближе, чем дозволяли приличия; держал дистанцию. Вася Ягудин ухмылялся, но все-таки чувствовал неуверенность в завтрашнем дне. Понимал: сколько веревочке ни виться... При этом надо учесть, что человек в сущности остался один на один со своей проблемой. Марина, дочь, крутится, как белка в колесе, а зять Жан-Батист отделен от Васи языковым барьером плюс ментальностью. Вася бурчал, не совсем, быть может, к месту: брюки-то каковы? Что называется, телесного цвета, так что издали и не разглядишь, в брюках ли человек, либо щеголяет голыми и тонкими, как у балерины, ногами. Зато шарфик на месте. В сортир, надо полагать, и то выходит в шарфике...

В таком смутном кружении мыслей пролетела неделя, а то и две. Вася успел попривыкнуть к новым жизненным обстоятельствам. Да и заметил ли перемены? Но нет, все-таки заметил: в Ельницком жизнь была устроена иначе, хотя тоже имелись изъяны. Последние пятнадцать лет поселок помирал, однако никак не мог помереть окончательно. Стоял наподобие бастиона, как бывало...

— Это как бывало? — пытал, помнится, бывший сосед Снегирев.

А Вася отвечал (не без провокационной ноты):

— Как на реке Калке, как же больше.

Глупые разговоры с соседом, скорее походившие на перебранку, остались, вместе с Ельницким, под крылом самолета. Захламленная двухкомнатная квартира с видом на разбитую прямоезжую дороженьку осталась там же. Но ни о том ни о другом жалеть не приходилось. После смерти жены квартира стремительно пришла в полную негодность, даже унитаз работал, можно сказать, на ручной тяге; и хотя Васе было вполне по силам починить технику, — он к строптивому механизму не притронулся. Лишь глядел, усмехаясь, на взбунтовавшийся агрегат, словно бросая скрытый вызов силам природы. Долго так продолжаться не могло, и Марина вывезла его из Ельницкого с вещами: чемодан плюс рюкзак, которым Вася дорожил.

На новом месте Ягудин две недели молчал и, прищурившись, смотрел в окно. Там на зеленой, залитой осенним солнцем траве играли маленькие дети, двое из которых были босы. «Вот тебе и хваленая забота о людях. Не ребята, а зверята, ей-богу. Ладно бы еще в Ельницком, но тут». Вася Ягудин, сморщившись, думал, что среди очагов культуры босоногие дети не уместны. Между тем время шло. Рваные облака летели над лужайкой, птицы и дети галдели не умолкая; делать Васе особо было нечего, Маринка раз в неделю закупалась едой и пробегала пылесосом по крохотной комнатке. Жена Ираида то же сделала бы тряпкой, и почище, кстати говоря; но Ираида осталась на родине, под березой на Ельницком кладбище. Не вызывать же!

От тенистого кладбища мысли Васи Ягудина незаметно и лениво заскользили вспять, и царила в этих мыслях осень, неподвижный желтоватый пруд, заросший у берегов осокой и камышами. И какой же это, товарищи, был год? а был это год Никитиного правления; тот еще командир, между нами говоря... Вася тогда был мал, и был только записан в школу на другом берегу пруда. Через пруд его ежедневно перевозил на собственной лодке дядя Петя Шиварев. И всякий раз снабжал наставлениями, которые мало пригодились в жизни. Исключая, пожалуй, лишь одно, с виду самое бестолковое. Дядя Петя Шиварев объяснял Васе, что при виде черта следует прежде глядеть не на рожу, а на ноги, чтобы распознать копыта. Вася, будучи малолетним пацаном, знал, что, помимо копыт, у черта имеются и рога, но помалкивал, вопросов не задавал.

— Моя тетка видала дважды, — сказал дядя Петя, деликатно избегая слова «черт». — Про второй раз не скажу, не имею сведений, а впервые в 36 году. Дело было зимой, мороз тридцать градусов. А она девка, что возьмешь. Парни из артели наведались, но она с подружкой на ноги ихние не поглядела. Лица гладкие, а на ноги не поглядела.

Вася ни тогда ни теперь черта не боялся. Копыта не наводили на него страх. У лошади в конце концов тоже копыта. У лошади, у козы, у коровы. Однако это полезные животные, без намека на угрозу душе. Но и в наличие души Вася не верил. Вернее, допускал такую возможность, но полной веры не имел. Сказок в Ельницком наслушался предостаточно — про русалок, про банника, про мертвого гостя. И вот, по правде говоря, мертвые пришельцы его пугали куда сильнее, чем мохнатый бездельник. В мертвых таилась какая-то недоступная сила, и Вася нипочем не решился бы заглянуть в светлые глаза покойника. Черт же не казался опасным и больше походил на дурного соседа Снегирева — не брит, не мыт, и отдает не то перегаром, не то ароматом покрепче. Короче — свой, хотя и малоприятный друг-сосед. Черт и черт, что он может своими копытами? сердце вырвет?

Но в новой обстановке черт не понравился Васе. Показался еще более неуместным, чем детишки с босыми пятками. Вдобавок он отбрасывал тень, и Вася то и дело чувствовал, будто его накрыли темным покрывалом. То же почудилось и дочке. Приглядевшись к отцу, сказала:

— Может, тебе крем на щеки наложить? Потемнел, как зола.

Вася промолчал, но про себя хмыкнул. Крем от черта, слыхали?

Постепенно Ягудин в новом месте обжился. Назывался гордок Сан-Кантан, от окна Васи бежал вдаль пустынный зеленый бульвар; левее лежала каменная площадь, окруженная магазинами, но тоже довольно безлюдная. Город как город, не хуже других, немного похож на Кушву; и вот в конце концов Вася начал выходить из дома — не то чтобы по делу, а просто чтобы не засиживаться. Засидишься — корни пустишь, как говорится. А покуда ты человек, а не покойник, корни пускать рано, не тот статус...

Короче говоря, хотя и не без робости, Вася начал совершать небольшие вылазки в городок. Одна такая прогулка вышла для него боком. А дело, надо сказать, было осенью — настолько светлой, прозрачной и золотой, что у Ягудина в душе зашевелились необъяснимые подозрения: не последняя ли эта чудо-осень? уж больно хороша. Впрочем, впавший в меланхолию Вася тут же себя и одернул: безбедно живу, вот и лезет в голову всякая муть. Небось, когда перебирал гнилую картошку на работе в совхозе, такой дури не бывало...

Что же случилось светлым осенним днем в городке Сан-Кантан? Просто-напросто Вася заблудился, увел его зеленый бульвар прочь от дома, будто тропинка бабы-яги. Само по себе событие, быть может, не столь удивительное, все-таки переехал Ягудин на новое место жительства недавно, так что мог и заплутать, что ж. Удивительно другое: за долгую прогулку ни одной живой души не повстречал. Магазины видел, жилые дома — белые, трех-и четырех-этажные, напоминающие планировкой дом отдыха южного типа, ездили они, помнится, с женой в Геленджик в шестьдесят каком-то году, было дело...

Продолжая путь по бульвару, Вася думал так: заплутаю — не беда. Город не лес, даже во Франции. Как-нибудь определю дорогу. Тут Ягудин принялся перебирать в памяти французские слова, но вспомнил только выражение из наушников, которыми его пичкала дочка, чтобы помочь освоиться с незвестным языком: c'est un crayon (Вася заучил таинственное выражение как одно слово: сетанкраен). Скажу в крайнем случае, может, и поймут. Ну а нет так нет, одернул себя Вася с раздражением. Он уселся на скамейку под деревом с огромными, как тарелка, листьями. Дуб поди — подумал опять-таки с раздражением. От широких дырявых листьев по лицу пробегали мимолетные тени. Ягудин выставил вперед ноги и принялся вспоминать своих покойников. Причем вот дела: покуда те были живы, он о них и думать не думал. Но теперь могила словно повысила статус жены, двоюродной сестрицы, ее покойника-мужа, сверзнувшегося в городскую канализацию и утопшего там среди нечистот в расцвете, как говорится, лет... Много кого вспомнил, перебирая покойников, как забытые открытки. Но вот на лицо Васи пала густая тень, будто кто-то раскинул над ним покрывало. Неохотно поднял Василий голову и увидел мохнатого спутника. Тот стоял, перегораживая осеннее солнце — руки, ноги, коричневый потертый жакет видны ясно, а лицо будто присыпано золой, не разглядишь. Ну а ноги-то, ноги? На ногах надеты фетровые не то сапоги, не то тапочки. Однако поношенные, в таких из дому стыдно выходить... Не зная, что предпринять, Вася заерзал на скамейке. Да и тот, второй, принялся топтаться. Бомж? у них ведь бомж что-то вроде профессии, говорила Маринка. Их социалы подкармливают, так дочь объясняла. В том плане, что нечего совать бездельникам монеты.

Однако последняя версия не нашла подтверждения. Нет, не бомж в фетровых валенках топтался перед Василием. Не прошло и минуты, как это выяснилось. Пришелец заговорил как будто знакомым голосом — соседа ли? или их почтового сотрудника Пашки Куравлева? Был у них такой деятель, одно название, что почтовый служащий... Заговорить-то заговорил, однако не понять, по-русски ли. То есть будто и проступают знакомые слова, но не до конца узнаваемые... Всплывают на поверхность, как бытовой мусор в Ельницком пруду по весне.

Вася Ягудин напряженно вслушался. Мутная речь текла плавно, но иногда и буксовала. Вот Вася с трудом разобрал:

— Баню крыть надо.

Ну, надо... Кто, как говорится, спорит?

Затем собеседник сказал, что Вася позабыл ведро на заднем дворе, а потом будет тыкаться, а ведра нет. Вася молча выслушал и это замечание. Огромный, будто вырезанный из желтой бумаги лист упал к Васиным ногам. Ему подумалось, что Маринка сегодня вряд ли придет, не ее день. А никто другой к нему, понятное де-

ло, дороги не знал. Внуков вон дочь не нарожала (Что от мужа ейного родишь, в сердцах задавался Василий пустым вопросом. Плюшевого зайку?).

Эти мысли реяли в голове медленно и случайно, наподобие одиноких желтых листьев. Случайно-то случайно — но одновременно Вася Ягудин сам себя постепенно убедил, что торопиться ему особенно некуда. Так что пусть мохнатый чудик выделывается (так определил Василий уловки собеседника); пусть поговорит, а хочет — и песню споет. Ну а мы послушаем.

...Несмотря на яркое осеннее солнце, мохнатый продолжал словно бы оставаться в тени. Этот удивительный факт не ускользнул от Васиного глаза. В результате Вася погрузился в подолжительное и угрюмое раздумье. Мохнатый же пощелкал пальцами, словно упражняясь для неизвестных новых подвигов, покашлял и утер лицо коричневой лапой.

— Какой-то хрен в крыльцо гвоздь забил, черт ногу сломит, — двигая губами не в склад и не в лад, рассказал он.

И хотя Вася знал, что в Ельницком у него не было дома, а имелась квартира, он все-таки принимал глупую болтовню близко к сердцу. Вздыхая, поднялся со скамейки и двинулся вниз по бульвару. Народу нет, спальный район, говорила дочка. Ну — нет и нет; вон теперь двое: он, да этот мохнатый деятель — чем не народ?

... Постепенно Вася начал примечать детали. Спутник, который знай себе тащился следом, зябко ежился, словно осеннее солнце мало грело. Тебе, видать, сковородку подавай, усмехался Василий. Но и сам не заметил как, но попривык к соглядатаю. Теперь тот уж шел не следом, а плелся рядом, бросая на Васю мимолетные взоры. Из тени на Ягудина глядели небольшие круглые глаза — типа щенка, которого как-то подобрал Василий. Кормился дурень на помойке и глядел точь-в-точь как вон этот... Возьми, мол, не отринь... На шее спутника болтался полосатый шарф, отчего-то мокрый с одного конца. Словом — загадки.

— Да и Ираида велела, — гудел мохнатый. — Она ведь поизносилась, прикинь, — шаль в таких вот дырках, а без мужика что ж. Собака сдохла, молча тосковала, выть боялась, очень уж сосед дурной... Так молча и сдохла.

Вася Ягудин задрожал. Стало отчаянно жаль покинутую псину, да и Ираиду в рваной шали... Все-таки он собрался с силами и сквозь зубы проговорил:

— Свистишь как дышишь.

Мохнатый не стал спорить, лишь глухо рыгнул.

Наступил вечер, и на бульваре поубавилось света. Окутанный вечерними сумерками и тишиной, Вася Ягудин молча плелся за спутником, словно прилип или был привязан к тому веревочкой. Скоро на краю неба показалась белая луна, и Вася стал подумывать о возвращении.

— Навестил бы своих, — ныл непрошенный собеседник. — Тут рядом, рукой подать, в двух шагах, одна нога здесь, другая здесь, — путался мохнатый врун.

Васе вдруг припомнилось, как мать говорила: козьи ноги поперек дороги. Он потер утомленную голову и спросил сам себя: в чем смысл? Мохнатый откликнулся малопонятной, а то и неразборчивой речью. Дважды останавливались, чтобы покурить (у мохнатого имелась «прима», которую когда-то курил Вася Ягудин). Приняв мятую сигарету в третий раз, а затем приникнув к огоньку, Вася отогрелся изнутри и расслабился. Может, и впрямь навестить своих? И потом: хорош ли, плох мохнатый — но все-таки не чужой. А к утру вернусь домой, долго ли. Стоп машина, вдруг одернул себя одурманенный Василий. Вот как он меня обошел. Между новым домом и прежним расстояние наверное в три тысячи километров. Как же обернуться за ночь? Но мохнатый буркнул, что знает короткую дорогу. В конце квартала идут строительные работы, там проложены алюминиевые трубы диаметром не менее метра, а алюминий обладает о-го-го какими качествами! Какими же? А такими. Слева войдешь, справа выйдешь, но уже будучи перемещенным лицом. Вася скептически усмехнулся. Он мало верил в новые технологии, да вдобавок мохнатый не производил впечатление специалиста по новым технологиям. И вот — скорее ради того, чтобы убедиться в недобросоветсности спутника — Вася Ягудин поплелся в указанном направлении. Освещенная сторительная территория была огорожена натянутой лентой, но Вася поднырнул под нее следом за мохнатым. Тут же лежала просторная металлическая труба. Навестишь своих, ныл спутник, поглядишь, как двор крапивой зарос, одуванчиками, черным пером. Что за черное перо такое, удивился Вася. Он понял, что мохнатый окончательно заврался, но все-таки заглянул в трубу. Посмеиваясь и нервно зевнув, сунулся внутрь. В науке теперь такие отрасли открываются, ресурсы... Тот же коллайдер, да мало ли. Чуму вон тоже раньше не могли победить...

— Bonsoir, Monsieur. Sortez de là, s'il vous plaît!

— А? — не понял Вася Ягудин.

Пятясь ногами вперед, встал на ноги и с тревожным чувством обдумывал ответ.

Наконец, сказал, страшно смутившись:

— Сетанкраен.

— Monsieur, venez par là, s'il vous plaît.

Вася понял, хотя пока еще и не знал чужого языка, что полицейский указывает ему на выход.

Мохнатого рядом не было, наплел с три короба и сгинул, когда еще покажется.

— Когда еще покажется, вот тоже вопрос, — думал Вася, покидая залитую луной строительную площадку.

Михаил РАХУНОВ

/ Чикаго /

* * *

Дождь стучит — бьет наотмашь костяшками пальцев в окно.
Это — осень и ночь, это дождь, спотыкаясь, уходит.
Наступает зима; будто титры в старинном кино,
Крупный падает снег на кусты перезрелых смородин.

Никого за окном; только снег, только свет фонарей;
И дома, как мираж, растворяются медленно в белом;
Так похожий на зонтик, рассвет лег у самых дверей,
Разбросав серебро, словно капли дождя, между делом.

МГНОВЕНИЕ

И хочется, и колется,
Мгновение лови.
По небу мчится конница
Свободы и любви.

Напористые белые
Густые облака
Нас озаряют верою
На годы, на века.

И нет уже пристанища
Для мелких праздных дел,
Когда так вызывающе
Над солнцем конь взлетел!

Отвага, озарение,
Безудержный полет.
Всего одно мгновение,
Но за душу берет!

АМСТЕРДАМ

Люди, улицы, дома,
Корабли под парусами,
Здесь давно, мы знаем сами,
Спит история сама.

Самость скошенных церквей,
Самость палевых каналов,
Говорят, быть может, малость,
Но, что может быть ясней.

Ах, не так уж жизнь сложна,
Как нам, ветреным, хотелось…
Не нужны ни смерть, ни смелость
чтоб познать ее до дна.

И все ищем мы не там,
И живем, — и крыть нам нечем,
Если бросит нам на плечи,
Влажный вечер Амстердам.

УТРО

Воскресным утром все сны так сладки,
И тени редки,
И солнца лучик разгладил складки
У табуретки.

Лежишь в постели, укутан снами,
В потоках лени,
В цветные игры играет с нами
Восход весенний.

День осторожно, как тот волшебник,
Простер ладони,
И ты взлетаешь без возражений,
И в солнце тонешь.

Лев АКСЕЛЬРОД

/ Санкт-Петербург /

ПРЕЛЮДИИ[1]

Ответ

Полудрему пришедших сдавать кровь нарушал один осанистый, но плохо уже соображавший старик. Он о чем-то спрашивал окружающих, как-то нелогично, порой заново пытаясь узнать то, что уже узнавал, иногда и недовольствуя. Потом он попросил какую-то женщину, чтоб она открыла ему бутылку с водой, но ей тоже на это не хватило сил, и, как самому молодому, это препоручили мне.

Я подошел к старику, взял у него бутылку. Крышка почти сразу повернулась, и струя рванулась в серьезное лицо пожилого посетителя поликлиники. Точно это счастье плеснуло, он детски съежился под брызгами, пытаясь отбиться от них и сияя при этом. Засияли и все присутствовавшие. «Кровь пойдет хорошо» — сказал я, а вопросы старика на этом закончились.

«Сереженька»

На Невском проспекте, у Гостиного двора, часто кричала старуха, на всех прохожих — то матом, то грозилась расстрелять всех из «Катюши» — наверно, сошла с ума еще во время войны. Но однажды, зимой, я увидел ее в подземном переходе — там же, на углу Садовой и Невского. Я шел в сером пальто и черной кожаной кепке. Она посмотрела на меня и сказала: «Сереженька мой» — что-то вспомнила.

Весной того же года я снова ее встретил — был какой-то праздник (Пасха?), и на Малой Садовой продавали в связи с этим еду. Увидел ее у киоска, в котором покупал себе гамбургер. На

[1] Начало «Крещатик» №4 за 2010 г., №4 за 2011 г., №1 за 2016 г.

этот раз я не был в сером пальто и не вызвал тех воспоминаний. Но меня удивило, что она адекватно, спокойно советовала, где лучше сесть и поесть.

Теперь ее нет на Невском. Может быть, и на Земле ее больше нет.

Борис Ванталов

Снился долгий сон: несколько человек, включая моих мать и отца, каких-то друзей-литераторов и других интеллигентов, беседуем ночью на берегу озера. Лето. Вода не холодная. Мне говорят, что мои стихи читает масса людей в оркестре. Зная, что они мало кого там интересуют, я этому удивляюсь. Потом начинаю говорить про стихи отца. Звучит фраза, такая примерно: «стихи выстраданные, ажурно-безупречные». Мать негромко плачет. Отец начинает читать их сам. Вдруг загорается рукав его халата, непонятно, от чего. Вначале самый край, потом все больше материи в огне. Я лью на отца воду. Кричу, чтоб он шел в озеро, там пламя должно погаснуть. Он заходит туда, но когда возвращается на берег, видно, что по халату все еще бродит огонь. Я воскликнул на далеком наречии: «Твоя звезда пришла за тобой!» Отец молча соглашается и исчезает. Не видно ни загоревшегося халата, ни его.

В диалоге с городом

Когда мне было шестнадцать (около двух десятков лет назад), у меня был приятель. Одним вечером он повел меня к дому нашей однокурсницы. Хорошо помню момент, как на каком-то концерте она сказала, что хочет есть, и я предложил ей свою печень.

...Было уже очень поздно, когда мы пришли к подъезду и лестнице. Посмотрели на взлет ступеней и пошли обратно. Даже если бы оказались там в часов в семь-восемь, мы не стали бы звонить в дверь.

Недавно я снова побывал у того дома — такова сила духовных связей, открытых в юности. До этого я думал, что он выходит окнами на Неву и недалеко от Стрелки Васильевского острова — и приходил туда, где она никогда не жила. Так закрутила жизнь, что стерла из памяти мотив, важнее которого нет. И вот почти случайно я узнал, что окна дома смотрят на реку Смоленку — то есть, вид совершенно не торжественный, и рядом кладбище. По-моему, ее родители живут до сих пор там, на 17-й линии — при том, что наверняка была возможность переехать. Она поселилась теперь у какой-то далекой от центра станции метро, но, скорее всего, часто бывает у них. Рядом — церковь, мастерские по изготовлению памятников. Интересно, что ее образ теперь связывается не с парад-

ным Петербургом, а с тихой церковью и кладбищем у реки Смоленки, которую называли когда-то «Черной речкой» — так же, как речку у дома, где прошла моя юность.

Фатум

Сижу вот, смотрю на портрет Л.Н.Толстого, нарисованный моей женой. У старика глаза шестнадцатилетнего мальчишки, прожигают. Сколько он ни глушил в себе романтика, а романтик победил. Князь Андрей оказался сильнее Пьера Безухова, и Толстой ушел из Ясной Поляны.

...Я даже сейчас думаю, можешь и глушить, все равно — победит.

Дельвиг. Последнее стихотворение

Он последовательно, может быть, не без иронии по поводу размеренности своей жизни — рассказал о распорядке своего дня, разве в первой строчке косвенно посетовал на усталость...

Рисовал свой образ в чертах светлых до наивности — и жизнь-то мила, и друзей-то любит, и с музой-то пишет с утра до вечера — и другое совсем прорвалось в финальных четырех строках, оно жило и зрело в нем с первых лет, с лицейской скамьи, притягивая к нему Пушкина, интересуя и настораживая современников. Оно говорило с ними, привлекало даже за маской флегматика-ленивца, чтобы похожим на простые и трагические песни испанских цыган, на cante jondo[1], криком сигирийи прорéзать темноту последних его ночей.

* * *

Смерть, души успокоенье!
Наяву или во сне
С милой жизнью разлученье
Объявить слетишь ко мне?
Днем ли, ночью ли задуешь
Бренный пламенник ты мой
И в обмен его даруешь
Мне твой светоч неземной?

Утром вечного союза
Ты со мной не заключай!
По утрам со мною муза,
С ней пишу я — не мешай!
И к обеду не зову я:
Что пугать друзей моих;
Их люблю, как есть люблю я
Иль как свой счастливый стих.

[1] «Глубинное пение» (*исп.*)

Вечер тоже отдан мною
Музам, Вакху и друзьям;
Но ночною тишиною
Съединиться можно нам:
На одре один в молчаньи
О любви тоскую я,
И в напрасном ожиданьи
Протекает ночь моя.

1830 или 1831

Сквозь венецианское стекло

Это, наверно, звезды причудливо преломили свой свет, рассыпавшись тысячами масок, одна из-за другой выплывающих среди узких улочек и набережных. Над всеми — горбоносыми старцами, роковыми красавицами, суровыми аббатами и августейшими особами — какой-то каждому слышный и для каждого бесценный, тихий смех — мол, ребята, это все ерунда и ненадолго.

* * *

Преклонных лет немка чуть ли не каждый вечер приходила к Мариенплатц слушать наше уличное трио. Вернее сказать, приезжала из дома престарелых. Садилась рядом на раскладной стульчик. Хоть я смотрел и в ноты, чувствовал, что ее отпускает. Она с нами ни о чем не говорила.

Не знаю, был ли у меня когда-либо лучший дирижер. Думаю, ее молчаливое обращение было не к нам, не к игрокам. Она молила саму музыку переправить ее на другой берег, и мы видели, как она уплывает туда.

Генрикас РАДАУСКАС
(Henrikas Radauskas)

/ 1910–1970 /

Стихи разных лет

ЗИМНЯЯ ПЕСНЯ

От завьюженных роз, заблудившихся птах,
От нехоженых склонов в зыбучих снегах
Затворилась зима на незримых высотах,
В ускользающих, млеющих, нежных тонах.
Стих родится — как ветер — до всякой причины,
И, тревожно звеня, по сугробам промчит,
Но снега не пробить новой песни зачину,
И вернется — как ветер — в свой дом, замолчит.

БЕЛЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

Скрип белых мельниц — время мелют,
И время сыплется в горах.
Декабрь. Чьи пальцы занемели
Церковных башен на крылах
И им взлететь не удается
Да и меня он не пускает
И кто до края доберется,
Где фавн на травке засыпает,
И месяц на рожке играет...

СКАЗКА

Сквозь паровозный дым, сквозь проводов гуденье,
Сквозь из железа дверь, томима взаперти,
Сквозь желтого огня безумное свеченье
Сквозь жаркую слезу, упавшую почти,

Сквозь журавлиный клин, на север лёт стремящий,
Сквозь кладовые гномов-силачей
Взмывает Сказка бабочкой искрящей
В тропическом дожде цветных лучей.
Шагами по семь миль здесь путь нарезан,
Сиротку злые волки берегут,
И братьев Эгле косами зарезан
Муж-уж ее на пенном берегу
Паук на небеса ползет по былке,
Вещает камень, дерево ж — молчок.
И ищет счастья, на слепой кобылке
Всю землю обскакавший дурачок
Смеется мир, свои раскинув сети
На тропках и тропинках второпях.
Как соловью, внимаю сказке этой,
Не верю миру — Сказке верю я.

ЭЛЕГИЯ

На землях я стою огромных,
Как капля, круглых, я один.
Луны и солнца неуемный
я слышу смех, а из долин
Холодных ветер вдруг достанет
Волос моих — и не понять:
Вдруг сердце биться престанет,
Вдруг — раньше, чем смогу сыскать
Я ангела того, который
Чуть слышно, тихо мне поет,
И черта-козлонога, в гору
И под гору чей след ведет.

ЗАЦВЕТАЕТ КАШТАН

К чертям высокое искусство,
И запрещается грустить:
Весной каштан приходит в чувство —
Берется за окном цвести
Велит — и льется дождь горячий,
И ветер с юга дуть готов,
Он так цветет, чтоб изливались
Сердца рекой из-под мостов
Чтоб книги со столов слетали,
Чтоб впасть в истому вечерам,
И чтоб болезни бушевали

Из неизвестных докторам
Чтоб пенилось все и горело,
Чтоб птицы свистом изошли,
Чтоб мать глаза все проглядела,
А дочери чтоб не пришли.
А на деревьях тихо свечи
Горят — в румяных точках цвет.
Домой слепым вернулся.
Вечер. Чернила брызжут в белый свет

ДОЖДЬ

Дождь на ногах стеклянных, тонких
Кружит по саду, не слабея.
Орешник рукоплещет звонко,
Трепещет радостно аллея.
Над лесом старая береза
В прорехах зонт зеленый высит
Желтоголовник в дерзкой позе
Мир золотом пленить замыслил
Изливы желтых молний реют,
Все ближе гром, все шире дрожь,
По всей земле кружит, смелея,
Тот на ногах стеклянных дождь

ВЕЧЕР

Вечерами так бывает:
Все сидеть бы и смотреть,
Как нас солнце покидает,
И в луче его блестеть.
И смотреть, как речка иву
Отражает и луга,
Вечер землю обнимает,
И тепла его рука.
Слышать свист над головою
Птиц неведомых в саду,
Дерева бредут гурьбою
В ночь, бормочут на ходу
Так сидел бы и смотрел бы,
Мысли все-превсе забыв
Ничего бы не хотел бы
Даже смерти.

СОН В ЛЕТНЮЮ НОЧЬ

Вечерами, в предсонные миги,
Когда лампа еще горит,
Но уже засыпают книги
И лягушка из дерева спит,
У соседа внизу, на камине,
— Старомодных часов дин дин дон, —
Слышу запах цветущего тмина,
И все ближе и слаще все он.
Вижу я — отдыхающий косарь:
Голубые глаза в зеленях,
Шелестит летний ветер в прокосе,
На соломенной шляпы краях.
Вижу я, сквозь туманы будто,
Машет хрупкая мне рука
Леску мечущего как будто,
Год, как умершего, пастушка
Искупаться меня зазывает,
Тонкий голос летит ко мне,
Солнца умерших свет играет
На его лице в моем сне.

. . . . . .

Цветок назначил ветру свиданье в ранний час,
А ветру показалось, что он сказал «Сейчас!»
Шепнул на ушко брату, а братец-дуралей, —
Другому, помоложе, глупей и веселей,
Согнал тот тучи в небе, чтоб дождиком полить,
Раздуло солнце печку, чтоб горячей светить,
Смешалось все в деревне, и только и слыхать:
«Какого цвета радость готовимся встречать?!»
Беды не дожидаясь, решил расцвесть цветок
И лопнул влажной почки зеленый ободок.
Бутон раскрылся белый, а ветер — ну, качать!
И «Белый! Белый! Белый!» без устали кричать.

ГРАФСТВО ЮНИПЕР

Пасутся яблони в тумане.
Ручьев учтивый толк журчит,
И, как в зачитанном романе,
На розе бабочка сидит.
А можжевельник джин растит.
И этот джин цедят матросы,

Пока на борт петух их не вернет,
А не матросы, так каменотесы
Которых церковь-новостройка ждет.
Пасутся овцы, храм в тумане,
Волнуются ячмень и рожь,
И, как в зачитанном романе,
Близ розы — бабочек галдеж,
А можжевельник джин растит,
Ручьев учтивый толк журчит

НАЧАЛЬНИК СТАНЦИИ

В пустыню перрона
Под солнцем фонарным отвесным
В фуражке червонной
Выходит на встречу экспресса.

Он давится ночью и снегом,
Экспресс ненасытный,
Теснимы ревущим пробегом
Вокзалы звенят беззащитно.

Стоит на перроне, бессильный,
Бессонный, усталый,
И смотрит на рельсы,
Блестящие ленты металла

Полуночный дребезг:
Железо о сталь ударяет.
Под месяцем в небе
Кривое созвездье свисает

С пустого перрона
На искры глядит без опаски
Из желтого круга персона
В червонной фуражке.

СТРЕЛА В НЕБЕСАХ

Я — как стрела, которую ребенок
В цвет белых яблонь на зеленом взморье,
Нетвердою рукою запустил,
И облако цветов, как будто лебедь

Мерцающий, на волны опустилось,
Глядит ребенок и не может пены
От цвета отличить

Я — как стрела, которую охотник,
Силен и молод, запустил в орла,
Но в птицу не попал,
И ранил солнце, старое, большое,
И целый вечер кровью истекал
И умер день.

Я — как стрела, которую безумный
Солдат врагом охваченной твердыни
К могучим высям ночью запустил
О помощи просить, но, Бога не найдя,
Стрела блуждает меж созвездий хладных,
Вернуться не решаясь.

ФОНТАН

На урну в парке, на бетон ложится
Лист желтый тихо. Осень велика.
Сквозь горло льва фонтанного струится
Посеребренных ручейков река.

Листами желтыми так крупно плачут липы
Вороны каркают вдвоем, бог весть, зачем,
А львиным горлом все идет вода,
Клен золотой дрожит в ней, как звезда.

Перевод с литовского — В. Просцевичус

Вероника ИСАЕВА

/ *Санкт-Петербург* /

МАКИ

Она шла по трассе, вдыхая шипучий, бензиновый запах свежезакатанного асфальта и выдыхала свой собственный — жухлый, чуть кисловатый запах женщины, стремительно летящей в старость. Шоссе делило надвое поле с чем-то поздно засеянным и не вовремя взошедшим. Солнце сыто заваливалось за кудлатый загривок леса, на прощание поливая все вокруг по полуденному жгучими лучами.

В одной руке женщина сжимала ручки холщовой сумки, набитой банками консервов, дешевой колбасой, пачками маргарина и прочей дефицитной в ее деревне бакалеей, а в другой — неловко держала непривычно легкую ношу — пластиковый тазик, расписанный нежными маками по зеленому фону.

Задники ее косолапых мужских сандалий больно били по пяткам, нейлоновая блузка мокро елозила по вспотевшей спине, а в шиньоне из чужих, слишком темных волос, суетились мошки.

Женщина шла, едва заметно встряхивая головой, будто бы отгоняя распаренную, плотную тишину. Когда показался знакомый перекресток, на смену солнцу с обочины начала выползать вечерняя сырость. Миновав прореженную лесорубами рощицу, женщина вышла на окраину села.

Тишина перемешивалась со слабым запахом навоза, забродившей и подсыхающей на солнце падалицы, домашнего варенья и притоптанной травы.

На середине дороги асфальт резко оборвался, и женщина зашагала по мелким каменным осколкам, припорошенным меловой пылью. Почти у самого леса, она свернула в неприметный закоулок, неуклюже перепрыгнула забитый гнильем ручей и подошла к калитке своего дома. Из-под забора вынырнула хитрая морда лохматой рыжей собаки. Псина попыталась было протиснуться под забор полностью, но застряла, заскулила и, жалобно подняв белесые брови, смотрела на свою хозяйку. «Куда ж ты прешь, дура!», — женщина ласково дернула собаку за ухо и запихнула ее обратно во двор.

В окнах горел свет, дверь была приоткрыта, и из проема безуспешно рвалась наружу заштопанная тюлевая занавеска. Сбросив тяжелые сандалии, женщина с наслаждением ступила на теплые деревянные сту-

пени высокого крыльца и зашла на застекленную кухню-веранду. Из комнаты доносились звуки какой-то телевизионной игры: шелестящие аплодисменты, возгласы ведущего и неопределенная плоская музыка.

— Борщ грел? — крикнула женщина навстречу звукам телевизора. Не дождавшись ответа, она разожгла огонь в газовой горелке, достала из холодильника большую кастрюлю, криво прикрытую крышкой не по размеру, и поставила ее на плиту. Расстегивая на ходу блузку, женщина прошла в комнату.

Муж сидел за круглым столом, спиной к экрану телевизора и сосредоточенно копался в полуразобранном утюге.

— Купила чё? — не поднимая головы, спросил он.

— Тазик. — Женщина натянула халат поверх юбки и теперь шарила под полами, пытаясь нащупать молнию застежки.

— На хрена?

— Стирать. — Справившись с застежкой, женщина сняла юбку, повесила ее в шифоньер и вернулась на кухню.

Выключив вскипевший борщ, женщина присела на стул, разглядывая стоящий на полу тазик. В полумраке маки казались настоящими. Женщина попыталась представить маковое поле, но вспомнила лишь картинку из книжки про волшебника Изумрудного города, которую часто читала вслух своей дочери.

Рассматривая, как Железный Дровосек несет на руках через маковое поле спящих Элли и Тотошку, дочка всякий раз испуганно спрашивала: «Мамочка, они что, умерли?».

Женщина улыбнулась.

Со двора раздался брякающий звук железной миски, которую собака многозначительно двигала от своей будки к входной двери. Женщина плеснула в ковшик борща, бросила туда куски черствого хлеба, и, не сходя с крыльца, вылила тюрю в собачью миску. На улице, надрываясь, стрекотали сверчки, меланхолично мычала соседская корова Маруся, и отрывисто позвякивал велосипедный звонок.

— Я за водой! — крикнула женщина, накинула на плечи платок и выскочила за ворота.

Колодец стоял точно на границе с лесом, отчего походил на маленькую сторожевую вышку. Женщине нравились его крепкие бока из сросшихся намертво бревен. Казалось, что все село было построено вокруг этого старого колодца, который стал заменой реки, вобрав в себя всю воду в радиусе нескольких километров.

Робко, совсем по-детски, женщина заглянула в его черную пасть. К ее лицу прикоснулась знакомая прохлада чьих-то невидимых ладоней. Чернота была абсолютна, она стремилась вверх, карабкалась по склизким стенкам. Луна забралась в плотный небесный карман, и стало совсем темно. Навалившись грудью на бортик, женщина свесила руки в холодящую пустоту и, не мигая, смотрела вниз.

По лесу метались ничему не принадлежащие звуки, голосом осипшего ребенка вскрикивала птица, хрустел валежник. И вдруг все стихло. Пряди волос упали на лицо женщины, пуговицы халата больно впились в

живот, но она не шевелилась. Она чувствовала, как кончики пальцев тяжелеют и пульсируют от сбежавшей по венам крови, а руки словно истончились, вытянулись и вот-вот коснутся поверхности ледяной колодезной воды. И вся она будто бы потеряла свой привычный объем, мягко скругленную форму, жесткие углы, и превратилась в невесомый абрис тени, в собственное отражение в потемневшем от времени зеркале. Ее давно сдавшееся земному тяготению тело вдруг стало текучим, зазмеилось по бревнам и начало просачиваться в трещины. Вода в глубине отозвалась, пошла рябью, забилась о стенки. Женщина видела, что до черноты остался всего один вздох, и на выдохе та будет уже рядом. За спиной негромко тявкнула рыжая собака. Женщина вздрогнула от неожиданности, отпрянула от бортика и привязанное цепью ведро с грохотом полетело в жадный колодезный зев.

Женщина вернулась домой, заперла двери, не спеша вымыла оставленные мужем тарелки, на цыпочках пробралась в спальню и села на край кровати.

Ажурный тюль на окне просеивал лунный свет, и лицо мужа было сплошь покрыто белесыми пятнами. Его глазницы казались женщине провалами, на месте рта осталась лишь узкая полоска сажи, щеки исчезли, а лоб стал восковым и неподвижным. Муж дышал ровно, через каждые два такта тихонько присвистывая. Под морщинистой кожей, покрытой седой щетиной перекатывался кадык, а пальцы правой руки слегка шевелились.

Женщина разделась и легла на одеяло, прижавшись своим бедром к твердому бедру мужа. Перед ее глазами чернильной каплей в воде расплылся мрак колодезного нутра. Спустя мгновение он расцвел нежными маками, совсем живыми, если не присматриваться. Женщина видела, как маки вздрагивают от мужниного дыхания.

«Мамочка, они что, умерли?» «Нет, доченька, они спят».

Лохматая рыжая собака осторожно ходила по комнатам, виновато озираясь и прижимая уши в ожидании окрика. Мужчина сидел за столом, не обращая внимания на собаку, которая бродит по дому, оставляя за собой грязные трехпалые следы. Пропитанные машинным маслом газеты теснили холмик окурков, засохшая, цвета сепии, герань осыпалась в стаканы, забытые на подоконнике. Створки шифоньера были распахнуты с того самого дня. Мужчина заглянул в его большой деревянный рот, с пустыми зубьями полок, только один раз и больше к нему не подходил. Он спал в одежде, и снимать ее, а тем более куда-то складывать, теперь не было никакой надобности.

На кухне хрипло засвистел чайник. Мужчина поднялся, тяжело опираясь на край стола и, запинаясь о скомканные половики, вышел на веранду.

Старуха-соседка, заметив, что на застекленной веранде зажегся свет, облегченно вздохнула. Она подошла к их общему забору и заглянула в щель между досками. На дворе с тех пор ничего не изменилось. Только сорная трава разрослась еще больше и практически скрыла те ярко-красные, чудны́е, неизвестно как выросшие здесь маки.

Юлия ШЕСТАКОВА

/ Москва /

РИМСКИЕ СТРОФЫ

Закатное солнце застыло над теменем,
И в небо вонзается остро
Обглоданный ветром, дождями и временем
Театра античного остов.

Закатные сумерки разложены веером
В просветах колонн. Словно остров
Раскидиста крона ветвистого дерева,
И граем изрыт синий воздух.

Крылатая тень устремляется вниз,
Навона темна и туманна.
Хрустальная влага пульсирует из
Холодного зева фонтана.

Еловые иглы остры и пахучи
На пальцах сухих. Рослых пиний
Тернистые купы косматы, как тучи.
Осколок луны бледно-синий

Запутался в кроне, похожей на невод.
Трепещет от ветра олива.
Ветвями укрыто звездное небо.
Расширен зрачок перспективой.

ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛАУДА

Тоска. Тоскана.
Впрочем, Авва Отче,
отчаянье — больше подойдёт…

На дне стакана —
сумерки короче,
И пантеон на гребне Санта-Кроче
восходит к солнцу, как на эшафот.

Закат. Веранда. Терпко пахнет Gucci.
Густые сумерки, как патока, тягучи.
И кроны пиний меркнут, словно тучи:
Как хочется отсюда улететь!

Лучи заката тени преумножат,
Парит на небе каменная твердь.
И долгая разлука так похожа
На маленькую смерть.

* * *

Как во времена октавиановых дней
Здесь ночи короче, но стали длинней
Весной опоенные нежные дни,
Но как скоротечно проходят они.

С течением времени непримирима
Из мрамора твердь. Очертанья Рима
Восходят из марева войском теней.
Пустынная пьяцца с обелиском на ней
Подобна рулетке: инсектарий людей
Закружит Навону, как карусель,
Когда воцарится сияющий день.

* * *

Ветер порывист, словно верлибр.
Морщится серыми складками Тибр.
Гибкая рыба, сверкая кольчугой,
Бурный поток рассекает упруго,
Резко чеканя жемчужные брызги.
Бледное небо нависло так низко
Над часовым острием обелиска.

Стелются тучи, и пахнет хвоей.
Длинное облако в форме каноэ,
В рыхлой утробе собравшее влагу.
Небо сминает словно бумагу
Пресным дождем. Обмелевшая пьяцца
Глубже колодца. Начинает смеркаться.

* * *

Бесконечный во времени Форум
Постепенно врастает руинами
В небо серое, Летой скользящее
Над высокими хмурыми пиниями
Кучевыми, как тучи над ними,
Что уходят грядами седыми,
И безмолвно тают вдали,
Как ясоновы корабли.

Здесь, в Чистилище из мраморных кружев,
В тихой спальне из света и тени,
Затаив дыханье, послушай,
Как уходит сквозь пальцы время,
И становится частью вечного,
Прорастая из быстротечного.

И по глади серебряной зеркала
Проскользнет не твое отражение.
И покажется исковерканным
У чужого лица выражение,
Что глядит по обратную сторону
Разделяя комнату поровну.

Ты растерян? Ну что ж, делать нечего:
Упади в объятия вечера,
Заплутай в лабиринтах Трастевере,
Позабыв о сумрачном севере.
Прислонись душой изувеченной
К неземному городу вечному,
Из бокала выпей заката
И включи на пластинке кантату.
Загляни на Пьяццу-Сан-Пьетро
И смешай дыханье с ветром.
И когда ты забудешь о времени,
Дашь глазам пообвыкнуться с теменью,
На сетчатке проступит пророчество:
«Рим — лекарство от одиночества».

ПОДРАЖАЯ СЕЗАННУ

Невесомые чайки качаются в воздухе, как поплавки,
И свистящая леска врезается в воду упруго.
Бледно-синим пунктиром ложатся на воздух гудки.
И от холода гибкое тело тунца обрастает кольчугой.

Покрываясь мурашками, зыбится в лужах вода.
Гулкий рокот дождя озаряет продрогшую пристань.
И скользящая тень альбатроса стремится туда,
Где под бойким обстрелом асфальт чешуится ребристо.

Мне глаза прослезил налетевший внезапно мистраль.
Смутный шорох дождя — как перо по шершавой бумаге.
Тускло тает во влажном зрачке ветром смятая даль.
Кипарисы, скульптуры, кресты — все в бисерной влаге.

* * *

Стих прибой. Побережье. Пасмурный пляж.
Горизонт растушеван молочным туманом.
Словно в раме Сезанна, немеет пейзаж.
Бесконечные волны идут караваном.

Киноварью налитые лужи — как витражи,
Кучевые платаны царапают ветлами небо.
И текучие тучи сливаются в образы, как миражи.
Вся лагуна похожа на сон, на далекую небыль.

ВЕЩИЙ СОН

Я пробудился ночью от тревоги,
Разбуженный кошмарным сновиденьем,
И на пол опустив босые ноги,
Окинул сонным взглядом помещенье.

Триптих трюмо дремал, раскинув ставни,
Пресыщенный дневными отраженьями.
И в блюде громоздились, словно камни,
Намазанные лунью черносливы,
И в фивской духоте слегка пылилась
Бутыль Бароло. Терпкие оливы
Сливались с миртом, с запахом вина.
А в устье вазы медленно сочилась
Густая, словно плазма, тишина.

И лунь седая с запахом вербены
Тянула свои щупальца ко мне.
Укрывшись тенью, спали цикламены,
И на пропахшей известью стене
Вращала гипнотическое сальто
Орбита циферблата. Как во сне,
Я подошёл: мерцанием базальта
Светились полукружья в полутьме…

Я видел дьявола из батисферы,
Конец времён, начало новой эры,
Всю притчу мира, и на небосклоне —
Творца в струящемся хитоне.

И стоя в мраморном оцепененье,
Глаза прикрыв, дыханье затая,
Я слушал вечности тяжелое биение
Под куполом холодным хрусталя.

И ощущал, как распадаюсь по песчинкам,
Просачиваясь в устьице часов.
И небо показалось мне с овчинку,
Когда услышал я, как падает засов.

По эту сторону гудел прибоем диким
Гул времени: ползли валы веков,
Накр□пко запертых стеклянною печатью
И пробкой плотною из ватных облаков.

И где-то там, над волновым раскатом,
На опоённой морем высоте
Бледнел неясный контур циферблата —
Иллюминатора в земное бытие.

А я лежал песком шероховатым
И дюнами мгновения считал,
И солнце, улыбаясь мне щербато,
Бледнело, словно выжженный опал.

И надо мной морщинилась ребристо
Поверхность моря, бликами звеня,
И рыба гибкая в кольчуге чешуистой
Холодной тенью обожгла меня.
А может быть, кормило корабля
Упруго рассекало дном осклизким
Струящуюся гладь. А я,

Я был песком, неся в утробе влажной
Обломки кораблей, снастей,
И эхо бурь, и лёгкое дыханье
морского штиля,
Лангустов бронзовых, клубки угрей,
Останков человеческих некрополь…

И смутное, как сон, воспоминание
О прелести земного бытия
Исторгло из меня прощальный вопль,
Рассыпавшийся звоном хрусталя.

НАПОСЛЕДОК

Смерть мне легонько дыхнула в затылок
Я обернулся — и нет никого.
Знать, показалось… Но сердце застыло
Легкий озноб, и дышать тяжело.

Бледное море пустых сновидений
Снова, как горе, объемлет меня.
Набок смещаются нежные тени.
И облака — как родные края —
Над головою моей проплывают.

Я оступаюсь, и где-то у края
Крылья распущены, как паруса.
Только теперь, у подножия рая
Видятся смутно родные глаза.

Видятся смутно и влажно мерцают.
Я подаю свою руку тебе.
Я так и знал: когда умирают,
Просто смиренно сдаются судьбе.

Легкое тело своё отпускаю,
Словно стрелу из тетивы.
Вечность внезапно меня настигает
Океаническим гулом листвы.

Андрей КУТЕРНИЦКИЙ

/ *Санкт-Петербург* /

ЗОЛОТАЯ ЗМЕЯ

Повесть

1

Она была стального цвета с коричневым отливом, но от её головы до самого хвоста вился замысловатый узор, словно выложенный искусным художником из мелких золотых чешуек. Узор был столь прекрасен и так плотно покрывал её тело таинством линий, что когда свет солнца падал на неё, создавалось впечатление, будто вся она — струя чистого льющегося золота. Треугольная голова с большими чёрными глазами — два раскалённых агата — тоже имела сверху золотой знак.

Была она бесстрашна и коварна. Власть чувствовалась в любом её движении, сила — в каждом изгибе. Свившись кольцом и вдруг распрямившись, она могла прыгнуть на свою жертву внезапно. И никто не спасался от её молниеносного прыжка.

Ещё была она необыкновенно красива, завораживала зрение переливчатым блеском золота, поэтому всякий, кто вдруг встречал её на своём пути, в страхе убегал прочь, боясь не только остановиться, но даже оглянуться, ибо знали издавна, что она безжалостна, как смерть, которую несла в себе. Маленькой капли её яда было достаточно, чтобы убить быка. Человек мог прожить после укуса лишь несколько мгновений, наполненных безмерным страданием.

Обитала она в горной местности, но не на высоте, где белыми зубцами торчат снежные вершины, и не вблизи отвесных скал, а у подножья хребта, в долине, где зеленеют сочные травы и журчат ледяные потоки талых вод. Людей она презирала и никогда не появлялась возле их селенья.

И ещё!..

Как всё неповторимое и царственное на этой земле, была она единственной. За её драгоценную кожу многие заплатили бы нема-

лые деньги, чтобы сделать себе великолепный пояс или оберегающий браслет на запястье, но мало кто отваживался охотиться на неё. А тех, кого корысть всё же заставляла рискнуть жизнью, потом находили бездыханными с застывшей гримасой ужаса на лице.

Называли её Золотой змеёй. Но одни люди свято верили, что она существует, что ей тысяча лет и она бессмертна; другие считали досужей выдумкой, враньем болтливых языков, а когда в свидетельство им приводили тех несчастных, что были найдены мертвыми у подножья гор, отвечали: мало ли от чего мог погибнуть человек. У страха глаза велики!

2

Утро, в которое Элли встретил её, было поистине райским. Оно дышало покоем, первозданной тишиной земли, и от блеяния овец, идущих стадом, от топота их копыт казалось таким мирным, словно сам Творец улыбался ему с небес. Красные лучи солнца были полны огня и, пробивая туман, чуть заметно дрожали в его тонких горизонтальных слоях, а освещённые ими горы розовели.

Элли работал пастухом. Он знал в долине все тропы, родники и ручьи, все переправы, деревья и даже крупные камни. Он был сиротой, но никогда не чувствовал себя одиноким, потому что односельчане любили его. Отца он не видел вовсе; отец его погиб в чужеземной стране за месяц до рождения сына на странной войне, в которой никто ничего не завоевал, никто никого не победил, но ради этой бессмыслицы было убито много здоровых трудолюбивых людей, которые могли бы жить долго и счастливо. Мать же умерла, когда Элли не исполнилось трёх лет. Изредка, как дуновение ветра, который промчался — и нет его, память обрывками возвращала ему её черты, но он ни разу не смог сложить из них её лицо. Были не губы, а дыхание, не глаза, а взгляд, не слова, а звук голоса. В такие мгновенья ему чудилось, что она как бы случайно прикоснулась к нему и что-то прошептала. Может быть, только — Элли! Так она называла его с младенчества, хотя имени Элли не существует. Но он столь забавно лепетал «Элли, Элли!», и ее так веселило это ласковое «л», что прозвище пристало к нему навсегда.

Элли шел позади стада. Он доверял своим овцам. Он их любил. За беззащитность, беззлобность, преданность. Ему нравились их чистые доверчивые глаза, всегда при взгляде как бы просящие милосердия. Он ни разу не видел, чтобы овцы дрались между собой, как дерутся, хрипя и обливаясь слюной, сторожевые псы, готовые из-за куска мяса перегрызть друг другу горло. От овец веяло живым теплом. Многие считали их глупыми существами, а он знал, что они мудры. И еще он любил их за то, что они, как и он, любили долину. В брызгах солнечного света сквозь седой туман стадо шло кучно, не разбредаясь в стороны, и спины овец колыхались перед Элли.

Хорошо жить, когда тебе двадцать лет. Твое земное странствие только начинается, и от этого душа наполнена радостным нетерпением. Тело твое гибко, зрение остро, дыхание легко, кровь горяча. И холод утра бодрит тебя.

Месяц назад через долину проскакал отряд великолепных рыцарей. Сияя доспехами, с разноцветными на высоких древках знаменами, он неожиданно возник на дороге с западной стороны, с грохотом промчался сквозь селение и исчез на востоке. И вид железных всадников, их одежды, длинные мечи и острые пики восхитили Элли. Впервые он увидел то, о чем знал понаслышке: кроме тихой жизни, которой жила долина, есть еще совсем другая, страстная, героическая жизнь.

«Как бы я хотел стать одним из них! — думал Элли, глядя отряду вслед. — Я все отдал бы за такое счастье!»

С того дня фантазия неустанно рисовала ему далекие государства, королей и принцесс, города с неприступными замками; он воображал море и парусные корабли, которых никогда не видел. Всматриваясь в одиночестве в синеву неба, в безмолвно плывущие облака, он представлял себя, то рыцарем, то возлюбленным красавицы, то капитаном парусника. И, застенчиво улыбаясь, шептал, сам не зная кому: «Сбудется!»

Таким мечтам предавался пастух, шагая за стадом овец, когда вдруг отчетливо услышал в центре своего мозга приказ:

— Остановись!

Голос не мог принадлежать человеку, — в нем дрожал металлический звук, какой остается в воздухе после удара в колокол. Но, главное, он возник не вовне, а внутри Элли.

Юноша остановился, оглядываясь, сошел с тропы и замер. Не было силы не только двинуть рукой, но даже пошевелить губами, сделать глоток, моргнуть ресницами.

Возле большого камня в нескольких шагах от его босых стоп пылало золото. В грозном блеске, как две черных звезды, темнели два глаза, в упор глядящие ему в зрачки.

Страшная догадка пронзила Элли.

«Золотая змея! Надо бежать!»

Но он оставался неподвижен. Точно столбняк напал на него.

«Помоги мне!» — услышал он из черных глаз.

И Элли понял, что эти слова тоже не были произнесены вслух. Мысли из ее мозга сами перетекали в его мозг.

Внезапно утренняя птица громко запела над его головой. Элли отступил назад, прыгнул в сторону, упал, ломая ветки кустов, перекатился через спину, вскочил на ноги и, что было силы, помчался прочь. Он замедлил свой бег лишь на секунду, чтобы схватить глоток воздуха. Земля, деревья, камни сливались перед ним в сплошной поток. Он бежал, перемахивая рытвины, спотыкаясь о корни деревьев, и ему чудилось, что он все еще в опасности. Длинными прыжками он взлетел на холм и только здесь остановился.

«Я сейчас мог умереть! — понял он, объятый ужасом. — Три коротких шага отделяли меня от смерти. А я мечтал о будущем!»

Он тревожно огляделся.

Солнце ярко сияло над долиной, и туман быстро таял. Лишь кое-где в низинах и у ручьев серебрились седые проплешины. Но Элли знал: скоро исчезнут и они. Потом испарятся росы, вершины гор из розовых станут белыми, и по небу поплывут крупные облака.

«Ого, как я испугался!» — подумал он, слыша, как бешено колотится в груди сердце.

Глазами он отыскал свое стадо.

Овцы гуртом шли в прежнем направлении, даже не заметив, что пастуха нет с ними.

Элли недоверчиво обтрогал себя пальцами обеих рук.

Кожа ощущала прикосновения, глаза видели, уши слышали, кровь пульсировала в жилах.

«Это все только померещилось, — подумал Элли. — Я знаю много похожих рассказов других людей».

Он распрямил плечи, глубоко вдохнул утреннюю прохладу, но едва сделал шаг, как снова услышал в центре своего мозга:

«Помоги мне!»

Мороз сковал его тело. Под сердцем обнажилась пустота, и ноги ослабли.

«Она не выдумка, — осознал он со всей ясностью. — Она преследует меня и, значит, непременно убьет!»

Кубарем скатился он с холма и, ничего не видя перед собой, помчался дальше.

А в голове все раздавались гулкие удары колокола:

«Помоги мне! Помоги мне!»

Жадно хватая воздух открытым ртом, обессилев, Элли грохнулся в мокрую траву, зажмурил глаза и поджал ноги к животу. Золотая змея была рядом. Он уже слышал шелестение ее чешуи и ощущал ее дыхание. И от бессилья он заплакал. Впиваясь пальцами в землю, он плакал о своей юной жизни, в которой ничего не свершилось великого, и которой предстояло так внезапно и так рано погибнуть.

Однако время шло, земля впитывала его горячие слезы, но ничего не происходило с ним.

Элли открыл глаза и приподнялся.

«Что это значит? — подумал он, рукавом отирая мокрое лицо. — Она всего лишь смотрела на меня, а я понимал каждое ее слово».

В тишине утра пели птицы, воздух был чист, вдали за ручьем блеяли овцы.

«Ее здесь нет, — заключил он, внимательно осмотрев низину. — Возможно, она затаилась в высоких травах? Но я был так беспомощен, лежа на земле, и она не тронула меня. Почему?»

Он встал, отряхнул одежду от капель росы и влажных прилипших травинок. «Зачем я понадобился ей, если она не хочет меня убить?»

Мучительно пытался он привести свои мысли в порядок.

«Сделаю шаг и опять услышу ее призыв!»

Он шагнул.

Ни одного постороннего звука не уловило его ухо.

Он сделал еще шаг.

Голос более не возникал в глубине мозга.

Страшное наваждение оставило его.

Осторожно переставляя ноги, Элли направился к овцам.

И вдруг вспомнил глаза Золотой змеи, вспомнил так ярко, точно это было не воспоминание, а она снова смотрела на него. Тьма пылала в них, как ночь пылает звездами. Но в глубине этой тьмы ему почудилось отчаяние. Будто это пламя было одновременно и сверкающей слезой.

«Слушай, Элли! — сказал Элли самому себе. — Происходит что-то странное, чего ты прежде не знал. Либо все это — сумасшествие, и ты бредишь, либо ты должен вернуться. Но ты же не безумец и не станешь возвращаться?»

«Конечно, не стану!» — ответил он.

И, повернув назад, пошел к Золотой змее.

Незримая сила потянула его к ней. И сила эта была и страшна, и желанна. Радость познания таинственного разгоралась в сердце Элли. Словно именно сегодня ему должно было открыться то заветное, что пряталось за вершинами гор, и куда его тянуло с детства. Там находилась другая страна, и горизонты там были шире, и небо выше.

Десятки голосов одновременно зазвучали вокруг него.

«Она околдовала тебя! Ты идешь, как зачарованный».

«Очнись, Элли! Обратной дороги не будет!»

— Я не стану подходить близко, — шептал Элли. — Я посмотрю издали. С безопасного расстояния.

«Так многие думали. Безопасного расстояния от смерти не бывает. Это искушение!»

Элли добрался до холма, с вершины которого еще недавно оглядывал долину, потом вышел на тропу, и, едва ступил на нее, ему почудилось, будто он оглох. Голоса исчезли. Не стало слышно блеянья овец, пения птиц. И от этой, вдруг опустившейся на него тишины, слух Элли необычайно обострился. Он взглянул на ползущего по земле жука, и до него донеслось с удивительной подробностью шуршание крошеных песчинок, по которым жук переставлял лапки.

Из-за поворота показалась раскидистая зелень кустов.

«Знаю: туда нельзя! И иду, — подумал Элли. — Разумеется, я сплю. Но не я хозяин моего сна».

Шаг за шагом беззвучно ставил он голые ступни на тропу.

Наконец, сквозь листья он заметил слабое свечение.

Ощущая под сердцем холод, Элли раздвинул ветки.

Золотая змея лежала на земле рядом с большим серым камнем. Она ослепительно сияла, но черные глаза ее более не смотрели на него.

«Ты вернулся, Элли», — услышал пастух в центре своего мозга.

— Тебе известно мое имя? — удивился Элли.

«Этот камень скатился с горы и придавил меня. Убери его!»

— Я боюсь подойти к тебе, — сказал пастух.

«Поторопись, Элли! Мой блеск гаснет».

— Ты заманиваешь, чтобы убить! Ты хитра и коварна!

Золотая змея не ответила ему.

И вдруг Элли стало жалко ее.

— Хорошо, — сказал он. — Но если ты ужалишь меня, грех будет на тебе.

«Ты знаешь, что такое грех?» — услышал Элли в центре своего мозга.

— Священник говорил нам в церкви, что убить кого-нибудь — большой грех.

«Не гаси того, что светит, и не будешь грешен», — услышал Элли в центре своего мозга.

Затаив дыхание, он приблизился к камню. Камень оказался слишком тяжел. Чтобы отвалить его, надо было упереться босыми ногами в землю рядом с Золотой змеей.

Элли посмотрел вдаль на горы.

«Запомни нашу красоту! — услышал он. — Ты видишь ее в последний раз».

— Кто это сказал? — прошептал Элли, лихорадочно переведя взгляд на Золотую змею. — Это был твой голос? Горы предупредили меня?

«Твой страх говорит с тобой».

Элли поставил босые ступни рядом с головой Золотой змеи, уперся руками в камень, а ногами в землю, и отвалил глыбу.

Он услышал, как тихо, словно горестный вздох, Золотая змея простонала.

Ужасная картина открылась ему.

Тело змеи было раздавлено, позвоночник раздроблен, и яркая кровь, загустев, краснела вокруг нее на земле.

«Элли! — услышал пастух в центре своего мозга. — Отнеси меня к тюльпанам. Я хочу погаснуть среди них».

— Ты просишь, чтобы я взял тебя в руки? — спросил потрясенный Элли.

Золотая змея подняла сверкающий взгляд.

Теперь ее черные глаза показались ему бездонными. И они его поразили. Она была злом, в глазах которого дрожало страдание. Но разве зло способно страдать? Зло несет страдание другим.

— Кто станет брать змею в руки! — сказал Элли. — На это способен только несмышленый ребенок. Я не хотел бы для себя такой судьбы.

«Судьба — это камень, который может в любой момент сорваться с горы, — прозвучало в его мозгу. — Но, знай, наступит в твоей жизни день, когда ты увидишь, как катится на тебя этот камень, и у тебя будет возможность уйти, но ты не уйдешь».

— Если бы я увидел, как катится на меня камень, я, несомненно, увернулся бы от него, — сказал Элли. — Я люблю жизнь!

«Поспеши! — произнесла Золотая змея. — Мое время заканчивается».

Элли наклонился и, понимая, что делает безумное, взял Золотую змею в руки и тут же вскрикнул. Он думал, что она холодна, как холодны все змеи. Но она была горяча. Так горяча, что обожгла ему пальцы.

«Иди прямо! — услышал он в центре своего мозга. — Смотри на заснеженный пик!»

Не чувствуя под собой ног, Элли пошел к горному хребту.

«Я несу в руках Золотую змею, наводившую ужас на всех, кто встречал ее, и о коварстве которой я столько слышал, — думал Элли. — Как крепко я сегодня сплю!»

И еще он подумал:

«А, может, и вся жизнь — сон?.. Ведь и прежде снились мне сны. Они снились мне с самого детства. Правда, потом я всегда просыпался. И мой сон исчезал, и я забывал его».

Он нес в руках Золотую змею. И одновременно видел сон, в котором он идет через долину и несет в руках Золотую змею.

Наступал день, но странно, — не только солнце, но и звезды ярко пылали в небе, и тишина была удивительная.

Золотая змея приподняла голову и положила ее на запястье его руки, туда, где пульсировала вена. И пастуху почудилось, будто это было когда-то в его жизни. Или уже снилось однажды.

Только теперь, видя ее так близко, Элли разглядел золотой узор, сплошь покрывавший ее тело. Он был прекрасен какою-то неземной красотой. Тонкие линии росчерками летели по ее спине, мягкие изгибы сочетались с острыми углами, подобными изломам молнии, блистающая сеть напоминала паутину. И Элли вдруг догадался, что это не узор, а таинственная надпись, составленная из особых, не известных ему знаков.

«Иди вдоль ручья!» — услышал он ее голос.

Элли пошел берегом ручья. Время перестало что-либо значить для него. Он не чувствовал ни страха, ни усталости, он забыл про своих овец.

«Поверни к гранитной скале!»

Он повернул и оказался на поляне, сплошь поросшей алыми тюльпанами. Он бывал здесь и прежде, между ручьем и гранитной

стеной, но никогда не замечал, как удивительно это место. Это был маленький рай с особенными, хрустальными звуками, прозрачными красками и кружащими голову запахами. Даже воздух был здесь так насыщен светом, что блестел перед глазами.

«Остановись!» — услышал он.

Элли бережно положил Золотую змею рядом с тюльпанами и, отстранясь от нее, заметил, что блеск ее стал еще слабее.

«Спасибо, Элли! — услышал Элли в центре своего мозга. — У меня осталось мало сил, но их хватит, чтобы отблагодарить тебя».

И в эту секунду Золотая змея вонзила ядовитые зубы в голую ступню Элли.

Элли закричал так громко, что, казалось, его крик услышали за горным хребтом. Огненный туман окружил его, и боль была такова, словно Элли бросили в расплавленный металл.

— Какое коварство! — успел прошептать он.

Все закипело вокруг него в сверкающих языках пламени. Элли стремительно исчезал. Элли сгорал заживо.

Внезапно из бушующих вихрей выявились две человеческие фигуры.

Одна была старухой с изможденным лицом. Кожа обтягивала ее лысый череп. Горящие ртутью глаза глубоко провалились в черные глазницы. Изношенная одежда лохмотьями свисала с горбатого тела.

— Кто ты? — спросил Элли.

— Твоя смерть, — ответила старуха.

Вторая — была юной девой невиданной красоты. В очах ее сияла синева неба, густые волосы волнами спускались по плечам. На ней было яркое платье. Оно источало вешнее благоухание. И Элли вдруг разглядел, что все оно состоит из пурпурных и белых лилий, желтых и золотых хризантем, и еще множества других цветов всех возможных оттенков.

— Кто ты? — спросил Элли, остановив на ней зачарованный взгляд.

— Твоя жизнь, — ответила дева.

И тут в центре своего мозга Элли услышал голос Золотой змеи:

«Отныне, когда последний час будет приближаться к тебе, ты сможешь призывать любую из них!»

— По своему желанию? — не поверил Элли.

«Да!»

— Но вдруг я всегда стану призывать жизнь?

«Она будет начинаться с начала, — ответил голос. — Если ты захочешь. Но знай: память прежних жизней останется с тобой навсегда».

— Конечно, захочу! — радостно воскликнул Элли.

И, глядя на отвратительную старуху, закричал:

— Прочь! Уходи!

Старуха растаяла в золотом огне.

Тогда он сказал прекрасной деве:

— Поцелуй меня!

Дева сделала к нему шаг и прижала юные губы к его губам.

Элли открыл глаза и увидел, что он лежит на земле и смотрит в небо, по которому в бесконечной высоте плывут облака. Еще он увидел орла, который парил на распахнутых крыльях. Орел ни разу не взмахнул ими. Он ловил воздушные струи и, опираясь на них, совершал большой круг, высматривая внизу добычу.

— Я жив! — прошептал Элли с удивлением.

Он сел и огляделся.

Было позднее утро. Солнце высоко поднялось над горами. Росы высохли и туманы испарились.

Элли повернул голову к скале и увидел рядом с собой неподвижную змею, стального цвета с коричневым отливом. Голова ее безжизненно лежала в тюльпанах, тело от середины до хвоста было раздавлено чем-то тяжелым и покрыто запекшейся кровью.

Элли отшатнулся от змеи, вскочил на ноги, потом подошел к ней, и, не решаясь прикоснуться рукой, поднял с земли сухую ветку и ее концом перевернул змею вверх брюхом. Змея была мертва.

Элли почувствовал легкое жжение на стопе и разглядел крохотную ранку.

И в одно мгновенье он все вспомнил. Как встретил ее у тропы, как звучало в его голове «Помоги мне!», как он вернулся к ней и как нес в руках, любуясь узором на ее теле и понимая с благоговением и ужасом, что это не узор, а таинственная надпись.

Он склонился к змее.

Золотой надписи больше не было.

Элли нашел острый осколок гранита и выкопал им небольшую яму. Потом он осторожно взял змею в руки, помня, что она прежде обжигала ему пальцы. Но она была холодна. Элли опустил ее в яму, засыпал землей и притоптал землю босыми ногами.

Легкий ветер скользнул по поляне; головки тюльпанов волнами колыхнулись и опять замерли.

Золотой змеи больше не было. Из всех людей, живших в долине, знал об этом один Элли. Но знал он и другое: отныне он бессмертен.

Вечером он привел овец в селенье и передал стадо новому пастуху, а затем обошел дворы и со всеми жителями простился. Они не хотели его отпускать, потому что привыкли к нему. Но Элли уже понял: мир больше, чем долина. Его тянуло за горный хребет, в те страны, откуда прилетали птицы и куда ускакали рыцари.

Рано утром он вышел на дорогу.

«Я люблю это место на земле. Я здесь родился, — сказал он. — Но я должен идти. Все сбудется. Все случится так, как я захочу. Ведь моя жизнь будет вечной. О чем большем может мечтать человек!»

3

Башня имела в высоту триста метров. Ажурная башня была видна из любой точки города и от основания до вершины мерцала разноцветными огнями. Из блестящей мглы ночного воздуха она появлялась то в синем, то в красном, то в золотом наряде. На самом ее верху, над переплетением тонких стальных конструкций, ритмично зажигались лазеры. Сквозь наэлектризованное атомное небо они посылали горизонтальные лучи. Эти лучи, поворачиваясь, проплывали над городом круг за кругом, словно пытались обнаружить в надземной тьме фантастических птиц, которые слетались сюда со всего света, чтобы поговорить друг с другом.

Молодой человек брел по набережной реки. Он был хорош собою, выше среднего роста, в новом дорогом костюме и модных туфлях. Шнурок на одной из них развязался, но идущий не замечал этого.

«Ночь, вода, отражения… — думал он. — С какой целью я здесь?.. В странности и безответности жизни всегда присутствует что-то мистическое. Что-то от сна или давнего мечтания».

Сияющая башня повторялась в реке. Вершиной вниз.

«Однако почему я задал этот вопрос? — продолжил он свои мысли. — Я знаю ответ абсолютно точно. Сегодня я должен был сделать предложение Мари. И не сделал».

Он достал из кармана телефон — тонкую пластину с плоским экраном, — проверить, не последовало ли от нее звонков. Попрежнему последним был отмечен тот, что прозвучал три часа назад.

Молодой человек потер лоб тонкими нервными пальцами и, не торопясь, побрел дальше. Ему можно было дать лет двадцать пять. Но сейчас, в призрачном свете фонарей, он казался еще моложе. Левую руку он сунул четырьмя пальцами под ремень в брюках, в правой держал за горлышко бутылку вина.

«Хорошо, что не сделал, — подумал он без сожаления. — Своим отчаянием я погасил бы ее жизнь. Такую юную и прекрасную».

Река плавно поворачивала. От нее пахло свежестью воды и горечью дыма. Время от времени по ней проплывали прогулочные теплоходы, белея низкими надстройками. С шумом рассекая тьму, они настигали молодого человека, обгоняли его и исчезали под пролетами мостов. На залитых светом палубах веселилось множество людей. Там звучала музыка, танцевали, размахивали поднятыми руками, фотографировали со вспышкой. Однажды кто-то громко окликнул его, перегнувшись через борт:

— Эй, лунатик!

Молодой человек посмотрел в сторону кричавшего, и в знак приветствия поднял над головой бутылку вина.

«И голос такой же, — подумал он. — Только пейзаж был другим».

Каменная арка нависла над набережной.

Он вошел под ее свод.

У стены — один на туго набитой спортивной сумке, другой на складном стуле — сидели двое: мужчина с громадным животом, и старик в нахлобученной на затылок дамской соломенной шляпке, из-под которой торчали во все стороны тощие седые волосы.

— Дружище! — услышал молодой человек, обращенный к нему хриплый голос. — У нас есть все для души. Но для тела кой чего не хватает... — Мужчина разразился таким жизнерадостным и громким хохотом, что его раскаты эхом отозвались под аркой, сразу заполнив весь ее объем. — Ты бы поделился!

«Я помню его лицо, — подумал молодой человек. — Хотя этого не может быть. Лица не повторяются».

И протянул мужчине бутылку.

«Лица уникальны. Повторяются только ситуации».

— Самое худшее — когда недопьешь! — объяснил бродяга.

Грубый шерстяной свитер обтягивал его живот, подчеркивая полноту нездорового тела.

Запрокинув назад голову, он поскорее поднес к губам горлышко бутылки, почти вертикально подняв ее вверх дном, чтобы ее содержимое полилось в его рот полноценной струей, несколько секунд оставался неподвижен, потом отстранил от себя бутылку и с расстояния вытянутой руки с интересом уставился на нее.

— Она не открыта! — воскликнул он.

— Открой! — сказал молодой человек.

Толстяк взглянул на него снизу вверх, вытащил из сумки складной нож со штопором и, натужно сопя, с глухим лопнувшим звуком выдернул пробку. Открытую бутыль он протянул молодому человеку.

Молодой человек отрицательно покачал головой.

Бродяга пожал плечами, сделал несколько крупных глотков. Подождал. И решительно приложился снова.

— Отличное вино! — отдышавшись, сказал он. — А для чего покупал?

— Не знаю, — ответил молодой человек. — Шел мимо магазина.

— Промочишь горло?

Толстяк повернулся к старику.

— Не, — ответил старик, пожевывая губки. — Ночь уже. Укладываться пора.

«Скоро умрет, — подумал молодой человек. — Эта человеческая жизнь подошла к концу».

Уразумев, что бутылка полностью принадлежит ему, толстяк без спешки, смакуя каждый глоток, отпил ее до половины и задумался.

— Чудо свершилось! — вдруг восторженно произнес он, выпрямил спину и возвысил голову. — Все стало лучше! Все наполнилось радостью!

И лицо его осветила улыбка.

— Будь я президентом страны, я бы тому, кто придумал алкоголь, поставил памятник выше этой башни!

Опьянение плавно уносило его в мир свободы, глаза оживились, и теперь ему хотелось говорить. Старик же был так беспомощен и тих, что, очевидно, давно не являлся интересным собеседником.

— Куда направляешься? — спросил толстяк.

— Куда ноги поведут, — ответил молодой человек.

— Художник? Поэт?

— Менеджер. По рекламе.

— Тебе хорошо платят?

Молодой человек кивнул.

— Что же ты, такой успешный, бродишь ночью один? Ночью одному плохо.

— Я должен был сегодня сделать предложение, — неожиданно произнес молодой человек. — Красивой девушке. И не сделал.

— Отказала? — удивился толстяк.

Молодой человек не ответил.

— Ушла с другим.

Толстяк выдохнул эти слова с мужским сочувствуем, желая своей искренностью отблагодарить пришельца за подаренную бутылку.

— Не расстраивайся, — добавил он по-отечески. — Изменчивость женщин известна с давних времен.

— Она не ушла, — сказал молодой человек.

Его ответ поставил толстяка в тупик.

— Почему же не сделал, если, говоришь, что не отказала, не ушла, да еще и красивая? — спросил он с недоумением.

— Не захотел.

Молодой человек сел рядом с бродягами на гладкие камни набережной, еще хранившие дневное тепло, достал из кармана телефон.

Новых сообщений не было.

От свитера толстяка воняло потом.

«Я сегодня так остро чувствую запахи», — подумал молодой человек, посмотрел на развязанный шнурок на правой туфле и перевел взгляд на ночную реку.

Тонкая девушка в воздушном платье, словно окутанная облаком, шла по бульвару ему навстречу, играя сумочкой. Ее стройные ноги в туфельках на высоких каблуках ступали легко, уверенно. И эти стройные ноги имели имя — Мари. И туфельки тоже — Мари. Теряясь среди прохожих, пересекая солнечные пятна и тени от листвы деревьев, она улыбалась ему издали.

И вспомнив ее улыбку, не отрывая глаз от черной воды, молодой человек прошептал с какой-то безысходной печалью:

— Устала моя душа.

— Ну, ты парень высказался! — восхитился толстяк. — Ты мне в сыновья годишься. Мне пятьдесят три года, и то я всего хочу

— Пятьдесят семь, — пробурчал старик в шляпке, дотоле молчавший.

— Пятьдесят три. И… только подавай! Подрался бы с удовольствием. А если статуэтка на каблучках!.. Всю глазами обласкаю!

— Глазами и осталось, — вздохнул старик. — Какая согласится с тобой гулять под ручку!

— Это с тобой! — обиделся толстяк. — Тебе восемьдесят. А мне пятьдесят три!

— Пятьдесят семь, — буркнул старик, снял шляпку, понюхал ее и снова нахлобучил на седую голову.

— Во-во! Вдохни хотя бы запах духов, — захохотал толстяк. — Может, вспомнишь что-нибудь!

И обратился к молодому человеку:

— Ни дай Боже дожить до такой поры! Умирать надо вовремя.

— Истинная правда, — кивнул старик. — А жить все равно хочется.

Молодой человек рассеянно огляделся и тихо произнес:

— Вы не понимаете: нет разницы в том, какое время за окном, и какой пейзаж окружает вас! Всё в глубине сердца. Но жить на земле, не имея желаний, нельзя. Земля жаждет желаний. Она сама желает, цветет, плодоносит. Всё на ней наполнено желаниями.

Еще один теплоход, в звуках волшебной музыки, пролетел вереницей огней над рекой, откатывая по воде сверкающую волну.

— Этот город слишком красив, чтобы быть нормальным! — наконец изрек бродяга пьяным голосом. — Я всегда так считал! — И, вскинув руки к покатому своду арки, закрывавшему над ним небеса, хрипло возгласил: — Что за вздор ты несешь, дружище! Костюмчик с иголочки! Дорогое вино! Девушка! И вся жизнь впереди! Побыл бы ты на моем месте! В чужих ботинках. В свитере, который износила до тебя дюжина проходимцев!

— Это не самое страшное, — произнес молодой человек угрюмо. — Мне было хуже, когда я умирал в Неаполе от чумы.

Бродяги переглянулись.

— От чего ты умирал в Неаполе? — переспросил толстяк.

Старик заморгал глазами, словно соринка попала ему в ресницы.

— Когда ж это была там чума? — пролепетал он, недоумевая.

— Триста пятьдесят лет назад, — как само собой разумеющееся, ответил молодой человек. — Я умирал, и все сторонились меня. Никто не пожалел моей жизни. Если бы я мог призвать на помощь Бога! Но и его не было надо мной.

Толстяк еще приложился к бутылке.

— Триста пятьдесят лет, — повторил он, обернувшись к старику. — Что ж ты забыл про чуму, шляпка из соломы! А менеджер помнит.

— Да не было никакой чумы! — прошептал старик испуганно.

— Сколько тебе лет, путник в ночи? — с усмешкой спросил толстяк молодого человека.

— Пятьсот, — ответил молодой человек.

Толстяк посмотрел на старика. Старик вдруг скорчил крохотное личико в гримасу и постучал изогнутым пальцем по своему лбу.

— Тогда конечно! — охотно согласился толстяк. — Если пятьсот, то и вопросов нет! Кто спорит!

— Я понимаю: вы не верите. Это ведь тоже было уже. Неверие. Тоже не в первый раз, — сказал молодой человек.

— Нет, мы как раз верим, — сказал толстяк.

Чувство разочарования и брезгливости к молодому человеку вдруг охватило его.

— Мы ведь верим? — спросил он у старика.

Старик, приподнялся со своего стула, снял шляпку, приложил ее к груди и поклонился.

— Какая разница — верите вы или не верите, — произнес молодой человек с особенной горечью. — Я столько раз умирал и рождался. И проживал все с самого начала. Детство, зрелость, старость. Я привык к неверию. Я привык смиряться, прощать, выглядеть безумным. Но не это главное. Я смотрю на ваши лица, на этот каменный мост, на ночную воду и понимаю: я опять в той же самой точке, где уже был. Даже ощущение когда-то прожитой жизни — тоже повтор, тоже многократно испытано. И не имеет значения, какой век. Важно одно: это та же самая точка.

Некоторое время толстяк пытался уразуметь сказанное, потом залпом допил вино, поставил пустую бутылку на камень и назидательно произнес:

— Напрасно ты отказался. Вино — именно то, что тебе было надо. Но признайся, как ты насчет травки? Потребляешь? Мы — без осуждения.

Молодой человек вдруг рассмеялся.

— Что еще могли вы предположить! — промолвил он. — Современные люди мыслят однообразно. Хотя, так было и прежде. Люди чувствуют тонко и щедро, но мысли их скудны и все об одном.

Он перестал смеяться так же внезапно, как и начал.

— Я умер рано, юным, от укуса Золотой змеи. Это была удивительная смерть. Первая. Впрочем, она не успела забрать меня, как и все последующие.

— Разве есть золотые змеи? — спросил старик, вдруг заинтересовавшись его словами.

— Нет, — коротко ответил молодой человек. — Она и тогда была единственной. И она не повторится. Я похоронил ее в долине в горах среди красных тюльпанов, как она и просила. Я пас овец, когда ее встретил. Она несла в себе смерть, но мне подарила бессмертие.

— Ужалив?

Молодой человек оставил вопрос без ответа.

— Затем я погиб в бою, сделавшись рыцарем, — продолжал он. — У меня были великолепные доспехи и чудесный конь. Черный, как крыло ворона. В тот день я сражался с упоением, с радостью! Я так был полон жизнью! Свободен, как ветер! Весь в мечтах и грезах! И это была самая прекрасная смерть, возможная для мужчины, смерть в поединке, в единоборстве. Потом был Китай, Индия, Испания. Плаванья под парусами. В Лиссабоне я был погребен под рухнувшими колоннами во время землетрясения прямо в храме в день всех святых. Я умирал младенцем. Доживал до крайней старости. Был художником, кузнецом, монахом, офицером. Меня косили холера и тиф. Меня расстреляли в России, сожгли в Освенциме. Я навсегда остался в подводной лодке, раздавленной, как скорлупка, водами океана. Наконец я замерз в снегу у самой вершины при восхождении на Эверест. Но я снова и снова выбирал жизнь. И всегда во всех моих жизнях высшей наградой была любовь женщины. Я мечтал о ней, искал ее, я ею жил. Я был опален этим огнем. И вот, я не хочу новой любви. Все слова сказаны, все надежды и страхи — испытаны. А любовь — единственное, что не признает повторения.

Он замолчал.

— Приходи к нам каждую ночь! — дружелюбно произнес толстяк и похлопал его по плечу. — Тебя слушать — книжку читать. Приноси вино. Сойдет и дешевое. Расскажешь, как Везувий засыпал древние Помпеи? Вот, наверное, фейерверк был! Представляю, что там творилось! Ты ведь жил в Неаполе?

— Нет, — тихо ответил молодой человек, словно не замечая игривого тона, и некоторое время печально глядел на отражение башни. — Я этого не мог видеть. Это случилось за полторы тысячи лет до моего рождения.

И посмотрел на толстяка и старика.

Глаза в глаза.

И вдруг бродяги застыли на своих местах. Вселенский ужас отразился на их лицах.

С минуту они сидели неподвижно, не смея пошевелиться. Они боялись даже дышать.

— Вставай! — сдавленным шепотом приказал толстяк старику. — Вставай, говорю! — подхватил его под руку, и, прихрамывая, они поспешили от моста прочь, волоча по камням тяжелую сумку.

Молодой человек смотрел на их одинокие фигуры, такие беззащитные на ночной набережной.

— Я только испугал их! — с горечью подумал он. — Где они теперь будут ночевать?

Толстяк вдруг обернулся.

— Шнурки завяжи! — крикнул он. — Грохнешься!

4

Город еще не спал, хотя маленькие улицы были пусты. Город только начал жить ночной жизнью. Это чувствовалось в редких парах влюбленных, гулявших в обнимку прямо по мостовым под потушенными окнами, на стеклах которых сверкал серебряный блеск, в шумных компаниях на тротуарах возле работающих баров: красные, синие, желтые лица — в разноцветном неоновом свете, возбужденные голоса.

Молодой человек достал из кармана телефон.

Прямоугольные цифры показывали половину двенадцатого. Звонков больше не было.

«Метро еще работает», — подумал он.

Ему вдруг захотелось на холм, на его вершину, ближе к ночным облакам.

Станция находилась в десяти минутах ходьбы. По пути ему пришлось обойти бездомного, который спал на тротуаре на грязной подстилке, с головой завернувшись в одеяло. Рядом с ним стояла его обувь. И, глядя на эти изношенные туфли, молодой человек вспомнил о своем развязанном шнурке. Он наклонился и завязал его.

На перекрестке велорикша ожидал ночных пассажиров. Живописно скрестив ноги, он курил сигарету, опираясь плечом на корпус капсулы, в которую были вмонтированы колеса и педали.

— Главные достопримечательности! — окликнул он молодого человека, очевидно приняв его за иностранца.

Молодой человек отрицательно покачал головой.

Вскоре он спустился по каменным ступеням в яркий свет подземного вестибюля. Дотошный славянин на плохом английском долго расспрашивал его, как пользоваться автоматом, чтобы купить билет. Блеск белой плитки и рекламы на покатых стенах окружили молодого человека. Он вдохнул магнитный воздух тоннелей, смешанный с привкусом металла.

«Как много значат для человека запахи! — подумал он. — Они таят в себе даже нечто большее, чем звуки».

Подъехал поезд.

Вагон на две трети был заполнен чернокожими эмигрантами из Африки. Крепкие парни с темными лицами и белоснежными белками глаз, в расстегнутых нейлоновых куртках, сидели с разных сторон вагона, развалившись на креслах и широко расставив длинные ноги. Низенький китаец с кожаным портфелем в руке держался за поручень, охватив его короткими пальчиками. Когда чей-то взгляд пролетал через его лицо, он вежливо улыбался.

Молодой человек встал возле автоматических дверей.

Ритмично вспыхивая, за ними проносились огни ламп, освещавших подземелье.

И опять он увидел Мари. Ее лицо летело вместе с поездом за стеклом вагона по стене тоннеля…

Он ждал ее на бульваре с красной розой в руке. Он подарил ей эту изумительную розу. И они пошли вместе под шумящими кронами деревьев.

И вдруг произошло ужасное. И он сразу понял: исправить нельзя! В одну секунду все обесценилось. Отчего? От весеннего шума деревьев? От голубизны неба над ними? От ее дыхания рядом? От случайного прикосновения к ее плечу?

Ярко, до мельчайших подробностей, словно это было только что, он увидел, как любимая им женщина, улыбаясь издали, быстро идет ему навстречу под густыми деревьями, пересекая солнечные пятна, приветливо помахивая рукой. Она прекрасна и желанна! Но имя у нее другое, и город вокруг другой, и язык, на котором они говорят, звучит иначе. И он знает, что она навсегда единственная. Что второй такой быть не может. И сердце его задыхается от восторга.

Он посмотрел на Мари, юную, полную надежд, и всем своим существом ощутил: нет в его сердце места для этой новой любви. И ни для какой любви больше нет места. Он не станет обманывать ее, и не сумеет уговорить себя, что счастлив, потому что никуда не ушли прежние чувства. Даже в прошедших веках они не смогли спрятаться, стереться временем, забыться, исчезнуть. Он был обречен помнить их все — каждое объятье с каждой женщиной, каждый поцелуй, глубину глаз, вкус губ, каждый вскрик во сне. Впрочем, и эти мгновения внезапного отчаяния, тоже случались уже, и ему не было позволено забыть их горечь.

Он сказал ей правду. Вместо предложения, которое должен был сделать сегодня, и которого она так ждала.

Мари не заплакала и не упрекнула его ни в чем. Она швырнула розу наземь. И убежала, стуча каблучками. Он не стал ее догонять. Потом через каждые пять минут она звонила. Но он не отвечал на звонки. Он знал: он спас ее от себя. Это лучшее, что он мог для нее сделать. А роза? Безвинная и отвергнутая, она лежала на земле. И он понимал, что она тоже чувствует, и что она умрет. Он поднял розу и направился по бульвару в обратную сторону. Куда? Какая разница! День погас для него. Пожилая женщина сидела на скамейке одна. Он положил розу рядом с ней и, не оборачиваясь, пошел дальше. Он видел спиной, как она взяла цветок за стебель взволнованными пальцами, прижала лепестками к лицу, вдохнула тонкий аромат, и, улыбаясь таинственной улыбкой, положила розу себе на колени.

Он стоял на вершине холма.

Позади него, подсвеченный прожекторами, ослепительно-белый в ночи, возвышался громадный храм с вытянутыми к небу куполами, с узкими окнами и высокими арками, а перед ним, глубоко внизу, щедрой россыпью пылал город. В мерцании сотен тысяч искр неподвижно светлели крохотные озера света, окружая соборы и башни. Проблесковые огни взлетевшего самолета перемигивались вдали.

Он сел на ступень каменной лестницы.

Все здесь было залито электричеством. Тени от человеческих фигур множились обилием фонарей. Люди группами располагались на лестнице и газонах, поднимались вверх и спускались вниз, пили вино, шуршали шоколадом. Возле мусорных баков были навалены кучи бутылок. С одной стороны долетали звуки саксофона, с другой — скрипки. Тут и там вспыхивали стеклянные глаза видеокамер, жадно целясь в позирующие лица. Американцы, немцы, азиаты, негры с блестящей черной кожей, мускулистые арабы, мелкие воришки, снующие в полутьме, спортивная молодежь с рюкзачками за спиной и с наушниками на голове. Вдруг подъехала полиция, спугнула торгашей баночным пивом, и так же внезапно исчезла. Это был ночной Вавилон, шумный, восторженный, сияющий. И громадный собор на самой вершине холма как бы царил над ним, защищая от небесного гнева, ибо любовь была и здесь.

Молодой человек смотрел на огни города. Странное ощущение отстраненности от всего, что происходило вокруг, показалось ему приятным. Как легкое опьянение. Ни о чем не хотелось думать.

Аромат горячего кофе повеял откуда-то сверху.

Он повернул голову.

Ступенью выше, сидели двое русских. Они не были ни молоды, ни стары, — благостная середина жизни. Мужчина держал в руках два складных стаканчика, женщина наливала в них черный кофе из термоса.

И молодому человеку вдруг захотелось горячего кофе.

Он поднялся и, обогнув храм, пошел по узкой улице, сплошь заполненной людьми.

Еще работали художники, развесив подле мольбертов акварели с открыточными видами города, портреты и шаржи, яркий призывный свет исходил из раскрытых дверей магазинов. На полках десятками стояли макеты железной башни, висели на распялках футболки с эмблемами, лежали кепи, бейсболки и пиратские шляпы. Голоса, смех, мелькание взглядов, речь на разных языках. Уличные кафе, залитые в ночи теплым светом, манили запахами еды.

В одном из ресторанчиков он увидел пустой столик на двоих. Он заказал кофе, и, когда ему принесли маленькую чашечку, долго вдыхал в себя горячий горьковатый дух.

«Где я мог так же вдыхать запах горячего черного кофе? — мучительно пытался вспомнить он. — Это было совершенно точно! — И вспомнил. — На Эвересте. В базовом лагере».

Ледяная вершина горы вознеслась над ним. Густота синего неба казалась неправдоподобной.

— А вот и я! — услышал он рядом с собой веселый голос. — Давно ждешь?

Худенькая девушка, остриженная по последней моде почти наголо, в джинсах и расстегнутой на груди блузке, села напротив него,

оперлась локтями на столик, и положила подбородок на сомкнутые чашей ладони, обняв личико растопыренными пальцами. На одном из них сверкнуло дешевое колечко.

Молодой человек улыбнулся.

— Ты всегда так знакомишься?

Она кивнула.

— Правда, я здорово придумала! — сказала она.

— Правда, — ответил молодой человек. — Что ты хочешь?

— Шампанское. Только не «Брют»! И пирожное со сливками. Много взбитых сливок!

Он подозвал официанта и заказал.

— Как тебя зовут? — спросила она.

— Элли.

— Элли… — задорно повторила она. — Я такого имени не слышала.

— Такого имени нет, — сказал Элли. — Так меня в детстве называла мать. И оно осталось со мной навсегда.

— Симпатично! Мне нравится. Сколько тебе лет? Я просто так спрашиваю. Ты очень молодо выглядишь! Вдруг, мы одногодки! Мне двадцать один.

— Пятьсот, — ответил Элли.

Она звонко рассмеялась.

Официант принес бокал с шампанским и тарелочку с пирожным.

— Знаешь, у нас с тобой много общего, — проурчала она, сразу накинувшись на сладкое и пригибая наклоненную набок головку к столу, чтобы сыплющиеся крошки упали в блюдечко, и их можно было съесть. — Мне тоже иногда покажется, что я живу пятьсот… Или, даже, тысячу лет!

Элли достал телефон.

Сообщений не было

— От кого ждешь звонок? — спросила она, скосив на Элли сияющие глаза. — От *нее*? Угадала?

— Она не позвонит. И это хорошо, что не позвонит.

— Почему?

— Потому что она любит.

— А ты?

— А я больше не хочу никого любить.

Незнакомка положила остаток пирожного на блюдечко и распрямила спину.

— Как можно не хотеть любить? Разве есть что-нибудь лучше любви?

— Очень давно, маленьким ребенком, я увидел, как глубоко в небе течет река света. Она была наполнена каким-то неземным покоем и величием. И я удивился, что все, кто был рядом со мной, не восхищались ею, не поднимали к небу руки и не застывали в изумлении, запрокинув назад голову. Они были заняты своими делами, говорили о чем-то обычном, куда-то спешили. Словно ее не было над ними.

— Ты хочешь к Ангелам? — Юное личико ее выразило восторг. — Мы с тобой очень похожи. Я тоже верю в них. Правда, чуть-чуть. Как все. На всякий случай. Ведь в жизни всякое может произойти.

— Я не видел Ангелов, — сказал Элли. — Я просто хочу уплыть с этой рекой в далекий край, где я никогда не был, где все иначе, по-другому, где все для меня — неизвестность и тайна. И иногда мне чудится, что кто-то давно уже ждет меня там.

Он встал, положил на стол деньги.

— Не ходи за мной. Договорились?

И ушел, не оборачиваясь.

Прохладный ночной воздух окружил его. Здесь, на холме, в изогнутых улицах и на крохотных площадях всегда был особенный воздух. Он как бы складывался из самых разных воздушных потоков, обтекавших холм со всех сторон. И воздух одной улицы не походил на воздух другой. В одном было чуть-чуть горечи, в другом — чуть-чуть сладости.

Он шел вдоль стен, исписанных граффити, для чего-то касаясь рукой металлических столбиков, ограждавших тротуар. Людей становилось все меньше. Он прошел под густыми деревьями. Листва была снизу подсвечена желтым светом и сказочно шевелилась. Ему попался на пути изувеченный велосипед, прицепленный замком к решетке ограды. Переднее колесо и седло были сняты.

Плутая под стенами домов, Элли спустился с холма.

И вдруг его окатило волной радости. Сильно! Ярко! Так что он на мгновенье перестал дышать. Это было столь внезапное и давно забытое им чувство, что от неожиданности он остановился.

Волна тут же схлынула, но сердце еще продолжало восторженно дрожать.

Он огляделся в поисках причины.

Ничего особенного не было вокруг. Прямыми рядами огней уходило вдаль уличное освещение. Мягко светились вывески и витрины. Редкие прохожие подчеркивали своим одиночеством пустоту тротуаров.

На освещенной фонарями стоянке такси стояла единственная машина. Над ее лаковой крышей горел знак «Свободен». И это удивило Элли, показалось ему странным. Свободная машина в ночное время, особенно здесь, была редкостью.

Некоторое время он зачарованно смотрел на светящийся знак.

И вдруг в одну секунду у него созрел план. Он захотел взять именно эту единственную машину. И прямо сейчас уехать далеко в любом направлении. Это походило на бегство. Но ему весь день казалось, что он бежит. Не от чего-то бежит, а к чему-то.

Элли подошел к машине.

Шофер сидел за рулем. Им был плотный мужчина лет сорока пяти в темном пиджаке и белой рубашке в полоску.

В открытое окно Элли спросил, сможет ли он отвезти его в один из пригородов.

Шофер окинул Элли оценивающим взглядом и согласился. Стоявший перед ним молодой человек был красиво и дорого одет и совершенно трезв. А, так как расстояние до конечного пункта поездки было большим, он решил, что славно заработает этой ночью.

Элли забрался в машину и, раскинув руки, свободно расположился на широком заднем сиденье. Он сразу же уловил острый запах одеколона, исходивший от волос мужчины.

«И хорошо! — сказал он сам себе. — Пусть будет одеколон».

Потекли за окном почти пустые улицы, распахивались в блеске прожекторов необъятные площади, пролетали мимо освещенные памятники.

«Хорошо!» — повторил он.

И вдруг, как в пустоту, провалился в сон.

Ему показалось, что он сразу же открыл глаза, что он не спал и нескольких минут. Но за окном было черно. Асфальтовое шоссе стремительно набегало на радиатор машины в длинных лучах зажженных фар. Город остался позади.

Элли приблизил лицо к окну и, напрягая зрение, разглядел вдали темные холмы, а вблизи мелькающие деревья. Изредка попадались встречные автомобили. Они стремительно проносились мимо, ослепляя светом. Шофер сидел неподвижно. Его руки спокойно лежали на руле. Он знал свое дело. Машина шла быстро и ровно.

Велика была ночь вокруг Элли. Он вдруг ощутил, как она необъятна, как грандиозна ее высота, и откуда-то из-под облаков увидел внизу под собой крохотную машину, мчащуюся по шоссе сквозь пространство и тьму. И себя внутри нее на заднем сиденье.

А потом тьма стала разжижаться.

Ночь медленно перетекала на другое полушарие, открывая доступ новому дню.

По горизонту легла алая полоса.

— Остановите здесь! — вдруг сказал Элли. — Мне дальше не надо.

— Здесь поля и деревья! — удивился шофер.

— Я хочу смотреть, как восходит солнце, — сказал Элли. — Оно появится с минуты на минуту.

Машина остановилась.

Шофер обернулся к Элли и с недоумением посмотрел на него.

— Пожалуйста!

Элли достал бумажник, вынул из него все деньги, хотел было отсчитать из них нужную сумму, но вдруг подумал: «Зачем они мне на восходе Солнца?», и протянул всю пачку водителю.

Водитель начал пересчитывать деньги, уронил несколько купюр на сиденье и на пол, поднял их и начал пересчитывать заново.

— Здесь слишком много! — произнес он.

— Возьмите! — сказал Элли.

Он вышел из машины и побрел по шоссе вперед.

Шофер догнал его.

— Вы очень щедры! — быстро заговорил он. — Это выручка за несколько дней моей работы. Какое великолепное утро наступает!

— Великолепное, — согласился Элли. — И я желаю вам благополучно вернуться назад.

Наконец он услышал, как позади него громко хлопнула железная дверца. Завывая мотором, машина развернулась, и звук ее стал удаляться.

Когда Элли обернулся, она уже исчезла за поворотом.

Элли медленно шел по пустому шоссе. Он был совершенно один в утренней тишине. Он снял пиджак, продел средний палец правой руки в петлю вешалки и закинул пиджак за спину.

С каждой минутой становилось ярче и просторнее. И дышалось глубже.

Раскаленный край солнца огненным штрихом показался над горизонтом.

Небо в высоте начало наливаться голубизной.

«Как прекрасно! И как свободно! — почувствовал Элли. — Я словно освобождаюсь от какой-то тяжести, что так долго тяготила меня»

Золотой шар звезды медленно поднимался над планетой. Вот он выплыл полностью, оторвался от ее покатого края…

И, неотрывно глядя на него, Элли вновь остро почувствовал запахи. Они окружили его. Запахи земли, травы, цветов, холодной росы, листвы деревьев. Запахи ветра и неба. Ему почудилось, что он даже вдыхает запах взошедшего солнца.

Вечность струилась ему навстречу от земли, от неба, от солнца, от тишины.

«На Земле ли я? — подумал он. — Какой странный вопрос! И кто зовет меня? Ведь меня кто-то зовет?… »

Вдруг Элли почудилось, что он слышит топот и блеяние овец, идущих за ним.

«Милые мои! — обрадовался он.— Как давно я не был с вами! Не бродил по долине. Не чувствовал вашего теплого дыхания. Не заглядывал в ваши мудрые глаза!»

Потом, как-то незаметно, сам собою, шум их движения за его спиной перешел в шум дождя, дождь превратился в грохочущий ливень. Вот-вот он должен был накрыть собою Элли.

Что-то мощное стремительно приближалось к нему.

Элли обернулся.

Из-за поворота на полной скорости на него летел тяжелый армейский грузовик с крытым кузовом и зажженными фарами. Его мо-

гучий дизель рычал, как зверь. Элли мог успеть отскочить в сторону, но почему-то помедлил, словно ноги его онемели, и какая-то сила удержала его.

«Не надо шевелиться!» — подумал он.

Это все, что он мог успеть подумать. Грохот ливня накрыл его с головой. Он увидел, что за рулем грузовика сидит молодой парень в армейской форме. И одновременно ему почудилось, что это он сам, полный надежд, в сверкающих рыцарских доспехах.

Элли не услышал скрип тормозов, не почувствовал чудовищного удара многотонного железа. Непроницаемым кольцом вокруг него вспыхнуло пламя. Казалось, оно поднялось до самого неба. Из его кипящих вихрей выявились две человеческие фигуры. Одна была дряхлая старуха с провалившимися в черные глазницы бесцветными глазами, уродливым горбом и страшными язвами. Изношенная одежда свисала с нее лоскутами. Другая была юная дева невиданной красоты. В волосах, спадавших на ее плечи, пылали созвездья, а сверкающий наряд был весь из белоснежных роз, обсыпанных алмазной пылью.

— Ты моя жизнь. Я знаю, — произнес Элли, обращаясь к юной деве. — Ты все так же прекрасна!

— Нет, Элли, — ответила дева и подняла на него бездонные очи. — Ты ошибся. Я — твоя смерть.

Ее огненный взгляд переместился на отвратительную старуху.

— Твоя жизнь — она.

— Она?

Элли замер.

— Моя жизнь — ты?! — спросил он у старухи. — Но этого не может быть! Ты — смерть!

— Я — твоя жизнь! — хрипло закричала старуха. И ужасная боль прозвучала в ее крике. — Посмотри, что ты со мной сделал! Разве может человеческое сердце столько раз любить? Разве может душа человека вынести столько страданий и радостей! Как ты был жаден, Элли! Как ненасытен! Я не цвету больше. Я давно не приношу плодов. Я навсегда увяла.

Потрясенный, Элли стоял неподвижно. Кипящее пламя окружало его со всех сторон.

— Я не верю, — произнес Элли, улыбнувшись. — Нет, не верю. Ты обманываешь!

И обратился к прекрасной деве:

— Поцелуй меня скорее!

Сверкая белым нарядом, дева подошла к Элли, быстро приблизила свои чуть приоткрытые губы к его улыбающимся губам, нежно коснулась их…

И небесная река приняла Элли в светлые воды и унесла навсегда.

5

Был полный штиль.

Балтийское море лежало гладким стеклом до самого горизонта. Отражая заходящее солнце, оно казалось черным, как разлитая тонким слоем нефть. Лишь у самой береговой линии возникали на его поверхности низкие пологие волны. С тихим всплеском они заканчивали свою жизнь, наползая на мелкий песок. Вернуться в родную стихию у них не хватало сил, и песок вбирал их в себя.

Двое сидели на песке лицом к морю и смотрели на закат: мужчина и женщина, поэт и его возлюбленная.

— И все же, что такое — Золотая змея, несущая в себе яд бессмертия? — спросила женщина.

Солнце прямыми лучами проникало в ее глаза.

— Взгляни на набегающие волны! — сказал мужчина. — Огонь катится на их изгибах, то возникая, то исчезая? Золотая змейка из горячего золота оживает и умирает. Она — искушение воображением.

— Искушение воображением?

— Да. Жажда заглянуть туда, где существует совершенно все, где написаны все книги, открыты все законы, построены все города, и куда человеку не позволено проникнуть ни осязанием, ни слухом, ни зрением. Это, как сказочный царский дворец, вход в который заперт. Но если тебе выпало счастье отворить заветную дверь и с великим трепетом войти в его покои, перед тобой начнут открываться следующие двери, сами собой, и ты пойдешь через анфиладу сияющих залов беспрепятственно, восторгаясь их несметным богатством. Тебя пропустят.

— Ты думаешь, все, что способно создать наше воображение, где-то есть?

— Совершенно! Нам даже трудно представить. И это ни какой-то параллельный мир. Это внутри нас. В нашем дыхании, в бесконечной глубине наших глаз. В закате солнца. В блеске моря. Везде.

— А какая тайна была начертана на Золотой змее сокровенными знаками?

— Я не знаю, — улыбнувшись, ответил мужчина. — Она не открыла мне. Потому что тайна смерти — самое пленительное и самое непостижимое, что дано человеку.

Михаил МАРКОВСКИЙ

/ 1949–2018 /

МЕЛОДИЯ ПОЛУРАСПАДА

13 марта 2018 года в берлинской клинике умер Михаил Марковский. Сбылось предсказание, прозвучавшее в стихах, написанных мною более четверти века назад:

* * *

Брат мой, куда ты? Там плотный, как ватман, туман!
Там горизонт обезглавлен, там эхо безгласно…
Брат мой, куда ты? Опомнись! Пора по домам!
Эта дорога печальна, пуста и опасна.

Твои сильные плечи, школяр, непоседа, герой,
твое хрупкое сердце не выдержат этого бега…
Но тебе наплевать!.. Очарованный жуткой игрой,
ты уходишь… один… даже смерть для тебя не помеха.

Владимиру Загребе не знавшему лично Михаила (только с моих слов), удалось написать, тем не менее, проникновенные строки, характеризующие его как поэта:

> Марковская «оттепель» длилась лет двадцать пять. Это был странный и нелегкий путь из стихов, подворотен, споров, неожиданных встреч, вечных пьянок, кулачных боёв (Боря и его брат Миша — боксёры), подвальных литературных откровений и отклонений. Похоже, в этот период его жизни всё время звучала какая-то мелодия полураспада, несмотря на высокую ежедневную концентрацию алкоголя. Слава Богу, этот процесс «полу» пошёл не до конца и, как ни странно, этот «алкогольный» путь вывел их обоих к настоящей литературе... У братьев возникает странное эстетическое индивидуальное родство.

…Братья Марковские, приёмные дети киевских подворотен, несмотря на ежедневные «градусы», сохранили чистоту восприятия, свежесть и редкую индивидуальность и независимость. Где, в каком из многочисленных киевских кафе, в «Стекляшке», в «Леваде», в «Пассаже», в кафе «Бульонка» (не «Лимонка» — не надо), в «Л-3» создавались эти «дрожащие» строки братьев Марковских?

…….

Об этом (и о многом другом) стихи Михаила Марковского:

* * *

Приоткрыта форточка,
тянет холодком.
Ледяная корочка
на окне моём.

За окном морозно
вьюжно и темно...
Но ещё не поздно
мне допить вино.

И туда не поздно,
мне уйти, куда
весело и грозно
канула звезда.

* * *

Осенний морок, грязь и слизь,
дома, как будто из картона.
Я всё простил, когда зажглись,
огни прощальные перрона,

и профиль твой мелькнул в окне,
как кадр последний на экране…
Не померещилось ли мне?
Не обманулся ли в тумане?

…Киевские забегаловки, толпы длинноногих девчонок на Крещатике, жалкие, но такие милые задворки...

Затем долгие годы эмиграции.

Пока семья жила вместе, языковая «подпитка» помогала... А так, русского здесь ничего нет… Всё здесь другое... даже

яичница. Как это у Осипа: «И выпуклая радость узнаванья». Здесь она по Цейсу — вогнутая. Хотя четверостишья Михаила Марковского согревают даже здесь:

Я вспоминаю, как во сне:
сад пожелтевший — значит осень.
Из года в год забвенья снег
воспоминаний бред заносит.

Нет! Я не то, чтобы устал,
но сад осенний облетает...
Осенний воздух, как кристалл,
углы и грани обретает...

А вот стихи Нины Марковской, вдовы поэта:

В одно мгновение мир стал другим,
В нем нет тебя и наших перебранок.
Сдавило сердце обручем тугим:
Ведь ты ушел, любимый, слишком рано.
Ушел ты к вспыхнувшей заре небытия —
Родного дома ясное сиянье,
В наш первый дом к тебе спешу и я,
И между нами все короче расстоянье…

Михаил Марковский:

Не спеши, не торопись, не злись,
Шагом, постепенно, ненароком…
Что минуты? Годы пронеслись,
Обжигая губы горьким соком.
Прорастет забвения трава,
И, не утоливши нашей жажды,
Мы уйдем, останутся слова,
Не произнесенные однажды.

Арье БАРАЦ

/ *Иерусалим* /

ДЕНЬ ШЕСТОЙ[1]

Фрагмент

Франкфурт

В тот же пасхальный вечер в десятом часу пополуночи тридцатидвухлетний литератор и один из учредителей журнала «Московский наблюдатель» Николай Александрович Мельгунов вошел во франкфуртский собор Св. Варфоломея.

Вот уже скоро год как Мельгунов путешествовал по Германии, общался со знаменитостями, писал для своего журнала «Путевые очерки» и лечился от преследовавших его смолоду головных болей и невралгий у доктора Иоганна Генриха Коппа, прославленного медика, последователя Ганемана.

Зиму Николай Александрович провел неподалеку от Франкфурта, в Ганау, где располагалась клиника доктора Коппа. В Ганау было скучно, и Мельгунов довольно часто наведывался во Франкфурт, прозванный «германским Парижем».

Пасху Мельгунов решил встретить в Соборе Св.Варфоломея — не просто самом роскошном и крупном во Франкфурте, но и самом «историческом», — в нем на протяжении столетий помазывались короли священной римской империи.

Часа за полтора до полуночной пасхальной мессы Мельгунов подошел к алтарю спящей Марии и застыл от неожиданного зрелища.

Перед скульптурным изображением, облокотившись на невысокий деревянный бортик, молилась девушка, на вид лет двадцати. Она была повернута к Мельгунову вполоборота, и он мог хорошо ее рассмотреть, не привлекая ее внимания.

---

[1] Полностью роман «День шестой» будет издан в издательстве «Алетейя» СПб., в 2019 г.

Все в ней подчинялось какому-то глубокому молитвенному порыву. Ее нездешнее лицо с полуприкрытыми глазами и неслышно шевелившимися губами невольно завораживало, а ее изящная фигура, покрытая строгим лиловым плащом, казалось уносящейся куда-то ввысь.

«Мадонна, — подумал ошеломленный Мельгунов. — Подлинная Мадонна!»

Никогда Николай Александрович не испытывал такого странного порыва: хотелось повернуться спиной к мраморной Мадонне, и молиться вознесшейся в высшие миры живой девушке! Хотелось крикнуть: «Забери меня с собой! Забери туда, куда вознеслась!»

Мельгунов был настолько прикован к этому видению, что когда девушка поднялась с колен и отошла в один из проходов, он не мог вспомнить, находились ли рядом с ней перед алтарем другие люди.

Какое-то время он еще держал девушку в виду, но к началу мессы она затерялась среди прибывающей толпы.

После службы, когда уже все разошлись, Мельгунов вышел на бульвар Гроссер-Хиршграбен, и пройдя по пустынной аллее несколько минут, уселся на скамейку.

Над четырехэтажным домом напротив висела огромная полная луна, светившая столь ярко, что в ее лучах терялся свет газовых фонарей, щедро установленных вдоль всего бульвара.

Лунный свет всегда успокаивал Николая Александровича, настраивал на искания и размышления. Так случилось и теперь.

«Как странно, — подумал Мельгунов, — для плоти ночь — это время сна, а для духа — время бодрствования, время невероятных открытий и находок. Днем же все наоборот: тело трудится — потеет, а дух впадает в спячку…»

Мельгунов захотел уже было вернуться в гостиницу и записать неожиданно нахлынувшие на него мысли, как вдруг заметил медленно приближающуюся человеческую фигуру в сопровождении огромного черного дога.

Поравнявшись с Мельгуновым, человек остановился. То был невысокий, слегка сгорбленный старик, закутанный по самый нос шерстяным шарфом.

— Зитц! — скомандовал он собаке, которая немедленно уселась на задние лапы. Старик подсел к Мельгунову на скамейку.

— Какая луна, а?

— Да, редкой силы сияние, — согласился Мельгунов.

— Но с солнцем все же не перепутаешь?

— Что за странный вопрос?

— Вопрос политический, по меньшей мере, правовой. С одной стороны, вроде бы все ясно: одно светило яркое, другое тусклое, одно светит своим светом, второе — отраженным светом первого, но их видимый нашему глазу размер одинаков! Заметьте, когда они оба на небосводе, и одно на другое накладывается, то закрывает его,

как два талера. Так что, хотя солнце в 400 раз больше луны, оно расположено во столько раз дальше от земли, что оба светила выглядят одного размера.

— Верно, — согласился Мельгунов, — действительно, их иногда можно даже перепутать… в сумерки и при сильном тумане… Но интересно, кому это нужно, чтобы они казались нам одного размера? Или я глупый вопрос задал?

— Вопрос совсем не глупый. Если бы Шеллинг задался этим вопросом, вся его натурфилософия развивалась бы совершенно по другому… Был бы сейчас самым успешным философом, а он…

— Да, с Шеллингом нынче что-то не то происходит. Как объяснить, что этот некогда блестящий мыслитель за четверть века не издал ни одного труда? И при этом, как я слышал, сердится, что его обворовал Гегель? Хочется понять, в чем проблема — в субъективности или объективности, в его личной несостоятельности, или в общефилософских возможностях познания?

— Говорят, он работает над собранием сочинений, — многозначительно произнес старик. — Хочет одним разом всех удивить. Ой, получится ли?

— Так вы говорите ответ — в вопросе: отчего солнце с луной одного размера?

— Вот именно: отчего? Вот и подумайте на досуге.

Старик свистнул собаке и так же внезапно отошел, как и появился.

Мельгунова озадачил вопрос старика, но, вернувшись в «Отель де Руссе», он первым делом записал все же начавшую складываться у него на скамье фразу: «Для людей, живущих внутренней жизнью, свет дня так же тягостен, как и для птицы Минервиной, и они охотнее глядят на опускающееся солнце или на бледный свет луны, на эту божью лампаду ночи, которая осветит их духовный труд, работы ума их, вдохновенный плод их сердца. Они любят вечер и захождение солнца потому, что это вестники духовного дня».

Петербург

В тот же субботний вечер Пушкин с женой были с визитом у Карамзиных. Историк Николай Михайлович Карамзин, умерший десять лет назад, сыграл в судьбе Пушкина выдающуюся роль, и как человек, и как литератор, и даже как покровитель: в 1820 году, после того как на столе Александра I появился текст оды «Вольность», именно заступничество Карамзина спасло поэта.

Вняв увещеваниям придворного историка, «самовластительный злодей» отказался от своего первоначального решения заточить Пушкина в Соловецкий монастырь и вместо этого сослал его на Кавказ.

После смерти Карамзина Пушкин сохранил тесную дружбу с его семейством, с вдовой Екатериной Андреевной Карамзиной и детьми — Александром, Андреем, Вольдемаром и Софи.

В тот вечер собрались ближайшие друзья Александра Карамзина — Аркадий Россет, Михаил Юрьевич Виельгорский, чета Вяземских, Жуковский. Заглянул на тот огонек и поручик Жорж Дантес.

Покинул он, впрочем, компанию довольно рано — заторопился на пасхальную мессу, окинув на прощание Наталью Николаевну робким, но жарким взглядом.

Жуковский, поэт и царедворец, автор первого российского гимна, делился наболевшим:

— Вот вы говорите, только у нас цензура лютует… А в Германии ее что ли нет? Профессор Тюбингенского университета Давид Штраус издал книгу «Жизнь Иисуса, критически рассмотренная», так вся Германия гудит: как допустили? как просмотрели? где была цензура? Ну и, понятно, от преподавания автора отстранили. Лекций своих больше профессор не читает…

— Да что же он там такое написал? — удивилась Софи.

— Говорят, простым человеком Спасителя выставил, а чудеса объявил сказками!

— Господи помилуй! — перекрестилась Екатерина Андреева.

— Но сам я пока не читал. Только заказал по почте прислать…

— Отстаете от жизни, Василий Андреевич, — заметил Вяземский. — Книга очень серьезная, думаю, что в России один Чаадаев в состоянии написать на нее опровержение.

— Вы меня пугаете.

Заговорили об Антихристе и о том, что книга Штрауса — верный знак его скорого приближения.

— Раньше вот все считали, что Антихрист — Наполеон, — заметила Софи. — А теперь на кого думать? Может с востока его ждать?

— С востока? — усмехнулся Жуковский. — На восток, слава Богу, одна Россия простирается, уже с другого края к Западу подбираемся.

— Не понимаю я этих восторгов по поводу размеров страны нашей, — вяло и как бы в сторону возразил Вяземский. — Зачем нам Польша? Зачем Америка? Поляков лучше иметь в качестве явных врагов, чем при каждом держать часового и следить, что бы снова не восстали, а до Аляски столько лет скакать, что управлять этим краем решительно невозможно.

— А мне нравится, что есть Русская Америка, — не согласился Пушкин. — Мне про нее Федор Толстой много интересного рассказывал. Сбежал бы туда. Да и подумать только, на трех континентах страна наша раскинулась! А ведь размер страны влияет на самочувствие ее гражданина. Как по-разному человек чувствует себя во фраке и в домашнем халате, так же и на большой и малой земле.

— Вот и я как раз о том же! — подхватил Вяземский. — Размер России стал уже частью русской души — широкой и неспешной, от того у нас и от мысли до мысли пять тысяч верст!

Спор завязывался нешуточный.

Жена Пушкина Наталья Николаевна тем временем сидела в сторонке и листала альбом Софи.

— Мы не надоели тебе своими географическими изысканиями, дорогая? — спросил Пушкин, заметив скучающий вид жены.

— Можете продолжать, я вас не слушаю…

— Ну зачем же так, хочешь, пойдем домой? — предложил Александр Сергеевич.

Пушкин взял жену под руку, и они откланялись.

В экипаже Пушкин между прочим спросил: — Я смотрю, этот француз записался к тебе в поклонники?

— Ты заметил?

— Он ел тебя глазами.

Наталья Николаевна немного смутилась.

«Этот француз» не только воспылал к ней самой возвышенной страстью, но месяц назад объяснился ей в любви и, что самое главное, вовсе не оставил Наталью Николаевну равнодушной.

Этот молодой человек, ее сверстник, отличался редкой обаятельностью и пользовался всеобщей любовью. Как было устоять? Услышав, что она любима, Наталья Николаевна скоропалительно, словно кто-то тянул ее за язык, призналась в ответных чувствах, но заявила Дантесу то же, что и Татьяна, выведенная ее мужем в поэме «Евгений Онегин». Она сказала ему, что «не может быть счастлива иначе, чем уважая свой долг».

Теперь ее долг, по-видимому, состоял в том, чтобы открыть эту интригу супругу но, конечно, не всю. Признаться мужу в своем чувстве к Дантесу ей казалось совершенно излишним. Эта рана, сладостно ноющая в ее сердце, после шести лет брака с Пушкиным вправе оставаться секретом от мужа, которому и без того хватает забот: мелочная и унизительная опека правительства, вечные долги, цензура и Бог знает что еще.

— Как-то между двумя ритурнелями кадрили он успел наговорить мне множество восторженных слов... Но ведь не он первый, кто назвал меня прекраснейшей женщиной Петербурга.

— Давно ли приключилось это излияние?

— Не помню точно. Около месяца… даже больше.

— Около месяца?! А я заметил только теперь? Я, похоже, сам не в себе…

— Мне тоже кажется… Ты в последнее время взрываешься от всякого пустяка… Но не беспокойся по поводу Дантеса. Это совершенно невинный воздыхатель, который решительно ни на что не рассчитывает.

— Не понимаю, какие вообще могут быть расчеты на даму в твоем положении… — усмехнулся Пушкин, кивнув на семимесячный живот своей супруги.

Наталья Николаевна была права. Он был не в себе последнее время. После выговора, полученного от Бенкендорфа за пьесу «На выздоровление Лукулла», осмеявшую Уварова, последовало назначение Крылова в качестве цензора. После этого неприятности повалились одна за другой. Небрежность, допущенная Пушкиным при переводе «Вастола», была истолкована некоторыми как сознательный обман публики… Московский знакомый Пушкина Хлюстин сказал ему это в лицо, и после обмена резкими репликами дело чуть не дошло до поединка.

А теперь еще всплыла история с оскорбительными словами, якобы сказанными Наталии Николаевне Сологубом, и Пушкин уже твердо решил ехать к тому в Тверь, чтобы потребовать удовлетворения.

В этот вояж поэт рассчитывал отправиться после выхода в свет первого номера «Современника». Но тут как раз слегла мать, было очевидно, что долго ей не протянуть. Пришлось остаться в Петербурге и каждый день навещать родителей.

— Да, ты совершенно права, — Александр Сергеевич придвинулся к жене и взял ее за руку. — Я немного не в себе.

Где-то вдалеке раздался звон колоколов.

— Что это?! Ах, да — католическая пасха, — вспомнил Пушкин. — Наша — через неделю.

22 марта (3 апреля) (Воскресенье — Католическая пасха)

Франкфурт

В воскресное пасхальное утро, после ночи, проведенной за письменным столом, Мельгунов вновь направился в собор Св. Варфоломея.

Он постоял у всех алтарей, обошел все ряды, однако того увиденного накануне вдохновенного лица среди молящихся так и не обнаружил.

После службы Мельгунов перекусил в небольшом кафе, а затем снова вышел на бульвар Гроссер-Хиршграбен, и прогуливаясь по нему, вдруг лицом к лицу столкнулся со вчерашней незнакомкой.

Их глаза встретились. Оторопевший Мельгунов остановился и было потянулся к шляпе, однако, чтобы не выглядеть навязчивым, приподнять ее так и не решился.

Заметившая этот неловкий жест, Мадонна приветливо улыбнулась и, не замедлив шага, прошла мимо писателя.

Мельгунов несколько мгновений стоял в нерешительности, а когда оглянулся, никого позади себя не увидел.

По-видимому, девушка вошла в подъезд ближайшего четырехэтажного дома. Больше ей деваться было некуда, да и дверь, вроде бы, только что стукнула.

Ошеломленный Мельгунов с минуту смотрел на массивную дубовую дверь и вдруг заметил, что стоит перед домом Гете.

Великий германский поэт большую часть своей жизни провел в Веймаре, но родился он во Франкфурте, и именно в том доме, в котором, по-видимому, скрылась девушка, протекали его детство и отрочество.

В отличие от Веймарского дома, превращенного в грандиозный музей сразу после смерти поэта, дом во Франкфурте несколько раз перепродавался, и в нем обитали совершенно посторонние Гете люди.

Все в городе знали, что здесь когда-то жил автор «Фауста», а туристы постоянно останавливались напротив входной двери и, запрокинув голову, тыкали пальцем в мансарду. Но дом этот продолжал жить своей собственной жизнью, никак не связанной с жизнью великого поэта.

— Так она из этого дома! — сообразил Мельгунов, и только тут вдруг его осенило, что вчерашний старик, сравнивавший луну и солнце, был очень похож на Гете!

Облик великого поэта был знаком Мельгунову не только по литографиям. Однажды, семь лет назад, он встретился с ним лицом к лицу — когда передавал ему книгу от Проспера Мериме. Встреча была мимолетной, но черты гениального старца крепко впечатались в память Николая Александровича.

Да и как бы могло быть иначе? Ведь он воспринимал Гете как доверенное лицо Мирового Духа, как самое приближенное к Нему лицо, во всяком случае, из современников!

Когда в 1806 году наполеоновские войска заняли Йену, и Бонапарт самолично объехал город, то стоявший в толпе Гегель увидел в нем явление Мирового духа. «Мне посчастливилось видеть Мирового Духа, проезжающего верхом на лошади», восторженно писал он друзьям.

Мельгунов, хорошо уяснивший от Шеллинга, что в первую очередь именно поэты творят историю, пережил нечто похожее в ту минуту, когда обменялся приветствиями с 78-летним Гете.

И вот теперь это странное явление.

— Что же это такое было вчера? — испугался Мельгунов. — С кем я разговаривал? И действительно ли моя Мадонна исчезла за этим порогом?

Чтобы понять, почему Николай Александрович так встревожился, нам необходимо более подробно рассказать его историю.

* * *

В юности Мельгунов принадлежал к тому московскому кругу литературной университетской молодежи, в котором в 1823 году возникло тайное «Общество любомудров».

Восемнадцати-девятнадцатилетние юноши жадно проглатывали сочинения Канта и Шеллинга, а затем, засиживаясь за полночь, бурно обсуждали прочитанное. Собирались друзья обычно или в маленькой квартирке у Владимира Одоевского в Газетном переулке или в Кривоколенном переулке в просторном доме стихотворца Дмитрия Веневитинова — красавца с огромными голубыми глазами, осененными небывало длинными бархатными ресницами. Безнадежная любовь к очаровательной Зинаиде Волконской придавала его взору особую грусть.

Ни политика, ни городские сплетни, ни тем более карьерные вопросы никогда не обсуждались на этих вдохновенных собраниях — только смысл Поэзии, только «Одиссея Мирового духа» занимали умы любомудров!

Кто только из творческой молодежи не бывал на тех «тайных» встречах! Помимо «посвященных», помимо постоянных членов «тайного общества», куда наряду с Веневитиновым, Одоевским и Мельгуновым входили Хомяков и Киреевский, были и «вольные слушатели», такие как Погодин, Андросов, Шевырев, Кошелев. Сюда заходили Тютчев и Кюхельбекер, а Пушкин читал любомудрам «Бориса Годунова». Что же касается Николая Мельгунова, то он был своим в доме Веневитинова, и частенько прогуливался с его хозяином по Кривоколенному переулку. Обычно друзья выходили на Чистые пруды, усаживались на тенистую скамейку под липами, и рассеянно наблюдая за плавающими по пруду утками, самозабвенно обсуждали откровения Шеллинга и прозрения Канта.

— Понимаешь, — говорил Мельгунов, — шеллинговская идея полярности пронизывает всё, равно как и всё объясняет. Почему я не могу, например, до конца встать ни на сторону тех, кто ратует за исконную Россию, ни на сторону тех, кто молится на Запад? Шеллинг прав, это как полюса магнита, они немыслимы друг без друга. Распили железный брус, и две половины опять превратятся в тот же магнит. Точно также нельзя отделить Восток от Запада, православную церковь от католической.

— Я нисколько не спорю с идеей полярности, — печально опуская свои пышные ресницы, отвечал Веневитинов, — но обрати внимание, что никому другому не мешает при этом быть либо за Восток, либо за Запад. Только тебя одного это почему-то так смущает, только ты один хочешь их вместе удержать. Это просто твой характер. Ты хочешь всех на свете перемирить.

— Верно. Хочу! Какая мысль! И что в этом плохого?!

В 1824 году многие «любомудры», сдав специальный экзамен, устроились на службу в Московский архив министерства иностранных дел в Хохловом переулке. Мельгунов был среди них. Работы было немного, присутственных дней — два в неделю, и юноши, прозванные с той поры «архивными», продолжали и здесь свои философские изыскания. Продолжали их вплоть до 1826 года, когда разгневанный декабрьским мятежом государь запретил любые сомнительные сборы.

Но в следующем году пришло настоящее несчастье: Веневитинова арестовали по подозрению в связях с декабристами и три дня продержали в каземате, отчего у него расстроилось здоровье. После того как через месяц он простудился, то уже не встал с постели и скончался 15 марта 1827, не прожив и двадцати двух лет.

Все были ошеломлены и подавлены.

«Как вы позволили ему умереть?» — воскликнул услышавший горькую весть Пушкин. А Мельгунов, бывший всего на год старше своего безвременно ушедшего товарища, пребывал в настоящем отчаянии, все напоминало ему о друге.

Необходимо было как-то отвлечься. Через две недели после смерти Веневитинова Николай Александрович взял четырехмесячный отпуск и отправился в путешествие по России.

Осенью он как будто бы вернулся в колею, зима обошлась без каких-либо драматических происшествий.

Ровно через год после смерти Дмитрия — 15 марта 1828 года — Николай Мельгунов посетил с утра его могилу в Симоновом монастыре, а под вечер пришел посидеть на той скамейке на Чистых прудах, где они обыкновенно обсуждали мировые вопросы.

Поначалу Мельгунов грустно глядел на покрытый еще кое-где льдом пруд, а потом прикрыл глаза и стал читать по памяти стих, написанный его другом:

В вечерний час уединенья,
Когда, свободный от трудов,
Ты сердцем жаждешь вдохновенья,
Гармоньи сладостной стихов,

Читай, мечтай — пусть пред тобою
Завеса времени падет,
И ясной длинной чередою
Промчится ряд минувших лет!
Взгляни! уже могучий гений
Расторгнул хладный мрак могил;
Уже, собрав героев тени,
Тебя их сонмом окружил —

Узнай печать небесной силы
На побледневших их челах.
Ее не сгладил прах могилы,
И тот же пламень в их очах...

Мельгунов читал очень медленно, растягивая каждое слово, но при этом достаточно громко, чтобы его можно было услышать со стороны. После слов «И тот же пламень в их очах» он сделал паузу… и вдруг услышал, как чтение стиха продолжает уже не его, а чей-то другой голос.

Но ты во храме. Вкруг гробницы,
Где милое дитя лежит,
Поют печальные девицы
И к небу стройный плач летит:

Мельгунов открыл глаза и повернулся на звук. Рядом с ним на лавке сидел молодой человек. Картуз полностью прикрывал его волосы, ворот студенческого кителя был приподнят, глаза же скрывались за фиолетовыми очками.

Молодой человек продолжил чтение:

«Зачем она, как майский цвет,
На миг блеснувший красотою,
Оставила так рано свет
И радость унесла с собою!»

Ты слушаешь — и слезы пали
На лист с пылающих ланит,
И чувство тихое печали
Невольно сердце шевелит.

Блажен, блажен, кто в полдень жизни
И на закате ясных лет,
Как в недрах радостной отчизны,
Еще в фантазии живет.

— Кто вы? — с трепетом спросил Мельгунов.

Вместо ответа молодой человек снял фиолетовые очки, и Николай Александрович увидел те самые незабываемые голубые глаза и бархатные ресницы!

— Дмитрий! — воскликнул Николай Александрович.

Но в этот миг видение подернулось, заколебалось и стало расплываться. При этом зрачки его сузились в вертикальном направлении как у кошки и, блеснув этими жуткими глазами, явление исчезло.

* * *

Вскоре после этого явления Мельгунова стали мучать кошмары. Перед его глазами то и дело всплывало лицо Веневитинова с кошачьими глазами. Видение неотвязно преследовало его, заставляя просыпаться посреди ночи в холодном поту....

Мельгунов чувствовал, что начинает сходить с ума.

И тогда ему пришла идея описать загадочного темного духа, являющегося под видом различных умерших людей.

Повесть, названную им «Кто же он?», он начал словами: «Я лишился друга. Знавшие его не могут обвинять меня в пристрастии: то был ангел, ниспосланный на землю и отозванный прежде, нежели что-либо человеческое успело исказить его божественную природу. Стоило взглянуть на возвышенное, всегда восторженное чело его, чтобы прочесть на нем неизгладимое свидетельство его небесного происхождения...

Скорбь друзей покойного была невыразима; но из живой и сильной она обратилась постепенно в тихую грусть: печальное и вместе сладостное наследство! Прошло около года после его кончины; наступила весна.

Я прихожу в банк и, в ожидании выдачи денег, смотрю на пеструю, движущуюся толпу, которая ежедневно теснится в этом здании. Там встречаются все сословия, начиная от вельможи, закладывающего свое последнее имение, до простого селянина, который кладет в рост избыток своих скудных доходов. Меня развлекало это движение, коего пружиной была потребность денег, денег и еще денег. Двери почти не затворялись; знакомые и незнакомые лица мелькали передо мною: то веселые, то пасмурные, а чаще невыразительные, они появлялись и исчезали, как тени в фантасмагории. Но вот двери отворяются настежь; молодой, осанистый человек величаво сбрасывает с себя плащ на руки лакея и быстро проходит чрез залу в совет банка. Не прошло пяти минут, мой незнакомец возвратился из совета; я смотрел тогда прямо ему в лицо... то был покойный друг мой!».

Главным героем этой повести являлся демон Вашиадан, который приходит к человеку под видом утраченного им родственника или близкого друга. Мельгунов погрузился с головой в процесс сочинительства, это его развлекало и приносило успокоение.

* * *

Время шло, но отношение властей к поэтам не менялось. В ноябре 1830 года шеф жандармов Бенкендорф учинил Дельвигу ос-

корбительный разнос, и пригрозив сослать его в Сибирь, объявил о закрытии «Литературной газеты», в издание которой Антон Антонович вложил все свои силы и весь свой талант.

Через два дня поэт тяжело занемог, и так и не оправившись от болезни, скончался 14 января 1831 года, за месяц до женитьбы ближайшего своего товарища — Пушкина.

Как раз в те дни Мельгунов договаривался с издателем журнала «Телескоп» Николаем Ивановичем Надеждиным о публикации «Кто же он?». Повесть появилась в одном из осенних номеров.

Лишь через четыре года Мельгунов узнал, что в первую годовщину своей смерти Дельвиг явился своему другу Левашову.

* * *

Стоит ли удивляться тому, что последние странные события 1836 года во Франкфурте привели писателя в замешательство? Мельгунова охватил страх — неужели он опять сходит с ума? Что это за странные явления такие — «Мадонна», «Гете»? Неужели это видения? Неужели — Вашиадан?

Нет, нужно успокоиться, прийти в себя и помыслить трезво. «Мадонна» — это просто живая девушка, которая, по-видимому, живет в этом доме, а странный старик, рассуждавший о луне и солнце — просто странный старик. Возможно даже, он какой-то родственник Гете. Отсюда и сходство. Нужно держать себя в руках.

Герман ВЛАСОВ

/ Москва /

КНЯЗЬ НЕ ОТ МИРА СЕГО

1.

Не зябко? — Очень! Плащ без рукавов,
громаден капюшон, толстоподошвенны
не наши башмаки. Взгляд нездоров,
но — голубые, пристальные. Собственно,

вот человек сей — тих, белобород.
Мерлушечий тулуп напротив выискался:
— Из-за границы, знать? От докторов?
Швейцария, припадки? И не вылечили?

Переплатили, стало быть, втройне?
А мы им верим! — Сильно ошибаетесь
вы в случае моем. Сам Шнейдер мне
дал на дорогу денег. — Знамо, та еще

поклажа, всех вещей-то с узелок
линялого фуляра. — Вот ведь оттепель,
а если бы мороз? Отвык, не мог
и знать, что холод. Шаг чугунный, оторопь.

— Вот, в этом узелке вся суть: она —
не фридрихсдоры, не наполеондоры.
Что генеральша вам Епанчина? —
Последние в роду своем — без гонору;

Ни лев, ни мышь, а некий имярек.
Воксхол, на Вознесенский вышла троица.
Се узел, узелок, се человек
не ведает, на что и где устроится.

До пола не охотник и пока
не переулок, но — проспекты, улицы,
огни… А ты — ступай за мной, строка!
Еще покажется, еще стушуется.

2.

Польсти, польсти, — уж я тебя уважу!
А ты — польсти, потворствуй, хохочи.
Забуду все: семью, детишек даже.
Плясать пойду — ты только не молчи.

Ан нет вам! А и знаю! Будет точно:
фамилия Барашкова, а с Тоцким
знакомство водят. Раскапиталист,
член компаний, обществ. Через вист

вхож в превосходный дом Епанчиных
(из всех на выданье красивее Аглая.
Арманс, Коралию и Пацкую — всех знаю!),
дела свои проводят через них.

Сам заскорузл в подъячестве своем:
— В театрах на балет имеет ложу.
Чиновные глаза горят огнем:
— А с Лихачевым — нет. И быть не может.

3.

Дверь скрипнула, а дальше голова
просунулась, покои осмотрела.
Дверь распахнулась, обнаружив тело.
Фердыщенко, — оглашены слова, —

Жилец. Пришел предупредить: взаймы
мне денег не давать. Довольно странно —
одни буреют, а другие сразу
линяют ассигнации. Да, мы

соседи! Следом новый господин —
обрюзгший, тучный, с баками, усами,
огромными навыкате глазами:
— Сын друга моего. Ну, точно сын.

Носил-с вас на руках. — Но мой отец —
уже как с двадцать лет… Да, ровно двадцать

и месяца три. Доводилось знаться
и с матушкою. — Также не жилец:

спустя полгода от простуды… — Полно!
не от простуды, — с горя! Был влюблен
в родительницу. Князь дышал неровно,
через платок решил стреляться он.

Взвели курки, взаимно пистолеты
к сердцам приставили, лицо к лицу глядим,
но чудо — слезы брызнули, не дым.
Великодушие, объятия, обеты,

уступки, примиренье тут как тут.
— Папаша, вам накрыто, остывает!
— Несчастный Иволгин... Да разве так бывает?
С фамилией Фердыщенко живут?

4.

И часа четверти не минуло
после размолвки, как, спеша,
она спустилась вниз в гостиную
диковинку смотреть, ежа,

слёз не смахнув. А рядом вторит ей
подростков и прислуги хор:
заместо Шлоссера истории —
ежа купили и топор.

— Зачем топор? — Полтину спрашивал
мужик, а уж топор хорош.
Вот и подарок князю вашему —
с салфеткою в корзинке ёж.

Оспорила, вручила денег и
ежа просила передать
глубокого в знак уважения.
— Прикажете как понимать

всё это? Ёж тут — аллегория?
Досада? Шалость, может быть?
Но слышен смех ее и более
всего он украшает быт.

— Голубчик, только уж не вырони!
— Покойны будьте, донесу!

Мелькают в переулке спинами,
иголки держат на весу.

Получен ёж. В смущеньи деть его,
куда не знает. Но, смеясь:
— Как это хорошо, что дети мы!
— Не то: она вас любит, князь.

5.

Довольным засыпать,
вставать еще счастливей...
А хочешь испытать,
что в жизни этой ждет, —
есть местный водопад
холодный и красивый.
Он ниткою с горы
белесою течет.

Пенится и гремит,
всю ночь в деревне слышал,
как падает струя,
сердясь, о валуны.
Вода меня манит
и я сегодня вышел
гармонии просить
у водяной струны.

Мне думалось: он здесь,
всего в пяти минутах
ходьбы, а я иду
к источнику полдня:
— Он сможет остудить
горячечную смуту —
он брызгами обдаст,
он исцелит меня.

И вот, когда в груди
от слез тепло и тесно, —
я захочу взойти
на ту площадку, где
всей жизни впереди
встав у струи отвесной,
я снова был везде,
и не бывал нигде.

Там Город Золотой,
там всё смелей и краше
И над землей пустой
он высится, парит.
Там дети принесут,
слетев от старых башен,
как голуби, письмо
и запоет Мари.

6.

Будь по слухам ты князь или граф,
вещим ухом прислушавшись к раю —
напиши мне в альбом, каллиграф:
Я в торги не вступаю.

Ниже месяц поставь и число —
этот странный девиз и образчик
своеволия ляжет на дно
в кипарисовый ящик.

Да хоть *рыцарем бедным*, людей
принимая за робкое чудо, —
посмотри, сколько взрослых детей —
в никуда, ниоткуда.

Дура с сердцем и *дура с умом* —
душ двоих не настроены струны, —
всякий в ящике прячет своем
синяки от фортуны.

Так зачем человеков ловить, —
Галлилейское чудо не ново;
или можно на свете любить
и уток, и основу?

7.

Королева, содом, розы манят алькова.
Дышат, сердятся тройки. Молчит бубенец.
— Доползешь на Васильевский за три целковых?
— Доползет, о моя королева! Вконец

жечь постылую жизнь (ей цена — пол-копейки);
ночью — ветер в лицо, паровоз и река.
Кто там тихий сидит на кленовой скамейке,
чья там жданову жидкость разлила рука?

Но все это потом, а сейчас *колоритно*,
эфемерно, с романтикой вздорной внутри.
Посмотри, как пылает камин, как горит он —
нешлифованный этот алмаз. Посмотри:

отражается женщина в нем и блаженный
и суконный мужик от такой красоты —
удивленный и тихий, скупой и безмерный —
видят сон и смягчаются дивно черты.

май — июнь 2016

Светлана КОЛОКОЛЬЦЕВА

/ *Санкт-Петербург* /

ИСТОРИЯ СЕМЬИ

Бабка моя родилась во время еврейского погрома, в октябре 1904 г. в Белоруссии. Прадед, носивший непонятное моему детскому уху имя Ария-Ейх, был правоверным евреем, свято соблюдавшим все ветхозаветные правила. Никакой погром, несший пьяное цунами русских патриотов по пыльным могилевским улицам, не смог бы заставить его присутствовать при родах жены. Где он скрылся на это время, взяв сына, семейное предание не сохранило, но никогда не исчезнет наша фамильная благодарность их соседям — белорусам, разрешившим моей прабабке Басе-Гинде остаться рожать в их доме. Сами они ушли, заколотив крест-накрест досками двери и окна и велев роженице лежать на полу, чтобы ее не было видно в окно. По улице шла страшная орущая толпа, громившая топорами двери и окна еврейских домов. Прабабка рожала молча, боясь не то, что закричать, но даже застонать от боли. Слава Богу, это были уже вторые роды, и она смогла обойтись без посторонней помощи. Когда соседи на следующий день вернулись, она уже сидела и кормила ребенка. На полу. Родив в следующие 13 лет еще четверых — двух девочек и двоих мальчиков, она умерла в 1917, в эпидемию сыпного тифа, заразившись от своего старшего сына, того самого, спасенного отцом в 1904. Прадед похоронил и его, и жену на еврейском кладбище. С похорон шли молча. На этом детство моей бабки закончилось.

* * *

Ее отец, мой прадед, работал на бойне. В городе он пользовался уважением, как человек, умевший правильно забивать скот по всем правилам кошера, а еще за свой красивый певческий голос. То ли работу по характеру выбрал, то ли она наложила отпечаток на его и без того суровый нрав, но никаких вольностей и нежностей с детьми он себе не позволял. Жениться второй раз он не захотел, и все хозяйство легло на старшую дочь — мою бабку — Лию. Самому млад-

шему ее брату только что исполнился год. Представьте себе четырнадцатилетнюю девочку, которая должна приготовить еды на шестерых, постирать, убрать в доме (обнаружив беспорядок, пришедший с работы отец, мог стукнуть тем, что под руку попадалось, чаще всего поленом). Младший, годовалый Давид, плакал от невнимания, просился на руки, но сестры Дина и Мирра норовили удрать на улицу, чтобы не помогать по хозяйству, а Самуилу было четыре года, он часто и так тяжело болел, что дома его звали Алтер, имя-оберег, означающее «старый». После первого, умершего от тифа сына, прадед долго надеялся, что будет другой сын, но родились одна за другой три девочки, и когда, наконец, на свет появился Самуил, он стал всеобщим любимцем. Прозрачный, большеглазый, он единственный из всех детей унаследовал от отца чистый серебряный голос. Самуил служил перед войной в Брестской крепости. В гарнизоне его звали «второй Печковский». Судя по прозвищу, у него был тенор. Весной 41-го он сообщил, что его берут петь в ансамбль Александрова, но недели за три до начала войны он написал, что никого не отпускают, т.к. «чувствуется какая-то заварушка». Понятно, что он ничего не мог знать о планах Гитлера, но ощущение приближения катастрофы, видимо, было у многих. Имя-оберег Алтер не помогло. Из защитников Брестской крепости не выжил никто.

Но до этого было еще много чего, о чем бабка вспоминать не любила. Пока мать была жива, жили, конечно, бедно, но сытно. Благодаря тому, что глава семьи работал на бойне, всегда было можно подоить коров, так что и молоко, и сметана в доме не переводились, и кроме денег, за работу платили еще и мясом. Бабка вспоминала, как было вкусно, набегавшись, заскочить в курятник и выпить десяток яиц! Видимо, кур и уток за домашнюю живность особо не считали. Правда, обуви ни у кого из детей не было. Бегали босиком круглый год, а когда становилось совсем холодно, то только на двор по неотложной надобности.

Раз в неделю все дома на улице обходил околоточный. Он неторопливо, по-хозяйски заходил в дом, ласково и участливо расспрашивал хозяйку о здоровье, о детях, о хозяйстве… Тем временем рука его, сложенная лодочкой, находилась за спиной, готовая принять еженедельную мзду. Как только кто-нибудь из детей клал в нее заранее приготовленные пятьдесят копеек, она немедленно сжималась в кулак и исчезала в кармане. Блюститель порядка желал всем здоровья и шел в следующий дом. Детей настолько завораживало это мгновенное почти неуловимое исчезновение, что за право положить деньги в руку закона и порядка они регулярно дрались.

Пока не умерла ее мать, Лия успела два года походить в гимназию. Уж не знаю, что это была за гимназия, в которую взяли еврейскую девочку из уважаемой, но бедной семьи. По-русски в доме не говорили, так что в первый год ей пришлось тяжело, но на следую-

щий она язык освоила и потом по всем предметам хорошо успевала. Честно говоря, я с трудом понимаю, как можно всего за год научиться понимать, говорить, читать и писать на чужом языке на таком уровне, чтобы потом учиться на нем и получать хорошие оценки. Про это время бабка рассказывала, что в гимназии было очень интересно, и когда она стала ходить на уроки Закона Божия, то увлеклась христианством. Видимо, было в нем что-то такое, чего ей недоставало в иудаизме. Но беззаконный роман этот кончился аккурат на Пасху, когда батюшка на уроке всему классу стал рассказывать рецепт приготовления мацы, замешенной, как всем известно, на крови христианских младенцев. Лия, наивная, как любой ребенок, подняла руку и попыталась сказать, что батюшка ошибается, у них в доме всегда пекут мацу, но в тесто идет только мука и вода, и рецепт этот существует со времен бегства из Египта, когда христианских младенцев еще не существовало. Батюшка был очень добрый, он не рассердился, только сказал, что она может его уроки больше не посещать. С тех пор бабка и стала если не атеисткой, то человеком, равнодушным к любой религии.

* * *

В 1916 году в Могилеве располагалась Ставка Николая II. Он прибыл туда на роскошном царском поезде, ярко-синие вагоны которого вызывали восторг всех местных детей, независимо от их вероисповедания. Про поезд рассказывали какие-то сказки — что в вагонах везде ковры, мягкие кресла, а у царя с царицей даже серебряная ванна! Бабка, когда вспоминала это, всегда смеялась и добавляла, что в такую чушь только в детстве можно было верить. Каково же было мое удивление, когда пару лет назад я случайно наткнулась на описание царского поезда, построенного в 1896 г. «Вагоны поезда были окрашены в синий цвет, швы украшены позолотой. Все деревянные части были сделаны из индийского тика. Панели, потолки, и мебель были выполнены из полированного дуба, ореха, белого и серого бука, клена и карельской березы. Между купе императора и императрицы находилась биметаллическая ванна (снаружи медь, внутри серебро)».

Николай каждый день катался по главной улице в открытом экипаже и без охраны, но Лию потряс не он, а Алексей, которого дядька нес на руках в городской сад, а там колол ему орехи, сильно сжимая их в кулаке. Она не могла понять, почему такой большой мальчик не ходит сам. Объяснить это можно было только его царским происхождением. Описать Алексея она не могла — не запомнила ничего, кроме военной формы.

Про революцию бабка никогда ничего не говорила. Сейчас, когда умерли все, кто мог рассказать о тех временах, я ругаю себя, что не спрашивала.

* * *

С начала войны жить становилось все тяжелее, а к 1919-му году их, и без того шаткое благополучие кончилась. Работы на бойне почти не было, прадед не мог прокормить пять ртов. Лия исхитрялась готовить еду из скудного запаса продуктов. Особенно жалко было младших братьев, вечно голодных и норовивших удрать на городской рынок, где была возможность что-нибудь раздобыть. Иногда дядя, брат матери, Абрам Терман, отдавал какую-нибудь одежду, из которой выросли его дети, или присылал старшего сына, Файтеля — высокого кудрявого любимца всех окрестных девушек, помочь наколоть дров или починить забор. К 16-и годам Лия стала красавицей. Стройная, с зелеными глазами и каштановыми с рыжинкой волосами, она вызывала интерес многих молодых людей. За ней пытались ухаживать и русские юноши, но отец, увидев, как Лия разговаривает у калитки с «гоем» немедленно схватил полено…

К 18-и годам Лия от недоедания и непосильного труда начала падать в обмороки, а потом слегла. В это время следующей из сестер, Дине, уже было 16 лет, и теперь настала ее очередь заниматься хозяйством. Мирре было 13, Самуилу (Алтеру) — 7, младшему Давиду — 4. Спасибо дяде, который, несмотря на протесты мужа покойной сестры, велел забрать племянницу в свой дом. У него самого было пятеро детей — трое сыновей и две дочери. Это его старший сын, Файтель, приходил иногда помогать Лие. Следующие двое — Лева и Зиновий в 20-м году уехали в Петроград. Лева поступил в Военно-медицинскую академию, стал военным врачом, а потом остался там преподавать. Зиновий — тоже выбрал военную карьеру. В 42-ом он погиб на фронте.

Две младшие — Ханна 15-и лет и Эстер 17-и жили с родителями. Дядя считался зажиточным, т.к. держал кожевенную мастерскую, каких было много в Могилеве. Он был любознательным, в юности путешествовал, успел поездить по Европе. В доме было много книг на русском, польском и немецком. Когда привезли серую от слабости и почти умирающую Лию, ее (неслыханная роскошь!) поселили в отдельной комнате, освободившейся после отъезда Левы и Зиновия, и первый год не давали ничего делать. Она спала, ела, гуляла, сидела на берегу Днепра, но, главное, начала взахлеб читать.

* * *

Файтелю ужасно не повезло. Он, старший сын, должен был унаследовать отцовское кожевенное производство. Два младших брата с декретом об отмене черты оседлости обрели свободу. Отец отправил их получать образование. Файтель же работал с утра до ночи, чтобы посылать братьям деньги. Там, в Петрограде, они жили совсем другой жизнью, ходили по прекрасным улицам бывшей столицы, учи-

лись, посещали театры, лекции… А он, не менее способный и умный, все запоминавший с первого раза, должен был оставаться с родителями и сестрами в грязном и скучном Могилеве, одно название которого уже отдавало могильной затхлостью. Одно утешало — двоюродная сестра, зеленоглазая красавица Лия, бледная, печальная, вечно сидящая с книгой то на берегу Днепра, то в своей комнате на втором этаже у окна. Она, так рано лишившаяся матери и вынужденная из-за этого бросить учебу, сейчас впервые в жизни получила возможность не вскакивать с утра пораньше, чтобы всех накормить, обстирать, помирить, приласкать младших, дать поручения старшим — круглые сутки как белка в колесе, а читать, читать, читать…

* * *

Что меня всегда поражало, это ее безупречная грамотность. Она писала, в отличие от деда, без ошибок. Правда, у нее было за плечами два класса гимназии, тогда как у деда — года три хедера. Вообще, любовь к чтению — это у нас фамильное. Картинка из детства — обед, за столом бабушка с книгой, мама с книгой, сестра, быстро переворачивающая страницы…. Но когда я пытаюсь тоже открыть книжку, взрослые дружно мне это запрещают — за обедом читать нельзя! А почему им можно? Но до этого еще больше сорока лет…

* * *

Мне кажется, что не только сочувствие к племяннице заставило Абрама Термана взять ее в семью, но и дальний прицел удержать рвавшегося из дома первенца, Файтеля. За год Лию откормили, приодели, тетя относилась к ней как к собственной дочери. А Файтель по вечерам все дольше засиживался с ней, обсуждая прочитанное и мечтая о будущем. Мечты были общими — уехать в Петроград. Слава Богу, старый Абрам этого не знал.

Но была еще одна история, мысль о которой мучила его денно и нощно. Лева, умница и красавец, связался с циркачкой! Приехав в 20-м году из Могилева в Петроград, он попал на чемпионат по женской борьбе, проходивший, если верить моей бабке, в цирке Чинизелли. Среди прочих спортсменок там выступала высокая белокурая эстонка. «В конце девятнадцатого века в маленькой провинциальной Эстонии возникла целая плеяда выдающихся борцов и силачей. Достаточно назвать Георга Гаккеншмидта, Георга Луриха, Александра Аберга и «непобедимую пару» — Мария Лоорберг (Марина Лурс) и Аннета Буш». В начале 20-х эстонские борчихи все так же блистали на арене.

Лева, тихий провинциальный еврейский мальчик, таких женщин не видел никогда и, конечно, был сражен наповал. Его избранницу звали Вилли. Несколько лет он за ней ухаживал, надеясь получить разрешение родителей на этот сомнительный союз, но, в конце кон-

цов, поняв, что благословения не будет, сделал предложение. В 24-м году чемпионаты по борьбе в цирке были закрыты, что, видимо, тоже повлияло на Вилли, согласившуюся выйти замуж за юношу, который был на 12 лет ее младше. Ничего не знаю про эстонских родственников, но еврейские были в ужасе. Абрам Терман перестал читать Левины письма, демонстративно швыряя их в печку. Утешением был Зиновий, поступивший в военно-морское училище, да Файтель, которого нужно было срочно женить, чтобы, не дай Бог, не связался черт знает с кем. Опасения были не напрасны, т.к. Файтель всегда пользовался невероятным успехом у женщин.

* * *

Как выяснилось в 26-м, тот самый прицел сработал. Расцветшая было племянница вдруг начала снова бледнеть, чахнуть, пулей вылетала из-за стола во время завтрака… Тетка, родившая пятерых детей, быстро поняла, в чем дело. Молодых немедленно поженили. Лия была уже на третьем месяце. Между тем, беременность протекала очень тяжело. Токсикоз, начавшийся с первых недель, продолжался до самых родов. Кожевенное производство имеет ужасный запах. Кожи, отмокавшие в огромных чанах в специальных дубильных растворах, издавали удушающую вонь, от которой некуда было деться ни днем, ни ночью. Есть Лия не могла совсем. Все девять месяцев ее тут же рвало от любой еды.

Не знаю, насколько они были счастливы вместе. Дед — общительный, веселый, всегда мог найти общий язык с кем угодно, выкрутится из любой ситуации, достать любую вещь, прилично устроиться в любой обстановке. Бабка же характер унаследовала от своего отца. Чувства юмора у нее не было совсем, зато ответственности хватало на двоих. Но сейчас, в первые годы их совместной жизни, они по-настоящему любили друг друга. Впрочем, как я понимаю, бабка его любила до самой смерти.

Роды, начавшиеся 28-го октября, оказались очень долгими, у Лии, измученной тяжелой беременностью, совсем не осталось сил. Все было настолько плохо, что к вечеру 30-го вызвали врача. Девочка родилась маленькая, слабая, но шевелилась и сразу закричала. Каково же было изумление доктора, когда через полчаса на свет появилась и вторая девочка! Эта была настолько крошечная, что заставить ее закричать не удалось. Детей взвесили, первая весила 5 фунтов, вторая 4. На килограммы это примерно два триста и кило восемьсот. Учитывая время и место рождения, а также тогдашний уровень медицины, у второго ребенка шансов выжить практически не было. Врач сказал завернуть ее в рогожку и положить в уголок, пока он занимается роженицей и первым ребенком. Потом доктор ушел, а тетка сидела с заснувшей, наконец, Лией. И тут ее внимание привлек слабый писк, доносившийся с пола, где около кровати лежал остав-

ленный до утра сверток с мертвым ребенком. Перепугавшись, она немедленно послала старшую дочь Эстер догнать и вернуть назад врача, а сама поставила греть воду, чтобы помыть малышку. Доктор объяснил это чудо тем, что на полу было холодно, и это каким-то образом не дало ребенку умереть. Первую девочку назвали Басей, в честь моей прабабки Баси-Гинды, а вторую — Фанни в честь тетки, так счастливо услышавшей писк о помощи. Она и стала моей матерью. Что потом всех удивляло, это их невероятное внешнее сходство.

* * *

Шел 1927 год. Кожевенное производство приходило в упадок. У Абрама сил не было работать как раньше, а Файтель один не справлялся. Ханна и Эстер расцветали, но замуж в Богом забытом Могилеве выходить было не за кого — все умные и энергичные еврейские юноши уезжали из бывшей черты оседлости в недоступные раньше крупные города. Из Ленинграда приходили письма от Левы и Зиновия. Они звали приехать, обещали помочь с жильем. Отправить дочерей одних без старших было невозможно, бросить какое-никакое хозяйство и, как в омут, уехать всем — страшно. Лиин отец, Ария-Ейх, не хотел ни в какой Ленинград, но Дине был уже 21 год, (замуж давно пора!), Мирре 18, и обе рвались на свободу. Алтер недавно отметил бар-мицву, Давиду было 9, и он рос дикарем, лишь иногда забегая домой поесть. На общем семейном совете решили, что в Ленинград поедут Файтель с Лией, а дети пока побудут с бабушкой и дедушкой. Оставлять малышек не хотелось, но еще больше не хотелось оставаться в тихом провинциальном Могилеве, тогда как в Ленинграде строилась новая жизнь.

* * *

Осенью 28-го они приехали в Ленинград. И Файтель, и Лия конечно, читали про большие многоэтажные дома, про широкие проспекты, заполненные по вечерам шумной нарядной толпой, про «Невы державное теченье», но, как оказалось, совершенно не могли представить себе масштабов этого великолепия. Первые дни они только ходили по улицам, запрокинув головы, рассматривая диковинные маски, фигуры и орнаменты на фасадах. Далеко, правда, не уходили, боялись заблудиться. Лева, как и обещал, выхлопотал для брата с женой огромную комнату на Петроградской стороне. Целых 35 метров! Там, оставшаяся от прежних хозяев, стояла невероятного размера кровать (потому и стояла, что вынести ее не сломав двери, было невозможно) и такой же исполинский буфет с затейливой резьбой. Ни стола, ни стульев, ни занавесок… В квартире жило еще очень много разного народа, в кухне шумно ругались, занимали очередь в туалет и ни за что не открывали входную дверь на «чужой звонок».

Но Файтеля и Лию, которым было по 24 года, и которым керосиновая вонь примусов казалась амброзией по сравнению с вонью кожевенного производства, наличие в квартире водопровода и туалета восхищало, а возможность пойти в театр искупало вообще все неудобства. Файтель оказался завзятым театралом. Каждый свободный вечер он всеми правдами и неправдами добывал либо контрамарку, либо самый дешевый билет на галерку и за зиму пересмотрел весь репертуар Мариинки, В то время она называлась Государственный академический театр оперы и балета, потом прибавилось имя Кирова. Бабка предпочитала спектакли, в этом их вкусы расходились. Кроме того, дед был ужасный ловелас, а балерины не были правильно (с точки зрения провинциальной девушки) одеты. Голые ноги и символические юбки ее шокировали, так же, как и лосины мужчин. Бабка сердилась и ревновала. Не знаю, на какую фабрику они пошли работать, но там тоже кипела жизнь. Молодежь устраивала дискуссии, обсуждала политические события, соревновалась в перевыполнении всяческих планов… После тихого, как осенний пруд, Могилева, эта жизнь казалась единственно возможной и правильной.

Зима омрачилась известием о смерти Абрама Термана, отца Файтеля. Он простыл, промочив ноги и слег с воспалением легких, которое тогда было смертельным. На следующий день умерла от разрыва сердца, как тогда называли инфаркт, его жена. Файтеля на похороны не отпустили с фабрики, Леву с Зиновием — со службы, так что даже попрощаться с родителями они не смогли.

Там в Могилеве оставались дети, которых нужно было срочно забрать. Ханна и Эстер, давно мечтавшие о возможности учиться и работать, заколотили опустевший дом, подхватили девчонок и приехали в сказочный Ленинград с фанерными чемоданчиками, в которых, завернутые в вышитые полотенца, лежали серебряные ложки-вилки и кое-какая одежда.

* * *

Теперь буфет, как ледокол, стоял посреди комнаты. В его красновато-коричневый бок вогнали гвоздь, второй — в оконную раму, натянули веревку, державшую занавеску и, казавшаяся раньше огромной, комната сразу съежилась. Эстер с Ханной спали на полу на набитых соломой матрасах, а дети на огромной кровати вместе с родителями. Им шел уже третий год. Родившаяся первой Бася, была шумной, крикливой, никого не слушалась и, благодаря необыкновенной сообразительности, ухитрялась залезать в самые неожиданные места. Фанни же, наоборот, была послушной, тихой, могла часами играть на полу и плакала, только если сестра ее обижала. За зиму и вся остальная могилевская родня, собрав все самое ценное — серебряные ложки и пуховые подушки, тоже приехала в Ленинград. Комната вдруг оказалась невозможно тесной.

Тяжелее всех приходилось Фателю. Он единственный работал и приносил домой деньги. Тесть был постоянно недоволен абсолютно всем. Разбойницу Басю называл «газланд» — злодейка, дочерей ругал за то, что не сидят дома, как порядочные еврейские девушки. Соседи по коммуналке вызывали у него ужас и отвращение, т.к. не соблюдали кошер. А еще Давид мог исчезнуть на несколько дней, потом неожиданно прийти, чтобы просто посидеть рядом с Лией, положив ей голову на плечо. Любил он только тихую и застенчивую Фанни, гладил ее по кудрявой головке, приговаривая непонятное «голдене кинд». Много позже Фанни узнала, что это значило «золотой ребенок».

Ханна пошла на геодезические курсы. Учеба ей очень нравилась, но приятнее всего, что там училось много молодых людей, у которых Ханна пользовалась большим успехом. А Эстер, у которой было слабое сердце, пошла на курсы медсестер и ее рассказы о практических занятиях вызывали у Арьи-Ейха возмущение, а у Лии тоскливое желание изменить свою жизнь, тоже куда-то ходить, чему-то учиться, делать полезные и важные вещи, а не готовить бесконечные обеды и отстирывать ежедневно горы грязной одежды в большом цинковом корыте, которое ставилось на две табуретки.

* * *

Следующим летом произошло событие, которое Бася всегда вспоминала со смехом, а бабка с ужасом. Стояла жара, Лия, уложив днем детей спать, ушла на кухню. Она отсутствовала минут 15, но когда вернулась, увидела Фанни, сидящую на подоконнике, свесив ноги на улицу. Баси в комнате не было. На вопль: — Где Бася?! — тихоня Фанни ангельски улыбнулась и махнув ручкой в сторону улицы, коротко сказала: — Там! Потом Лия помнила только свой крик, когда неслась вниз со второго (слава Богу!) этажа. Там под окном стояла высокая железная бочка, полная черной ржавой воды, а рядом топорщился острыми углами какой-то хлам, перемешанный с осколками битого стекла. Какой ангел подставил ладошки под падающего из окна ребенка? Но Бася упала на небольшую кучку пакли, спасшую ее от тяжелых травм. Этот случай положил конец бабкиному терпению, и они с Файтелем начали искать другое жилье.

* * *

На Крестовском острове, бывшем до революции зоной отдыха и загородных прогулок горожан, Файтель нашел квартиру в двухэтажном особняке, оставшемся от «бывших». На втором этаже жили немцы — мать, отец и двое детей-подростков, а первый отдали молодой семье. Вход с улицы вел в тесные сенцы, первая комната большая, с огромной изразцовой печью. В ней поставили обеденный стол и кровать для детей. Вторая маленькая — спальня Файтеля и Лии. Но

главное — крошечная, но своя, отдельная кухонька! Правда, туалет был общий, во дворе. Какое это было счастье — жить своей семьей, одним, без всех сестер и братьев, а главное, без отца, с его тяжелым характером.

Первое, за что взялась Лия, это за уборку. Несколько дней она отмывала пол веником-голиком с песком, чтобы отчистить его от многолетней грязи. Потом взялась за печку, изразцы которой были подозрительно серо-коричневые. В процессе мытья верх печки побелел, но низ, примерно метра на полтора, остался серым. Соседи сверху объяснили, что это следы наводнения 24-го года, когда вода в Неве поднялась почти на четыре метра.

Файтель сколотил из досок щит, поставил на чурбаки, получилась кровать. Первое время спали на сенниках. Оставлять детей было не с кем, поэтому Лия все так же сидела дома. Их часто навещал Зиновий, очень любивший и Лию, и девочек. Те тоже его обожали. Их любимым развлечением было оседлать его сапоги, чтобы он при каждом шаге поднимал их в воздух.

В начале 30-х в Ленинграде стало очень плохо с едой. Мама говорила, что они все время были голодные. Спасибо Леве, который смог устроить их в «очаг», как тогда называли детские приюты. Этот приют был от Военно-медицинской академии, и в нем кормили необыкновенно вкусной едой, которую Фанни с Басей вспоминали всю жизнь. Три раза в день им наливали по тарелке жидкого пшенного супа на воде с селедкой. Дети пробыли там несколько месяцев, пока Файтель не устроился на хорошую работу. Жизнь постепенно налаживалась.

* * *

Леве дали квартиру в доме от Академии, в которую он въехал с Вилли. У них уже было двое детей. Пламенный коммунист, Лева назвал детей в духе времени. Сына — Ким, что было аббревиатурой коммунистического интернационала молодежи, а дочь — Мира, убрав из имени вторую ветхозаветную «р» и дав значение мира во всем мире. Вилли скучала. Ни готовить, ни стирать, ни убирать, ни возиться с детьми она не умела и не хотела уметь. Единственным существом, которое она любила, была маленькая болонка, не отходившая от хозяйки. Так они и сидели целыми днями в кресле у окна — Вилли с неизменной сигаретой и рядом преданная собачка. Ким научился читать в 4 года и, как мог, развлекал младшую сестренку, пока нанятая Левой домработница готовила и наводила в порядок. В этой квартире Мира дожила до «лихих 90-х», когда какой-то предприниматель не выкупил ее, чтобы открыть магазин.

Ханна прибегала к Лие на Крестовский советоваться. За ней ухаживали двое молодых людей. Один из них «свой» — еврей, работал геодезистом. Ханна ему очень нравилась, он красиво ухаживал,

приглашал погулять, иногда дарил цветы и не позволял себе ничего лишнего. Второй — морской офицер, Алексей Тихомиров. Маленького роста, на полголовы ниже высокой и статной Ханны, он не очень надеялся на согласие, но предложение сделал по всей форме. Ханна терялась в сомнениях. Надежда была только на Лию, самую старшую в семье. Лия, нахлебавшаяся от своего неотразимого Файтеля, дала совет выбирать не красивого, а надежного. А то, что не еврей, так это теперь во времена всеобщего интернационализма значения не имеет. Ханна совет приняла и вышла за Алексея, который любил ее больше жизни. Остальные девочки тоже повыходили замуж. Мирра — в Москву, Дина — за торгового работника, ставшего довольно быстро директором магазина и всю жизнь жила припеваючи, пока мужа, после очередной ревизии не свалил паралич. Он пролежал десять лет в постели, лишенный возможности двигаться и говорить. Счастье, что Дина смогла припрятать какие-то деньги, видимо не маленькие, раз их так надолго хватило.

* * *

Время шло, дети росли. Бася опережала Фанни в развитии примерно на два года. В те времена близнецы были редкостью, поэтому их тщательно изучали. Раз в три месяца нужно было ехать в больницу, где девочек взвешивали, измеряли рост и заставляли отвечать на кучу вопросов. В школу их приняли в разные классы, т.к. Бася больше знала и умела читать слоги. Но за год прилежная и трудолюбивая Фанни ее догнала и дальше они, к сожалению, учились уже вместе. Почему к сожалению? Бася была хулиганкой и всегда придумывала что-нибудь интересное, но противозаконное. Быстро смекнув, что количество походов на осмотры к врачам никто не считает, она регулярно подбивала Фанни прогуливать школу. Как-то им купили одинаковые светлые пальтишки с карманами и пушистыми помпонами вместо пуговиц. Пальтишки были чудо, как хороши, и девочкам очень хотелось в них пофорсить. Но в этот день все чуть не кончилось трагически. В парке у стадиона «Динамо», где они любили играть, были огромные ямы, полные воды. На краю одной из ям лежал большой лист железа. Ребята, а прогульщиков собралось человек 10, решили покатать на нем по воде Фанни, которая была самой маленькой и легкой. Она осторожно ступила на лист, и дети оттолкнули его от берега. Лист качнулся, черпнул воды и немедленно пошел на дно. Закричали все, кроме Фанни. Она так перепугалась, что не могла издать ни звука. На крик прибежали рабочие, строившие что-то неподалеку, вытащили насквозь промокшую девочку, отругали всех и отправили домой. Дома им влетело еще раз и за то, что прогуляли школу, и за обман с медосмотрами, и за игры на воде и за промокшие и безнадежно измазанные в грязи пальто.

* * *

К 36-му году жизнь наладилась. Файтель так хорошо зарабатывал, что на лето стали снимать дачу в Вырице. Хозяйка сдавала полдома — горницу с большой печкой и веранду. На «городских» деревенские поначалу приходили смотреть, как в зоопарк. Во-первых, две одинаковые девочки, черноволосые и кудрявые с непонятными именами, а во-вторых, совершенно фантастическая вещь, периодически сушившаяся на бельевой веревке и вызывавшая всеобщий интерес — женские штаны! Хозяйка Валентина, молодая баба, живо перекрестила бабку из Лии в Лизу, что было проще и понятнее. Забавно, что с этого времени все новые знакомые обращались к ней именно так, официальная же форма обращения звучала — Лия Ефимовна. Хозяйке так запали в душу эти штаны, что она, тяжело вздыхая, достала из сундука кусок фланели и попросила бабку сшить ей такие же. Получив через пару дней вожделенный наряд, она пошла по деревне хвастаться обновой, задирая в каждом дворе юбку до пояса и вызывая черную зависть соседок. Те, конечно, тоже захотели принарядиться, но Валентина выставила ультиматум: — Будешь им шить — выгоню!

У Валентины к 28-и годам было уже шестеро детей погодков. Старшая, десятилетняя Маруся готовила, отмывала добела веником-голиком полы, полола огород, относила родителям в поле обед и когда успевала, присматривала за младшими. Бабка, помня свое трудовое детство, старалась ей помочь. Но больше всего ее беспокоил самый маленький трехлетний Васька, целый день сидевший в доме. Его называли «сидень» потому, что он так и не встал на ножки. Игрушек у него не было, жил он в ящике, сколоченном отцом. В нем же и спал. Чтобы не заниматься лишней стиркой, Маруся стелила в ящик солому, которую не всегда успевала менять. Бабка пришла в ужас, увидев немытое, в зеленых соплях существо, которое даже не разговаривало. Она забрала мальчика к себе в комнату и стала по-человечески кормить, а еще, увидев, что у ребенка страшный рахит, стала выносить его на солнце каждый день. Девочки с ним играли и разговаривали. К концу лета Васька заговорил и пошел!

Валентина рыдала в голос, благодарила Лизу и обещала возить ей в город подарки. Слово она сдержала и каждый раз, приезжая в Ленинград, первым делом демонстрировала Лизе штаны в доказательство того, что она их до сих пор носит не снимая! Обычно она привозила картошку и сало. Некошерное сало дед менял на что-нибудь полезное, а картошку съедали сами. В 49-м, вернувшись в Ленинград после эвакуации и тюрьмы, Лиза поехала в эту деревню, но обнаружила только остовы русских печей в зарослях ольшаника, затянувшего пепелище. Лизе сказали, что все жители погибли, и некому было восстанавливать это мертвое место и заселять его.

* * *

Летом 37-го Лиза забеременела. Ханна, которая всегда безошибочно угадывала, кто родится, сразу сказала, что будет мальчик. Файтель перестал по вечерам куда-то исчезать, приносил то цветы, которые рвал по дороге, то что-нибудь вкусное. Смастерил из большого ящика удобную люльку, достал где-то отрез ситца на пеленки. Беременность, не в пример первой, протекала легко — ни токсикоза, ни слабости… Даже неугомонная Бася вела себя прилично — школу не прогуливала и не подбивала Фанни на обычные проказы. По воскресеньям Файтель забирал девочек и шел с ними или в оперный — музыку все любили страстно!, или просто гулять по городу. Лиза очень любила эти редкие часы одиночества, когда можно было спокойно почитать или просто посидеть в тишине.

В марте родился долгожданный мальчик. Назвали его Натаном. Ребенок получился крупный, поэтому роды были тяжелыми. Через неделю у Лизы начался мастит и поднялась температура. Антибиотиков еще не изобрели, температура не опускалась. На правой груди образовались два страшных нарыва, из-за которых сцеживать подходившее молоко было нестерпимо больно. Файтель, закутав маленького в одеяло, повез Лизу в больницу, слава Богу, что туда ходил трамвай. Басю с Фаней оставили дома одних. Нарыв вскрыли, рану прочистили, за ночь температура упала и Лизе разрешили вернуться домой, но с условием каждый день ездить на перевязки. Файтель договорился на работе об отпуске на две недели. Она сцеживала в маленькую бутылочку молоко для сына, ужасно беспокоясь, чтобы Натан не остался голодным, и ехала в больницу в ледяном, неторопливо содрогающемся трамвае. Файтель оставался с малышом — кормил, пеленал и был ужасно горд своим отцовством. Дорога занимала больше часа в один конец. Врач раз за разом вскрывал нарыв, полный накопившегося за сутки гноя, чистил рану, и полумертвая от боли и усталости Лиза, дожидавшись трамвая, вконец замерзнув, ехала домой.

Через неделю этих мытарств, когда грудь перестала нарывать и болела гораздо меньше, Лиза вернувшись домой, застала Файтеля спящим. Из-за ее болезни по ночам к ребенку вставал он и, конечно, не высыпался. Натан тихо спал в люльке. Лиза на цыпочках, чтобы никого не разбудить, подошла к ребенку и вдруг с ужасом поняла, что он не дышит. Схватила его на руки, но мальчик был уже холодный. Она осела на пол, прижимая к груди малыша, и даже не закричала, а завыла и заскулила по-звериному… Файтель вскочил, еще не понимая, что произошло и бросился к сидящей на полу жене.

Как потом выяснилось, Файтель, покормив сына, забыл подержать его вертикально, чтобы тот срыгнул, и сразу положил в люльку. Ребенок срыгнул лежа. Если бы он лежал на боку, все, может, и обошлось бы, но Файтель положил его на спинку, и малыш просто за-

хлебнулся. Если бы Файтель не уснул от усталости сам, он бы услышал сбой дыхания или кашель, но что толку теперь перебирать все эти «если»… Удар оказался такой силы, что Лиза очень долго не могла от него оправиться и стала спать с девочками на супружеской кровати, отправив мужа ночевать в большую комнату.

* * *

Странно, но ни Фанни, ни Бася этого эпизода своего детства не помнили, а бабка не забывала никогда, и если она была чем-то недовольна, всегда тяжело вздыхала и с тоской говорила: — Вот был бы у меня сын, он бы все сделал (купил, принес, привез, починил, позаботился… — в зависимости от ситуации).

Файтель, пытаясь хоть как-то загладить вину, снял на лето дачу в Павловске. Туда ходил поезд и он мог часто приезжать к семье. Мама рассказывала, что в конце железнодорожного пути находился огромный деревянный круг. Паровоз, оставив вагоны на станции, въезжал на него по рельсам, останавливался, и рабочие поворачивали круг вручную, чтобы развернуть паровоз в обратную сторону. Потом стрелочник переводил его на параллельный путь, паровоз проходил мимо состава, стрелку снова переводили, после чего паровоз, уже по главному пути подходил к составу задним ходом, и сцепщики с грохотом и лязгом соединяли его с последним вагоном. Детям никогда не надоедало это представление. Сейчас такой поворотный круг можно увидеть разве что в железнодорожном музее.

* * *

Осенью 38-го произошли сразу два важных события. Файтель купил пианино «Красный октябрь». Оно было огромное, черное и сразу заняло полкомнаты. А еще он нашел пожилую немку, которая взялась учить девочек игре на фортепьяно, а заодно и немецкому языку. Немка была бледная, худая, в протертой почти до прозрачности юбке и траченной молью шали. Лиза немку жалела и всегда приглашала к столу. Та от приглашений не отказывалась, но каждый раз, видя, как Лиза нарезает хлеб толстыми ломтями, брезгливо морщилась и, поджимая губы, цедила: — Хлеб надо нарезать тонкими ломтиками, а так режут только в деревне! Бабка, вспоминая это, всегда смеялась: — Я ей специально потолще резала, видно было, что она голодная, а она меня учить начинала!

Фанни играть нравилось, она с увлечением гоняла вверх-вниз гаммы, которые не казались ей скучными, а Басе зубрить нотную грамоту надоело очень быстро, поэтому она научилась подбирать на слух любую мелодию. Чистый красивый голос она унаследовала от деда, и умение аккомпанировать себе на фортепьяно сразу прибавило ей очков на школьных вечерах. У Файтеля слуха не было. Вернее,

слух был, но правильно спеть ни одну мелодию он не мог, несмотря на то, что исполняемые по радио арии из опер он узнавал безошибочно и музыку любил самозабвенно.

Школа на Крестовском была, видимо, очень хорошей. Я сужу по тому, что и через 60 лет мама помнила если не имена, то прозвища всех учителей. Кстати, большинство преподавателей были мужчины. Все они были люди немолодые, и, скорее всего, работали еще в царских гимназиях. К ученикам относились с уважением, даже к отъявленным хулиганам. На уроках математики, которые вел маленький, не выше своих учеников, человечек, получивший за это историческую кличку «Пипин короткий», тихо сидели все, так было интересно. Преподаватель литературы, зная, что многие дети не любят читать, часто читал вслух отрывки, либо предлагал ребятам читать по очереди. Вскоре всем так понравилось красиво и выразительно произносить тексты, что это вылилось в организацию школьного театра. У Баси была прекрасная память, все прочитанное она запоминала очень быстро, что позволяло ей не делать устные домашние задания. Фанни же приходилось все зубрить. Театром заболели все. К каждому празднику делали новую постановку. Сами шили костюмы, рисовали декорации, репетировали до поздней ночи. За неуспеваемость или плохое поведение из театра могли выгнать, и это было самым страшным наказанием. В мае 41-го, обсуждая планы на следующий учебный год, решили поставить «Евгения Онегина».

* * *

На это лето дачу снимать не стали. Девочкам было уже по 14 лет, осенью должно было исполнится 15. Летом на довоенном Крестовском было не хуже, чем в деревне. Да и Лиза теперь работала бухгалтером в домоуправлении. Когда 22-го висевший на столбе репродуктор объявил о начале войны, все были уверены, что это ненадолго. Файтель сразу ушел на фронт. Его послали на север, в Мурманск. Там он и прослужил всю войну. В конце июля начальник домоуправления подошел к Лизе и, оглянувшись, не видит ли кто, тихо сказал ей, чтобы собирала детей и уезжала в эвакуацию. Он был на партсобрании, где им сказали, «что в Ленинграде будет плохо» и посоветовали близких из города отправить. Лиза сначала не поверила, но Лева тоже велел срочно собираться. От Военно-медицинской академии формировался поезд, и всем офицерам велели отправлять с ним семьи.

Пианино у них конфисковали в какую-то военную часть и выдали расписку, что вернут по окончании военного времени. Инструмент мужественно выдержал и блокадный холод, и многократное перетаскивание с места на место. Только черная полировка облупилась и рама треснула, из-за чего оно стало плохо держать строй. Это пианино стало проклятьем моего детства,

единственной радостью, которую оно могло доставить, это возможность прыгать с него через всю комнату на кровать (конечно, если никого из взрослых не было дома).

Лиза вымыла в доме полы и положила на стол чистую скатерть, она не любила приходить в неубранную квартиру. Девочки не хотели класть в чемоданы зимние вещи. Чего ради? Ведь осенью все должны были вернуться обратно. Какое чутье подсказало Лизе забрать все столовое серебро и запас постельного белья? Но эти вещи помогли им выжить в Сибири, где они пробыли все пять военных лет.

* * *

Лева, собравший всех сестер — и родных, и двоюродных, и выбивший для них места в военном эшелоне, свою семью отправить не смог. Вилли наотрез отказалась ехать. Ей было так спокойно и уютно в любимом кресле с верной собачкой, так комфортно с привычной домработницей, что одна мысль о том, чтобы трястись в грязи и духоте общего вагона черт знает куда, вызывала в ней глубочайшее отвращение. Киму должно было скоро исполниться восемнадцать, и он рвался на фронт, а Мира без любимого брата вообще никуда не ходила. Растерянный Лева посадил всех в вагон и, не дожидаясь отправления, бегом помчался на службу. К обычному преподаванию прибавилась работа в госпитале. Раненные прибывали каждый день, врачей не хватало.

«Всех» было двенадцать человек. У Лизы и Дины было по двое детей, Эстер второго еще кормила грудью, у Ханны один, но она была беременна, да еще и старый Ария-Ейх, которому было уже за шестьдесят, и в армию его не взяли. Больше всего боялись, чтобы у Эстер не пропало молоко, для ее пятимесячного сына это означало бы верную смерть. Вагон — теплушка был оборудован деревянными двухэтажными нарами. В центре стояла печка «буржуйка», на которой можно было вскипятить воды и приготовить еду. Вагон, изначально рассчитанный «на 8 лошадей или 40 низших армейских чинов» был битком набит спасающимся от войны гражданским населением. Сорок — это был бы санаторий! В теплушке семи метров в длину ехало вдвое больше. На узких двухэтажных нарах спали по двое, обнимая друг друга во сне, чтобы лежавший у края ночью не упал. Детей укладывали валетом. Дорога была мучительной. На третий день пути, когда поезд в очередной раз застрял на какой-то станции, послышался низкий вой самолетов и почти сразу — грохот взрывов и пулеметные очереди. Люди в ужасе стали выпрыгивать из поезда и разбегаться в разные стороны. Особенно страшно было то, что на соседнем пути стояли цистерны с топливом. Попади в них бомба, вся станция в считанные секунды превратилась бы в полыхающий ад. Людей спас машинист поезда, не сбежавший, как многие другие. Он,

не дожидаясь команды (а по военному времени это считалось преступлением), быстро тронулся с места и направил паровоз вперед, уводя состав от бомбежки.

Поезд то мчался, то, вдруг вставал на полустанке, пропуская военные эшелоны. Сколько будет длиться стоянка, никто не знал, но за это время нужно было быстро сходить в туалет и сбегать набрать воды. Если особенно везло, и на станции был титан, то горячей. От вагонной антисанитарии и плохой непривычной еды всех немедленно пробрал понос. На остановках все кубарем скатывались по крутым лестницам и прыгали в бурьян, росший по откосам, радуясь, что есть, где спрятаться. Ария-Ейх вспоминал сорокалетнее хождение по пустыне и утешал себя тем, что легко не было никогда. Набросив на голову белый с голубыми полосами талес, он целыми днями читал молитвы, раскачиваясь взад-вперед, не обращая внимания на орущих детей и соседей по вагону, которых явно раздражал этот странный человек. Но откуда нам знать, может это его молитва помогла тому машинисту увести состав от смерти?

Недели через две этот ноев ковчег, перевалив через Уральский хребет, причалил в Новосибирске. Там эвакуированных распределили по окрестным колхозам. Эстер наотрез отказалась ехать без Ханны, которая скоро должна была родить. Их отправили километров за пятьдесят от Новосибирска, в какую-то Богом забытую дыру, где не было даже фельдшера, так что роды она принимала сама. От всего пережитого молоко у Ханны так и не пришло, и кормить маленького Зиновия пришлось тоже ей. Их поселили в бараке вместе с еще несколькими семьями. На нарах места на четверых не было, поэтому на них, как кормящая мать, спала Эстер, положив между ног четырехлетнюю Милочку и прижимая к себе обеими руками своего Алика и маленького Зяму. Ханна с трехлетней Юлей спала на полу так, чтобы если кто-то из детей ночью свалится, то на нее. Алик, даже будучи уже взрослым человеком, доктором наук по химии, до конца жизни вспоминал, как он отчаянно рыдал, глядя, как его мама кормит двоюродного брата и требовал: — Отдай сисю! Дина каким-то чудом осталась в городе и всю войну проработала на заводе, при котором, к счастью, был детский сад.

* * *

Женщин с детьми постарше старались отправить туда, где были школы. Лизу с девочками и отцом поселили в большом овощеводческом совхозе. Жить их определили в большой длинный барак, построенный из камыша и обмазанный глиной. Первое, за что взялась Лиза, определившись на новом месте, это за выведение вшей. Каждый день она мазала все головы, включая свою и отцовскую, керосином, потом плотно укутывала этот компресс платками и оставляла до вечера. Потом, накипятив воды, мыла всех, стирала и кипятила сня-

тое белье и вешала сушить. Через несколько недель вши исчезли. Каково же было удивление Фанни и Баси, когда они, выйдя на улицу погулять, увидели сидящих на бревнах деревенских девочек, увлеченно ищущих друг у друга в волосах. Вши были частью повседневной жизни, и никому в голову не приходило их выводить. Мало того, груминг был частью ритуала ухаживания. Если девушка соглашалась «поискать в голове» у парня, или сама это предлагала, это было почти равносильно признанию в любви. Ленинградским девочкам, регулярно ходившим в оперу и на балет и игравшим на пианино, весь уклад деревенской жизни казался диким.

В школе тоже не все оказалось просто. Началось все с фамилии. Когда директор привел в класс двух одинаковых девочек и сказал: — Знакомьтесь, дети, это Бася и Фанни Терман, класс громко заржал. С их точки зрения у нормальных людей таких имен быть не могло. Фанни обиделась и начала объяснять, что Терман, это обычная еврейская фамилия, чем вызвала полное недоумение учеников. Оказывается, те всегда считали, что евреи — это такие звери. Но вскоре Басю переименовали в Асю, что было понятнее и привычнее, а Фанни — в Фаину (такое имя в Сибири встречалось часто), в сокращенном варианте — Фаню.

* * *

Пока на дворе стояла осень, в бараке было относительно тепло. Лизе выделили комнату в самом конце коридора. Она оказалась самой тихой, потому что никто не ходил мимо. Но зимой выяснилось, что в ней очень холодно из-за двух уличных стен. Камышовое строение тепло не держало совсем. Лизу, как «грамотную», взяли работать в совхоз счетоводом. Она вскакивала раньше всех, чтобы затопить печку и вскипятить воды. Топили тростником, росшим вокруг в изобилии. Одна беда — он быстро сгорал и давал мало тепла. Днем дома оставался только старый Ария-Ейх. Он ни с кем не общался, т.к. по-русски толком говорить так и не научился, а специфический сибирский говор понимать было трудно.

Я в этом смогла убедиться лично, когда в 90-х мне пришлось выполнять большой интерьерный заказ Союза Художников в Новосибирске. Мы с напарником работали в холле административного корпуса, где, кроме нас, постоянно находились несколько охранников. Примерно через неделю один из них подошел с вопросом: — На каком языке мы между собой разговариваем? Я очень удивилась, т.к. говорили мы исключительно на русском, и стала выяснять, чем вызвано его любопытство? Ответ меня просто потряс: — А чего это вы говорите, а мы ничего не понимаем?!

На родном идише он мог говорить только с Лией. Ни Фанни, ни Бася еврейского языка не знали, дома родители разговаривали по-русски, а на идиш переходили только если обсуждали что-то не

предназначенное для детских ушей. Каково же было их удивление, когда они поняли, что дети понимают и чем идет речь! Но понимать — одно, а говорить — совершенно другое.

* * *

Денег не было совсем. В совхозе платили «трудоднями», а Лизе надо было прокормить четверых. Сначала меняли на хлеб простыни, потом ту одежду, без которой можно было обойтись, потом в расход пошла посуда. В сентябре успели набрать и насушить ягод и грибов, но без хлеба и овощей они от голода не спасали. В школе с Фанни за одной партой сидела девочка, от которой по утрам оглушительно вкусно пахло едой. Как-то Фанни не выдержала и спросила, что та ела? Девочка удивилась вопросу и ответила, что мамка ей всегда картошку на сале жарит. Вкусно же! А после третьего урока все местные доставали кто толстые ломти хлеба с салом, кто отварную картошку, но никто из них с эвакуированными не делился. Они не были жадными, они просто не понимали, как это — быть голодными. Бася подружилась с самыми отпетыми хулиганами. Она быстро освоила всю, как теперь говорят, «ненормативную» лексику, стала в компании своей и, заходя в гости к одноклассникам, иногда ухитрялась поесть с хозяевами. Фанни же от матерных слов коробило, она никогда не научилась их употреблять. В школе ее дразнили «тургеневской барышней», но, удивительно, что при ней почему-то ругаться переставали. К ноябрю она начала падать в голодные обмороки.

Лиза была с совхозе на очень хорошем счету. За ту пару месяцев, что она отработала счетоводом, вся документация было приведена в идеальный порядок. К тому же, она ни с кем из местных не дружила, так что можно было не бояться, что при ее попустительстве что-нибудь украдут. Когда она пришла к директору совхоза просить помощи, тот предложил ей подрабатывать в столовой для рабочих МТС, но не за деньги, а за бесплатный обед, который можно было унести домой. Она начала вставать в четыре, чтобы с утра успеть разобраться с нарядами на работу для совхозных рабочих, а к десяти бежала в столовую, где чистила овощи (все очистки шли на корм свиньям) и мыла полы и послеобеденную посуду. Потом бегом бежала домой, чтобы отнести еду отцу и детям и возвращалась в контору. Рабочий день заканчивался часов в 8 вечера. Директору она была очень благодарна. Остальным эвакуированным приходилось намного хуже.

* * *

Как же она ругала себя за глупый оптимизм начала войны! Все думали, что едут на два — три месяца и не взяли с собой никаких теплых вещей. Валенки, зимние пальто и шапки остались в тщательно

убранном к скорому возвращению хозяев доме. Между тем, сводки с фронта были все ужаснее. Репродуктор, висевший на столбе у правления, густым от торжественности голосом Левитана каждый день сообщал об очередном отступлении. От Алтера, служившего в белорусском Бресте писем не было. От Левы, оставшегося в Ленинграде, тоже. Файтель писал редко. Было понятно, что никакую правду о реальной обстановке на фронте военная цензура не пропустит, но само наличие писем успокаивало тем, что он жив. Давид, которого Лиза вырастила и любила, как родного сына, тоже был в армии и воевал под Москвой. Чаще всех писал Зиновий, причем отдельно Лизе, отдельно девочкам, чем они страшно гордились. Но в середине февраля Лизе приснилось, что Зиновий зашел в комнату, молча постоял у двери, а потом подошел к ней, обнял и сказал, что теперь они долго не увидятся. Проснулась она в ужасной уверенности, что двоюродный брат погиб. Через несколько недель пришла похоронка.

В феврале произошло несчастье. Пришедшие из школы девочки обнаружили в стене огромную дыру, под которой на полу намело целый сугроб снега. На улице мороз, а прореха такая, что через нее, как в дверь, выйти можно. Тряпками не заткнешь. Как оказалось, дыру проел соседский теленок, сбежавший по недосмотру хозяев из хлева. Барак, как я уже говорила, был построен из тростника, обмазанного глиной. Как уж он смог со слоем глины разобраться, неизвестно. Скорее всего, нашел место, где она отвалилась, но поел он на славу! Ночь провели у соседей, а назавтра директор совхоза заставил хозяев теленка пробоину заделать. Те ругались, кричали, как теперь говорят, про «понаехавших», но так как барак был совхозным, и следовательно, государственным имуществом, то пришлось им стену ремонтировать. Понятно, что симпатий к чужакам это не прибавило.

Местные переоделись в тулупы и, казалось, совсем не мерзли на сорокоградусном сибирском морозе. Школьники прибегали на уроки раскрасневшиеся, веселые, пропахшие сытным жилым духом. Кроме Фанни с Басей в совхоз приехали еще несколько детей из Ленинграда, но когда выпал снег они перестали ходить в школу потому, что было попросту не в чем. Лиза выменяла валенки для себя и девочек на серебряные ложки. Она твердо знала, что главное, это образование для детей. Как они пережили эту первую, самую страшную зиму она и сама понять не могла. Мама рассказывала, что один раз к ним в гости из Новосибирска приехала Дина и привезла маленький кусочек сливочного масла, в камень замерзший по дороге. Лия сварила на пятерых пять картошин в большой кастрюле воды (отвар тоже еда!) и кинула туда немного масла. Сейчас никто из нас и не заметил бы этой добавки, но тогда волшебно преобразившийся вкус воды показался просто восхитительным. К весне все, что можно было поменять или продать, закончилось. Денег катастрофически не хватало. Спасали только столовские обеды.

* * *

Я недавно видела фильм, снятый израильским телевиденьем о военном житье эвакуированных в Узбекистане. Сколько там звучало слов благодарности в адрес узбеков, делившихся и лепешками, и фруктами с голодными людьми. Узбеки встречали на станции каждый приходивший в Ташкент поезд и разбирали людей, в первую очередь с детьми, по своим домам. Многие остались живы только благодаря бескорыстной помощи местного населения. Но в рассказах моих родственников о сибирском житье ни разу не прозвучало ни слова о помощи приезжим. Местные не голодали, у всех были запасы еды и теплой одежды, но никому из них не приходило в голову этим поделиться с ленинградцами.

* * *

Весной совхоз выделил всем эвакуированным землю под огороды. Земли было много, но на неудобных местах и «дикой». Лизе достался склон холма, заросший мелким кустарником и с камнями. Выбирать не приходилось. Кустарник вырубали, выдирая затем длинные тонкие корни из земли руками. Участок вскапывали вчетвером, крупные комья земли перетирали вручную. Для посадки выдали по паре ведер семенного картофеля. Сняв с кровати последнюю простыню, Лиза выменяла на нее стакан фасоли и немного семян капусты на рассаду. Вспомнив могилевский огород, она выпросила на ферме несколько ведер навоза и при посадке клала его в лунку под каждую картофелину. Все лето они пололи, окучивали и поливали, таская до изнеможения воду ведрами из-под холма наверх. Со второй половины июля на огороде пришлось по ночам дежурить, чтобы урожай не воровали. В результате с каждого куста было снято по целому ведру крупной белой картошки. Со стакана фасоли было получено десять стаканов, и еще выросло штук двадцать кочанов капусты. Вздохнули с облегчением.

Соседка по бараку, у которой Лиза с семьей ночевала после аварии со стеной, всю зиму берегла полкило манной крупы, которую привезла из Ленинграда. Лиза неоднократно советовала ей эту крупу варить и кормить ребенка, но та твердо решила, что весной ее посадит. Она тщательно вскопала землю и, аккуратно распределяя по одной, стоя на коленях, совала крошечные крупинки в землю. Никакие уговоры не делать этого, остановить ее не смогли. Когда и через месяц кроме сорняков на ее огороде ничего не выросло, она уехала в Новосибирск в надежде устроиться там на работу. Это решило проблему хранения урожая. Его сложили в освободившуюся комнату.

В октябре в совхозе освободился один дом. Сейчас я подозреваю, что под словом «освободился» мог таиться какой-то темный и страшный подтекст, но бабка никогда не уточняла причин, по кото-

рым им досталось это богатство. Весь урожай картошки перетаскали в подпол, капусту бабка засолила в огромной бочке, оставшейся в сенях от прежних хозяев.

* * *

Лизу очень волновало отсутствие вестей от Левы, оставшегося в Ленинграде. Не было никакой информации о том, что творилось в блокадном городе. В конце декабря 42-го, Фанни, прибежавшая домой из школы, споткнулась о чьи-то ноги, вытянутые поперек прохода между печкой и столом. В полумраке виднелись только две бесформенные кучи тряпья. На том месте, где должны были находиться лица, не было ничего! Серая поверхность печки прерывалась только темным силуэтом намотанных на головы платков. Фанни закричала от ужаса и бросилась вон из дома, чтобы позвать мать. Прибежавшая из конторы Лиза обнаружила раскачивающегося в молитве отца, и сидевших на полу племянников — Кима и Миру, привезенных из блокадного Ленинграда. В первую же зиму умерла от голода Вилли, не давшая съесть единственное дорогое ей существо — ее собачку. Лева, отпущенный на один день с фронта, погрузил жену на грузовик, собиравший трупы — хоронить по-человечески возможности не было, оформил на детей офицерский аттестат и уехал назад спасать раненных. Вторая зима ребят доконала. Сил не осталось даже ходить за хлебом. Лева, вырвавшись в увольнение на день и увидев, в каком состоянии дети, понял, что им осталось жить одну-две недели. Какой ценой ему удалось пристроить их на грузовик, идущий через Ладогу по «Дороге жизни», он никогда не рассказывал. Полуживых людей, замотанных в какие-то тряпки (вся нормальная теплая одежда была давно продана на черном рынке за еду) накрывали брезентом и везли по замерзшему озеру на Большую землю. Ким потом вспоминал, что уже на льду они попали под бомбежку. Он увидел, как прямо за их машиной упала бомба. Следующая полуторка, не успев затормозить, с ходу влетела в черную мертвую воду и мгновенно в ней исчезла. «Вот и наша сейчас так же», — вяло подумал Ким и потерял сознание. На берегу их отправили в госпиталь и начали давать жидкую еду крошечными порциями, по чайной ложечке. Через несколько дней всех ленинградцев погрузили в эшелон, идущий в Новосибирск. Там сначала они нашли Дину, а та уже отправила их к сестре, рассудив, что у той и места больше, и какой-никакой урожай на зиму собран.

* * *

Как они ехали на телеге по сибирскому морозу сто километров, истощенные, плохо одетые, едва держащиеся на ногах от обморочной слабости? Лиза их выхаживала изо всех сил. За пару месяцев пле-

мянники снова научились ходить и изредка улыбаться. В конце февраля приехала Ханна и забрала их к себе. Лизе с двумя девочками и отцом и так приходилось очень тяжело, а Ханне и Эстер каждый месяц стали приходить посылки от мужей.

* * *

После войны Ким вернулся в Ленинград и поступил, как и его отец, в Военно-медицинскую академию. Он стал врачом-инфекционистом и постоянно ездил на ликвидации всех эпидемий холеры, сибирской язвы, чумы и прочих страшных болезней, регулярно приключавшихся в Средней Азии и Сибири. Сообщать о них категорически запрещалось, так что узнали мы об этом только после того, как он вышел в отставку в чине полковника медицинской службы. Сын Кима, мой троюродный брат Алеша после окончания школы с золотой медалью тоже решил поступать в Военно-медицинскую академию, но там, увидев в заявлении фамилию Терман, старый кадровик, помнивший и Льва, и Кима, сразу сказал — «Евреев не берем!», — несмотря на то, что в паспорте у Алеши было написано «эстонец». Брат обиделся, поступил в Первый медицинский, окончил его с красным дипломом и занялся исследовательской работой, по результатам которой его пригласили в Швецию, где он и остался жить и продолжать исследования.

* * *

В этом же феврале директор совхоза предложил Лизе взять месячного поросенка на откорм. Через полгода предполагалось (если не сдохнет) сдать его на мясо и получить за это деньги. Отказаться от такого царского предложения было бы непростительной глупостью, но как принести в дом, где живет правоверный еврей, это нечистое животное? Лиза помаялась сутки, но голодные обмороки Фанни и рассказы Баси не о том, чем занимались с друзьями, а о том, чем покормили в чужом доме, решили вопрос. Вечером Лиза вернулась домой, прижимая к груди сверток. Оставить малыша жить на улице было нельзя — если не украдут ночью, то сам замерзнет. Поэтому в комнату поставили большой ящик, сколоченный из гнилого горбыля, насыпали туда соломы и запустили телесно-розового нежно повизгивающего поросенка. Старый Ария-Ейх тяжело вздохнул и, отвернувшись к стене, начал читать покаянную молитву. «Хорошо, что не выгнал», — с облегчением подумала Лиза и поставила поросенку миску с разваренными в кашу картофельными очистками. Когда после еды тот начал метаться по ящику жалобно повизгивая, Лиза испугалась, что он заболел, но отец неожиданно предположил, что поросенок хочет на двор. Лиза, конечно, не поверила, но, на всякий случай, подхватила плачущего малыша под теплые розовые бока и выскочила на

улицу. Каково же было ее удивление, когда выяснилось, что отец оказался прав! Теперь поросенка после каждой кормежки выносили во двор, где он исправно «делал свои дела» к удивлению и веселью соседей.

Поросенок обрел не только собственное имя, но и всеобщую любовь. Даже отец, при всем библейском отвращении к «нечистой» свинье, удивлялся, что Малыш все понимает и никогда не гадит там, где спит и ест. Слава Богу, очень скоро он перестал помещаться в ящике и его отправили жить в пустовавший хлев. Я думаю, что если бы поросенок продолжал жить в доме, то зарезать его ни у кого рука бы не поднялась. Когда подошла очередь сдавать скот на бойню, Лиза позвала Малыша и тот, как собака, доверчиво потрусил за ней в открытые ворота свинофермы. Девочки рыдали в голос, Ария-Ейх, накинув на голову талес качался в молитве взад-вперед, повернувшись лицом к восточной стене.

Бабка, часто вспоминавшая обиды, накопившиеся за жизнь, никогда не рассказывала о том, что чувствовала, сдавая Малыша на убой. Думаю, что есть его мясо никто из семьи бы не смог, даже если бы оно вдруг стало кошерным. Но на моей памяти ни мать, ни бабка, будучи абсолютно нерелигиозными людьми, свинину никогда не покупали и даже в гостях не ели.

* * *

В конце лета тяжело заболел отец. Мучившая его всю жизнь астма обострилась, он дышал со свистом, сидя на кровати (лежа, дышать было еще тяжелее), и кашлял днем и ночью, пытаясь избавиться от клокотавшей в бронхах вязкой мокроты. Лиза, выматывавшаяся за день на работе, ночью спала вполглаза, чтобы успеть налить отцу горячего чая из трав во время очередного приступа. Счастье, что в доме была настоящая русская печь, сутки державшая тепло. Ария-Ейх не боялся умереть. Астма измучила его так, что смерть казалась ему избавлением. Единственное, что по-настоящему его огорчало, это то, что по иудейскому обряду похоронить его будет невозможно. Ни одного раввина в округе не было. Отец умер в январе, в самые лютые морозы. По еврейским законам хоронить умершего нужно в день его смерти, но земля промерзла так, что вырыть могилу за один день было совершенно невозможно, тем более, что мужчин в совхозе не осталось. Помогли одноклассники девочек — жгли на кладбище большой костер, отогревая землю, долбили и выгребали тонкий оттаявший слой, затем снова разжигали огонь. Телеграммы сестрам дошли на второй день, еще день ушел у них на дорогу. Приехали все окоченевшими от холода. К их приезду и могилу кончили копать. Впоследствии, единственное, чего Лиза боялась, это умереть зимой. Самым страшным для нее было создать кому-то дополнительные трудности.

* * *

Весной Лиза стала плохо себя чувствовать, временами накатывала тошнотворная слабость, кожа приобрела желтоватый оттенок, потом желтыми стали белки глаз. Это был гепатит, подхваченный, скорее всего в совхозной столовой, где Лия продолжала подрабатывать. По овощам, которые она чистила, бегали крысы и мыши. Гепатитом болели многие работники столовой и никто их на больничный не отправлял. За полгода болезни, перенесенной на ногах, бабка окончательно поседела и потеряла половину зубов.

В 43-м Фанни и Бася, уже закончившие местную школу-семилетку, пошли работать в совхоз. Девочки были совсем разными по характеру, но обе сильно выделялись среди местных ребят. Фанни застенчивая и скромная, неизменно вежливая со всеми, никогда не употреблявшая бранных слов, собирала вокруг себя ребят, которым были интересны книги. Она организовала школьный театр, и ребята ставили спектакли к каждому празднику. Бася же, в отличие от сестры, была резкой, прямой, говорила в лицо все, что думала и на деревенских посиделках и танцах была первой заводилой. Она была красивее сестры — с огромными, в пол-лица почти черными глазами, точеным носом с легкой горбинкой и нежным, аккуратно вылепленным ртом. Я всегда представляла себе Суламифь именно такой. Но главное, у нее был изумительный голос — серебряный колокольчик — чистый и сильный. Она мечтала, когда война кончится, вернувшись в Ленинград пойти учиться петь. Ее и без учебы всегда приглашали выступать во всех праздничных концертах, где она неизменно срывала бурные овации, но что за слава в сибирском совхозе? Она помнила залы Ленинградских театров и мечтала только о них.

* * *

Тогда и произошла страшная история, навсегда поссорившая Лизу с Басей и, в конечном итоге, сломавшая Басе жизнь. Совхоз, как я уже говорила, был овощеводческий. На полях росли капуста, морковь, репа, картошка, а огромные отапливаемые теплицы были отведены под зелень, помидоры и огурцы. В сезон, когда помидоров было море, собирать их отправляли школьников. Радовались этому, в основном, эвакуированные, т.к. первые дни они не столько собирали, сколько ели. Начальство на это закрывало глаза, понимая, что дети голодные, а наевшись, будут работать изо всех сил. Но такая благодать длилась недолго. В остальное время все плоды вечером скрупулезно пересчитывались и сдавались по акту дежурному бригадиру. Зимой, когда огурцы были невероятным деликатесом (доставались они, понятно, только новосибирскому начальству), за их сохранностью следили особенно тщательно. Как-то в первых числах марта бригадир утренней смены, принимая пересчитанные вечером огурцы,

недосчиталась нескольких штук. Главная проблема была в том, что предназначались они для праздничного банкета по поводу Международного Женского дня 8 марта, который всегда с размахом организовывался областным партийным начальством. Директор совхоза, уже отрапортовавший о количестве штук огурцов, которые 7-го утром должны были лежать в обкомовской столовой, рвал и метал, грозя такими страшными карами, по сравнению с которыми расстрел показался бы актом гуманизма.

Через час после начала расследования, учиненного директором, к Лизе в закуток постучалась бригадирша. Она прекрасно понимала, что за пропавшие огурцы ее отправят по этапу, и четверо маленьких детей окажутся в детском доме. Единственным способом спастись было свалить вину на подростков, работавших в теплице вечером. Все дети, кроме Фанни с Басей были местными, их бы никто в обиду не дал. Обвинить Фанни никому бы в голову не пришло, она была абсолютно «правильной» девочкой. Оставалась одна Бася — оторва и известная хулиганка. Бригадирша готова была на колени встать, умоляя Лизу сказать, что это ее дочь взяла огурцы. Басю бы, как несовершеннолетнюю не посадили, а у нее четверо детей, отец которых погиб в первые месяцы войны. Лиза оказалась в очень трудном положении: с одной стороны — она приезжая, с трудом добилась серьезного положения, ее уважали, дали хорошую работу и дом, в котором можно было жить, а не мучиться в бараке, как остальным эвакуированным. С другой стороны — не пойди она навстречу этой несчастной бригадирше, ее в отместку тут же подставили бы под удар местные, которые и своих-то не жалели, а уж чужих, как говорится, сам Бог велел, и тут бы не поздоровилось и ее девочкам. Я не знаю, чего стоило Лизе это решение, но в краже огурцов обвинили Басю. Все знали, что она не при чем, многие знали кто действительно виноват, но такое решение вопроса устроило всех, кроме, разумеется, Баси. С условием, что как только ей исполнится 18 лет, она пойдет в армию, ее отстранили от «легкой» работы в теплицах и стали направлять только на тяжелую работу — убирать навоз в конюшне и коровнике, рубить дрова, таскать воду из колодца, находившегося в полукилометре от поселка. Бася не выдержала и незаслуженного позора, и непосильного для 17-летней городской девочки труда и не дожидаясь дня рождения, подала заявление в военкомат, рассудив, что хуже, чем здесь ей нигде не будет.

* * *

В апреле 44-го Басю забрали в армию и увезли на Дальний восток, где, как пелось в известной песне «На границе тучи ходят хмуро…». В первую же зиму она лишилась своего главного сокровища. За сильный и очень красивый голос ее немедленно поставили запевалой. А теперь представьте 40-градусный мороз с ветром в лицо.

Что останется от голоса, если в таких условиях приходится петь на полную громкость, чтобы идущим сзади было слышно? Правильно, ничего не останется. Голос Бася безнадежно сорвала, и все мечты о вокальной карьере рухнули. В августе 45-го началась война с Японией. Бася никогда ничего не рассказывала об этом периоде, но, судя по тому, что она на каждое 9-е мая надевала медаль «За победу над Японией», ей пришлось участвовать в военных действиях.

(Уточняя название медали и дату ее выпуска, первое, на что наткнулась в интернете: «Медаль за победу над Японией». Высочайшее качество. Не Китай. Доставка по РФ. Купить на сайте)

* * *

Дед мой, Файтель Абрамович Терман, всю войну прослужил в Мурманске. В феврале 45-го, когда всем было понятно, что война вот-вот закончится, он прислал бабке вызов, без которого она из совхоза уехать бы не смогла. Директор очень не хотел ее отпускать. Он обещал хорошую работу для ее мужа, если тот приедет, ей — должность главного счетовода, обещал отремонтировать дом и выделить кусок хорошей земли вместо старого неудобья, а Фанни отправить учиться в сельхозтехникум. Лиза уже прижилась в этом месте, здесь была могила отца и работа, которая ей нравилась. Ее уважали за честность и стопроцентную порядочность. И Лиза бы осталась, если бы муж согласился приехать, но Файтель писал, что он скучает по ней и девочкам, что устал от одиночества, что нашел для них квартиру и его офицерского жалования хватит на вполне приличную жизнь. Лиза сдала дела, собрала вещи — два небольших чемодана и отправилась в Мурманск к любимому мужу.

По дороге домой они с Фанни мечтали, что по окончании войны вернутся обратно в Ленинград, в их довоенный дом на Крестовском острове, в котором перед отъездом они вымыли полы и застелили стол чистой белой скатертью. Фанни еще со школы думала поступить в Театральный. Она знала наизусть все пьесы Островского, томик которого каким-то чудом затесался в совхозную библиотеку. Она хотела быть не актрисой, считая себя для этого недостаточно красивой, а режиссером, ставить эти прекрасные пьесы, которые постоянно разыгрывала в воображении. Поезд медленно шел на запад через обгоревшие леса, разрушенные деревни… Было понятно, что нормальная, «старая» жизнь наступит не сразу, за нее придется побороться, но казалось, что осталось совсем недолго…

В Мурманске Файтель встретил их на вокзале, по черным улицам отвез на квартиру, оказавшуюся десятиметровой комнатой в офицерском общежитии, показал на кухне свой стол и керосинку, выложил продукты, оставил карточки на хлеб и ушел, сказав, что у него сегодня дежурство. Лиза, соскучившаяся по мужу, немедленно начала наводить уют в комнате. Вымыла окна, отдраила полы, пролила кру-

тым кипятком металлическую кровать с панцирной сеткой, в которой ей почудились клопы. Но Файтель забегал каждый день на полчаса и, отговариваясь службой, уходил, ни разу не оставаясь на ночь. Через неделю, когда Лиза и Фанни оформили прописку и получили карточки, он, наконец, сообщил, зачем их вызвал. В 44-м он познакомился с девушкой, приехавшей с матерью с освобожденной Украины. Две армии, несколько раз проутюжившие ее деревню своими танками, сровняли ее с землей. Немногие уцелевшие жители разъехались кто куда. Вспомнив, что на Севере были какие-то родственники, они отправились в Мурманск. Галя была всего на два года старше его дочерей. Молодая, веселая, считавшая Файтеля самым умным и красивым, буквально смотревшая ему в рот, она оказалась полной противоположностью Лизы, которая никогда не была ни веселой, ни беззаботной и, к тому же, поседевшей и подурневшей в эвакуации. Сорокалетней женщине всегда трудно конкурировать с двадцатилетней, а Файтелю так хотелось видеть в женских глазах не упрек и боль после смерти сына и не усталость от многолетней борьбы за выживание, а восхищение и обожание. Он объявил, что подает на развод, а вызвал Лизу из Сибири потому, что оттуда она бы ему развод не дала, а ему нужно срочно жениться, т.к. Галя ждет ребенка. Лизу эта новость подкосила так, что она слегла и месяц лежала лицом к стене, вставая раз в день по неотложной надобности и выпить чаю с куском хлеба. Файтель испугался, что Лиза, не дай Бог, умрет, и разговоры о разводе временно прекратил.

* * *

Мама рассказывала, каким счастьем был День Победы! Люди выскакивали на улицу, обнимались и целовались со всеми встречными и кричали «Ура!». Всем казалось, что на следующий же день наступит счастливое завтра. Даже Лиза встала с кровати и вышла на улицу.

Работы в Мурманске не было. Жить приходилось на то, что давал Файтель, но Лиза, привыкшая что-то делать сама, мучилась от вынужденного безделья. Фанни тоже не находила себе места. Она мечтала учиться, но это было возможно только в Ленинграде, а о возвращении туда пока нечего было и думать.

* * *

Файтель заходил каждый день, приносил что-нибудь, разговаривал с дочерью. Он очень переживал из-за истории с Басей, которая всегда была его любимицей — такая же бесшабашная, смешливая, так же легко сходившаяся людьми, не любившая жить по правилам… Его часто отправляли в командировки в Кандалакшу на один-два месяца. Как-то раз к Лизе зашел человек, принесший пакет от Файтеля. В нем

находился большой отрез драпа на пальто. На словах дед передал, чтобы Лиза ни в коем случае отрез на рынке сама не продавала, а отнесла его по адресу, указанному в записке. Там ей за него дадут денег, на которые она сможет отоварить карточки. Лиза, которая всегда лучше всех знала, как нужно поступать, конечно, мужа слушать не стала. Скорее всего, она побоялась, что по тому адресу ее обманут, но придя на городскую толкучку, она немедленно попала в облаву. Даже, если бы этот злополучный отрез был куплен еще в прошлом веке (а Лизе не предъявлялось обвинение в торговле краденым), ее все равно бы посадили за спекуляцию. Ей дали три года лагерей.

Файтель на свидание не пришел. В коротком письме он сообщил, что оформил развод, на который теперь, когда она сидит, ее согласие не требуется. Он любит Галю и в ближайшее время на ней женится. Девочек он не бросит и готов заботиться и о них, и о Лизе.

В жестокой к чужакам Сибири, с двумя детьми и больным отцом на руках, Лиза смогла не просто выжить, но и добиться хорошей должности и уважения. И голод первых лет, и болезни, и смерть отца были очень тяжелы, но впереди была надежда — война кончится, она вернется в Ленинград, в свой дом, в котором перед отъездом она вымыла полы и постелила на стол белую скатерть, Файтель демобилизуется, девочки пойдут учиться… Попав в тюрьму, а ей и в самых страшных кошмарах такое бы не привиделось, она увидела другое будущее — без надежды, без своего дома, без любимых людей.

* * *

Фанни осталась совсем одна. Она не могла понять, как случилось, что мама утром вышла из дома и теперь ее не будет. Совсем. Ни сестры, ни мамы… Отца перевели служить в Кандалакшу, и из офицерского общежития ее выселили. Как ни странно, но помогли выжить Галя и ее мать, сразу забравшие Фанни к себе, несмотря на протесты соседей по коммуналке. Они же устроили ее на работу в порт, в цех по сортировке рыбы. Возможно, в этом была и определенная доля корыстного интереса — Файтель всегда был заботливым отцом и свою дочь без помощи бы не оставил. Он предложил снять для нее комнату и давать денег на жизнь, но Галя предпочла сэкономить — до родов оставалось совсем немного, и никакие деньги бы не были лишними. Как бы то ни было, Фанни была ей очень благодарна. От всего произошедшего она была в таком отчаянии, что жить ей совсем не хотелось. Работа, хоть и грязная и скучная, отвлекала от тяжелых мыслей и выматывала до полного изнеможения. И она давала возможность отправлять матери разрешенную раз в месяц посылку.

Бабка никогда не рассказывала про лагерную жизнь. Даже сам факт заключения держался в строжайшем секрете. Я узнала об этом случайно, когда уже после ее смерти разбирала горы старья, скопившиеся в нескольких фанерных чемоданах. Среди прочих бумаг

лежала справка от 48-го года об освобождении из мест заключения Терман Лии Арии-Ейховны. На мои недоуменные вопросы мама отвечать отказалась, туманно намекнув, что в то время многих сажали ни за что. Я немедленно придумала себе политическую историю про «врагов народа» и даже слегка гордилась причастностью к общей трагедии. Только после смерти матери сестра рассказала мне истинную причину случившегося.

Через год демобилизовали Басю. Она вернулась коротко стриженная, с солдатским вещмешком и двумя медалями — «За победу над Германией» и «За победу над Японией». Басе, как фронтовичке, дали комнату, в которой они с Фанни стали жить, дожидаясь окончания срока заключения Лизы. Бася тоже начала работать в порту, да, собственно, это было единственное место, куда можно было устроиться в Мурманске.

* * *

В 48-м Лиза вышла из лагеря. Совершенно седая, без зубов, сгорбленная, она сама себя в зеркале не узнавала. Да еще и астма — наследственное проклятье, проявившееся из-за работы с ацетоном. Она часто жаловалась, что если бы не этот ацетон, которым приходилось дышать по 14 часов в день, она бы так не болела. Судя по тому, что место этой работы не упоминалось никогда, скорее всего, это был лагерь. Девочки устроили праздник. Они заранее стали копить продукты, чтобы можно было накрыть стол. Достали соленого палтуса, купили немороженой картошки, бывшей на Севере в большом дефиците. Бася даже выменяла на папиросы кусок настоящего сливочного масла! Файтель встретил бывшую жену у ворот лагеря в Кандалакше, благо служил там же и на служебной машине привез ее домой. Увидев Басю, Лиза молча взяла ее за руку и так и не выпустила, пока прямо за столом ее не сморил сон.

Т.к. статья Лизы не была политической, она могла вернуться в Ленинград. Там были Лева, преподававший в Военно-медицинской академии, Эстер и Дина. Только Ханна с мужем-офицером уехала на Дальний Восток. Фанни подала в порту заявление на увольнение, а Бася ехать отказалась. Ее молодой человек сделал ей предложение, и она собиралась замуж. Лиза расстроилась. Парень из белорусской деревни, простой и хамоватый, производил неприятное впечатление, но отговаривать дочь было бы неправильно — счастье, что хоть такого нашла, ведь после войны мужчин осталось совсем мало. В любом случае, если Бася решала что-то сделать, она это делала.

* * *

В октябре 48-го, на следующий день после Басиной свадьбы, Лиза с Фанни сели на поезд Мурманск — Ленинград. Весь багаж —

три фанерных чемоданчика, в одном из них соленая мурманская рыба для сестер и брата. Лева, предупрежденный телеграммой, встречал их на вокзале. Если бы не Фанни, бросившаяся ему на шею, он, наверное, не узнал Лизу, превратившуюся за семь лет из библейской красавицы в дряхлую старуху. Лиза отдала ему чемодан с рыбой и, не в состоянии больше ждать, отправилась на родной Крестовский остров, туда, где рядом со знаменитым стадионом «Динамо» стоял ее дом, в котором перед отъездом были вымыты полы и положена на стол чистая белая скатерть. Лиза с Фанни ехали на трамвае домой.

* * *

Даже место, где он стоял, они нашли не сразу. Деревья, окружавшие двухэтажный коттедж, были спилены под корень, а деревянный дом разобран на дрова в первую же блокадную зиму. В школу попала бомба, и ее черный обгоревший остов одиноко скалился в вечернее небо. Все, что могло гореть, было спилено и разобрано. Ни домов, ни деревьев, ни заборов. Они ходили по этому кладбищу, плакали и понимали, что и этой их мечте пришел конец.

Сейчас уже не у кого спросить, почему никто из вернувшихся в Ленинград родственников не удосужился съездить на Крестовский. Лева жил рядом с Академией, у Финляндского вокзала, Ханна на Лиговском, у Московского, Эстер на Куйбышева, Дина у Сытного рынка… Почему никто из них не проверил сохранился ли дом? Может, если бы Лиза узнала об этом раньше, удар бы не оказался таким страшным.

Вечером они вернулись к Леве, единственному, жившему в отдельной квартире. Тот, с трудом добираясь до смысла сквозь плач Фанни, понял что произошло. На следующий день он отправил телеграмму Файтелю с требованием приехать и помочь семье.

* * *

То, что смог сделать Файтель иначе, чем чудом, назвать нельзя. Я представить себе не могу, как в послевоенном Ленинграде, где люди теснились целыми семьями в комнатушках огромных коммуналок, где сделать хоть какой-то ремонт было неразрешимой проблемой, Файтель смог построить дом. Он был необычайно предприимчивым человеком. Лиза всегда его ругала за неистребимый авантюризм, но сейчас именно это качество характера позволило ему совершить невозможное. Он достал бревна, нашел рабочих и договорился с начальником одной из жилконтор на Петроградской стороне, что сам построит мансарду на крыше пятиэтажного дома на Лахтинской. Я ничего не знаю о трудностях строительства и размерах платы рабочим и взяток за разрешение на строительство, но в марте 49-го Лиза с дочерью поселились в 2-х комнатах площадью 18 и 20 квадратных метров, располагавшихся в трехкомнатной бревенчатой избе, стояв-

шей на крыше дореволюционного доходного дома. С сегодняшней точки зрения с удобствами там было плохо. Шестой этаж «черной» лестницы. Кто знаком с устройством петербургских домов, тот знает, что в каждую квартиру было два входа — парадный, для господ и черный, для прислуги. Черный ход располагался со двора. По нему дворник приносил дрова, кухарка воду и провизию, а прачка белье. На лестницах парадного входа с конца 19-го века начали устанавливать лифты.

* * *

Я успела застать этих чудом сохранившихся мастодонтов, поднимавшихся на толстых металлических тросах внутри высоченной, до самой крыши, железной клетки. Нужно было дождаться, пока лифт, с грохотом и лязгом придет, открыть первую — железную дверь клетки, затем распахнуть две деревянные дверцы самого лифта, потом закрыть за собой наружную дверь и внутренние лифтовые. Только после этого пассажир нажимал на кнопку, и лифт неторопливо трогался. Внутри была скамеечка, иногда обитая потертым плюшем и большое зеркало, намертво прижатое привинченной к стене толстой деревянной рамой. Сначала этим техническим чудом управляли лифтеры, но постепенно жильцы смогли освоить последовательность операций и научились нажимать кнопку нужного этажа самостоятельно. Почему я так подробно об этом пишу? Потому, что я выросла в доме без лифта и первые 16 лет своей жизни бегала на шестой этаж на своих двоих. Простите, отвлеклась…

* * *

Итак, из удобств в квартире были туалет и водопровод. На кухне, шириной метр восемьдесят и длиной около четырех стояли два стола — Лизин и соседский, и посередине — сложенная из кирпичей плита, топившаяся дровами. Дрова — большие бревна — привозили во двор. Лиза с Фанни двуручной пилой разделывали их на чурбаки, а потом Фанни тяжелым колуном колола дрова и таскала их на свой шестой этаж. Оставлять что-то во дворе не стоило — могли украсть. В каждой комнате в углу около двери стояла высокая круглая печь, обитая гофрированным железом. На полу перед печкой лежал прибитый к полу железный лист на случай, если уголек или горящая головешка выпадет из открытой дверцы. В некоторых дворах были дровяные сараи, и их счастливые владельцы кроме дров держали в них много полезных (и бесполезных тоже) вещей, а дети по мере взросления сначала, лазая по ним, играли в войну, а потом использовали их как укрытие, чтобы целоваться или курить. Но в этом дворе был бездействующий фонтан, традиционно превращенный в свалку мусора и несколько чахлых кустов сирени, ежегодно страдающих от от-

сутствия света. Огромным достоинством местоположения квартиры было наличие во дворе общественной прачечной. В одном из полуподвальных помещений первого этажа стояли длинные лавки для корыт и на плите, в больших котлах, грелась вода. Женщины приносили белье, брали напрокат корыто и стиральную доску и платили за пользование прачечной так же, как за баню. Чистое уносили в тазах или в наволочках. Сушили обычно на чердаках. У каждого были там натянуты свои веревки. Ключ от чердачной двери хранился в верхней квартире.

Верхней квартирой была наша. Так как в течение дня ключ от чердака требовался постоянно, то проще было дверь не запирать, чем ходить открывать на бесконечные звонки. Соседи с первого по пятый этаж знали, где на гвозде у входной двери висит ключ, просто заходили в квартиру и брали его, а, развесив или, наоборот, сняв белье, вешали ключ на место. Закрывались только на ночь.

Туалет был такой крошечный, что у взрослого человека колени упирались в дверь. Как там помещался довольно крупный сосед? В квартире жила пара с двумя детьми — подростками. Жена — учительница в соседней школе, муж инвалид страдал после фронта недержанием мочи, поэтому из их комнаты всегда доносился характерный запах. Соседи страшно завидовали Лизе, которая, как барыня, роскошествовала в двух огромных комнатах. Но жили мирно и комнаты не запирали.

* * *

У Фанни, наконец-то, снова был свой дом, она вернулась в Ленинград, и прежняя мечта о театральном институте не давала ей покоя. Но Лиза, чей характер всегда оставлял желать лучшего, а после развода и лагеря испортился окончательно, категорически запретила ей туда поступать. Она почему-то считала, что все актрисы — проститутки, а актеры — запойные пьяницы и развратники. Откуда она вынесла это убеждение? Кроме Лизиного запрета было еще одно препятствие — школьный аттестат. Для поступления в институт требовалось полное среднее образование, а сибирская совхозная школа была семилеткой. Фанни было необходимо записаться в вечернюю школу рабочей молодежи — ШРМ, как их тогда называли, а чтобы попасть в разряд «рабочей» молодежи необходимо было устроиться на завод. После цеха разделки рыбы в Мурманске и совхозных полей у Фанни никаких иллюзий о подобной работе не было. Предстояло два года учебы в «вечерке» и, соответственно, черной работы. Черной — т.к. никакой рабочей специальности у нее не было. Конкурс в Театральный составлял до ста человек на одно место, а Фанни было уже 22 года, плюс два на получение полного школьного аттестата, итого 24. При этом никакой гарантии, что поступит. Лиза категорически потребовала не глупить и идти в техникум. Там, по крайней мере, хоть

стипендию платят. Фанни поплакала и подала заявление в дошкольное педучилище, куда брали без экзаменов. Детей она любила, особенно самых маленьких. Кроме того, в детском саду кормили, летом все садики выезжали на дачи, и предоставлялся отпуск в целых 30 рабочих дней (в отличие от 14-и дневного рабочего).

* * *

Из радостных событий того времени — им удалось вернуть их пианино, купленное Файтелем перед войной и конфискованное в пользу военной части в августе 41-го. Добротно сработанный инструмент мужественно выдержал и блокадный холод, и собачий вальс, и полчища некормленной моли, с удовольствием закусывавшей фетровой обивкой фортепьянных молоточков. Командование военной части отрядило роту солдат для транспортировки предмета культурного назначения на место его дальнейшего нахождения. Пианино поставили у Фанни в комнате, и она стала вспоминать все, чему учила ее довоенная немка. Загрубевшие пальцы не слушались и отказывались перечислять все бесконечные диезы и бемоли шопеновских вальсов. Фанни нашла простой выход — начала играть на слух. Она могла подобрать любую мелодию и с помощью нескольких аккордов — аккомпанемент к ней. Единственное, что ее огорчало, это отсутствие голоса. Пела она верно, и голос был приятный, но слабый. Весь вокальный дар достался Басе и был похоронен на сопках Манчжурии. (Забегая вперед, скажу, что голос достался Басиной внучке, которую так усердно учили музыке, что она возненавидела ее от всей души.)

А Лиза начала болеть. Астма душила ее и днем и ночью, не давая ни работать, ни спать. Недолеченный в Сибири гепатит тоже давал о себе знать постоянной болью в печени. Дышать помогало очень горячее питье. Она обдавала тонкий стакан кипящей водой, чтобы нагреть, наливала туда чай и пила кипящую на языке жидкость. Спать приходилось полусидя, подложив под спину высокую подушку. Считается, что астма — психосоматическое заболевание. Где-то я прочитала ее определение, как «невыкричанный крик». Думаю, что для Лизиного случая это было бы очень точной формулировкой.

* * *

В педучилище Фанни нравилось. Правда, она была старше большинства девушек, но она дружила со всеми, а умение играть на фортепиано делало ее желанным гостем на всех вечеринках.

В 49-м Бася родила дочь, которую назвала Леной. Дети в Мурманске росли хилыми и болезненными из-за недостатка света и отсутствия молочных продуктов. Рахитом болели все. Матери старались кормить грудью как можно дольше. Но Леночка росла на удивление

крепкой и до полутора лет, пока не родился ее братик, вообще не болела. Басин муж был моряком. Он уходил в рейс на три месяца, а когда возвращался, беспробудно пил. Файтель помогал ей, пока мог, но когда его из армии комиссовали, денег стало едва хватать только на его семью и теперь лишнего у него не оставалось. Бася письма писать не любила, и Лиза только из коротких поздравительных открыток к праздникам узнавала, что Бася жива. Но осенью 53-го пришло письмо от Файтеля. Он писал, что Басин мальчик, родившийся через год с небольшим после Леночки, умер от кори. Бася оставшимся ребенком совсем не занимается, и он боится, что Леночка тоже умрет. Лиза хорошо помнила, каким невыносимым ужасом была для нее смерть сына. Она понимала, как тяжело сейчас было Басе, но поехать к ней, чтобы помочь, она не могла из-за астмы, звать к себе в Ленинград — бесполезно, Бася бы не стала жить с матерью, она так и не смогла простить ей той истории с огурцами. Но ребенка надо было спасать — Файтель бы зря не волновался. И Лиза решила отправить Фанни.

* * *

Фанни отпросилась в училище на несколько дней «по семейным обстоятельствам» и уже знакомой дорогой поехала в Мурманск. Картину, которую она там застала, она всегда вспоминала с ужасом. Даже если в Мурманске и существовали ясли, то в таких количествах, что устроить туда ребенка было невозможно. Бася утром кормила дочку кашей и уходила на работу, оставляя Леночку в кроватке с высокими бортиками. Пожилая соседка время от времени заглядывала в комнату проверить, все ли в порядке. Леночка вела себя тихо, почти не плакала. У нее имелась единственная игрушка — тряпичная обезьянка, с которой она не расставалась ни днем, ни ночью.

Открыв Фанни дверь, соседка, хорошо ее помнившая, обрадовалась, и, перекрестившись, выдохнула: — Ну, слава Богу! Потом побежала ставить чайник, и, махнув рукой в сторону Басиной комнаты, добавила, — Сейчас сама все увидишь. То, что Фанни увидела, в голове не укладывалось. Мало того, что ребенок был грязный, в тонких детских волосиках кишели вши, которых Фанни со времен эвакуации не видела. Она натаскала воды из уличной колонки, нагрела полный бак для кипячения белья, принесла из коридора корыто и сначала отмыла ребенка, потом перестирала всю ее одежду и постельное белье — наволочку и простынку, пододеяльника не было. На мытье пола сил уже не осталось. Чистая, но мокрая, как ни выжимай, обезьянка сохла на веревке у горячей печки.

Бася вернулась поздно. Они долго сидели вечером, вспоминая Крестовский остров, поезд в Сибирь, совхозную жизнь… Под утро Бася, обведя взглядом нищую грязную комнату вдруг тихо завыла и ку-

сая кулаки, чтобы не плакать в голос и не разбудить девочку, судорожно сглатывая слезы, прошептала: — Вот, погляди на артистку! Все, все отняли. Ни голоса, ни красоты не осталось. Мать у меня молодость забрала, а теперь и ребенка хочет отнять. Ну и увози. Все равно здесь жизни никакой нет.

Утром Фанни с племянницей, закутанной в высохшее за ночь одеяльце, села в поезд и второй раз уехала из Мурманска.

* * *

Леночка оказалась чудесным ребенком — никогда не капризничала, ела все, причем быстро (наголодалась дома), слушалась с первого слова, игрушки не ломала, книжки не рвала. Золото, а не ребенок! Одно огорчало — почти не улыбалась. Ее удалось быстро устроить в садик, находившийся в 10-и минутах ходьбы от дома.

Лиза, почувствовав себя нужной, стала меньше задыхаться и, казалось, помолодела. Она нашла работу. Через две улицы находилось Всероссийское Общество слепых — ВОС — организация, занимавшаяся инвалидами по зрению, которых после войны было огромное количество. Туда приходили и ослепшие фронтовики, и совсем молодые мальчишки, так называемые «подрывники». После войны на местах боев оставалось огромное количество неразорвавшихся мин и нестреляных патронов. Мальчишки, несмотря на предупреждения об опасности и категорические запреты, разбирали мины и снаряды, которые взрывались у них в руках, отрывая пальцы часто вместе с руками, выжигали глаза, оставляя вместо лица красную, блестящую неживой натянутой кожей, маску без губ и носа.

В Ленинграде и области находилось много предприятий, на которых работали исключительно незрячие и слабовидящие. Они собирали электроустановочную аппаратуру — розетки и выключатели, а сетки — авоськи, которые они вязали из веревки, держали в руках, я думаю, все жители СССР. Но были среди них те, которых этот монотонный труд не устраивал. Такие ребята были упорными и старались получить образование. Они оканчивали специальные курсы, на которых заново учились читать — руками — специальный выпуклый шрифт Брайля. Лизу взяли туда работать секретарем, т.к. для чтения плоскопечатного шрифта и ведения отчетности требовался зрячий. Лиза зачитывала председателю ячейки «молодых специалистов» всю входящую документацию, составляла картотеку с данными на каждого слепого студента и преподавателя. Там было записано, где и с кем они проживают и в какой помощи нуждаются. Она составляла для них заявления, иногда даже письма домой писала. За суровый характер студенты ее немного побаивались, но уважали настолько, что когда в 2009 г. я, по странной прихоти судьбы, попала на работу в ВОС (должность называлась «специалист по социокультурной реабилитации слепых и слабовидящих»), то многие из старожилов еще помнили

мою бабку. Платили, конечно, очень мало, но на работу нужно было ходить только три дня в неделю на 4 часа. Это давало ей возможность заниматься внучкой.

* * *

Смерть Сталина тяжелее всех перенес Лева. Убежденный коммунист-ленинец, которому советская власть дала возможность получить образование и дослужиться до звания полковника медицинской службы, он воспринял ее, как личную потерю. И тем страшнее и чудовищнее стала для него кампания, развернувшаяся в связи с «Делом врачей-отравителей». На общем собрании его вчерашние друзья, люди, с которыми он вместе прошел и блокадный кошмар, и работу в прифронтовых госпиталях, вставали и требовали немедленно избавиться от сотрудников еврейской национальности, а курсанты начали демонстративно отказываться посещать его лекции. Через пару недель этой вакханалии Лева, выйдя из ворот Академии, почувствовал резкую боль в груди, попытался удержаться за мокрые прутья решетки, но рука соскользнула и он, потеряв равновесие, упал в мокрый февральский снег. Хоронили его без военного оркестра и полагающихся военным почестей. Медицинская Академия, в которой он прослужил больше 20-и лет, уволила его задним числом.

Лева, наверное, был хорошим врачом и преподавателем, но выбирать жен он совершенно не умел. Оставшись после смерти Вилли один, он сразу после войны женился на двадцатилетней санитарке, с которой познакомился в одном из госпиталей. Их сыну Виктору было 7 лет, когда Лева умер. Через год после этого, Тамара вышла замуж за румынского врача, окончившего медицинский институт в Ленинграде, и уехала с ним в Румынию. В апреле 53-го, когда «дело врачей» было закрыто и признано ошибочным, а все пострадавшие были реабилитированы (многие, к сожалению, посмертно) и восстановлены в прежних должностях, Вите начислили приличную пенсию за отца, но заграницу ее перечислять бы не стали. Поэтому Тамара перевела пенсию на сберкнижку и оставила сына Левиной дочери Мире, которая вырастила его вместе со своими двумя детьми. Деньги с книжки она из гордости никогда не снимала. Зато Тамара, приезжавшая в Ленинград каждый год, могла целый месяц жить на них королевски. Витя мать обожал, ведь ее приезды всегда были для него праздниками, но, и будучи взрослым, он никогда не осуждал ее за то, что она, фактически, бросила его. Он был третьим из Терманов (после Левы и Кима), окончившим Военно-Медицинскую академию по специальности врач-инфекционист.

Дело «врачей-отравителей» печально отозвалось и на жизни Лизы. Соседи, обрадовавшись, что теперь они, наконец-то, получат вожделенную жилплощадь, начали громко обсуждать в коридоре под Лизиной дверью, где они поставят пианино, на котором будет играть их дочь после того, как всех жидов отправят в Сибирь. А их сын —

подросток, демонстративно толкал плечом и Лизу, и Фанни, когда встречался с ними в коридоре или на выходе из кухни. Сосед даже не поленился принести и подключить на кухне радио, по которому всю зиму клеймили евреев, отравивших отца народов. Фанни пыталась протестовать, но Лиза, прошедшая лагерь, твердо усвоила, что любой шмон лучше пересидеть тихо. Она оказалась права — кампания закончилась, и соседи снова стали приличными людьми.

* * *

Фанни закончила педучилище и получила распределение в Ждановский районный отдел народного образования. Но, как оказалось, распределение не означало трудоустройства. Все заведующие детсадами отказывались принимать ее на работу кто под предлогом отсутствия вакансий, кто откровенно заявляя — евреев не берем. Наконец одна из заведующих подсказала пойти в садик №12 на Бармалеевой улице, мол там одна ненормальная всех жидовок собрала. Елена Васильевна Буршанова увидев Фанни, сразу сварливо заявила: — «Ну, и куда я вас всех девать буду? Приперлись на мою голову, а мне — отвечай! Давай сюда трудовую!». Обычно воспитатель брал младшую группу и вел ее четыре года до выпуска в школу. Но Фанни первые пять лет работала только с трехлетними малышами, что было труднее всего. Официальная причина была в том, что она, как неопытный воспитатель, с ребятами постарше бы не справилась, но на самом деле, в ее группе дети почти не болели, и отчеты по посещаемости для РОНО выглядели на фоне других просто замечательно. При этом на всех педсоветах заведующая не упускала возможности придраться к каждому. Ни разу не случалось, чтобы она кого-то похвалила. Фанни была самая молодая, поэтому ей доставалось больше всех. Сейчас этого терпеть бы никто не стал, но в пятидесятых деваться было некуда, все молчали. Воспитатели в этом уникальном детском саду практически все были еврейками. Звали их соответствующе — Ася Евсеевна, Рива Самуиловна, Мирра Вениаминовна (детских вариаций произношения этого имени было больше всего — от Мины Витаминовны до Веникоминовны), Роза Соломоновна, но когда прибавилась еще и Фанни Файтелевна, заведующая категорически потребовала имя упростить, так что с 53-го года Фанни стала Фаиной Павловной. Дети Фанни обожали, родители к каждому празднику дарили ей подарки. Чаще всего это были фарфоровые статуэтки и вазы с выгравированной поздравительной надписью. Одна из них «Любимой Фаине Павловне от малышек» до сих пор стоит дома. А тогда это белое, присыпанное пылью стадо козлят с веселыми девочками и мишек, крепко сжимающих бочонки из-под меда мохнатыми лапами, красивыми группами располагалось вокруг разнокалиберных ваз на вышитой дорожке, лежавшей, сколько я себя помню, на пианино. Вазочки периодически падали и разбивались, но на их месте, как зубы дракона, немедленно вырастали следующие.

* * *

Все детские сады каждое лето выезжали на дачу. Государственных дач в РОНО было очень мало, поэтому чаще всего для этого освобождались от парт классные комнаты поселковых школ. Сначала из города на грузовиках отвозили раскладушки с матрасами, одеялами и подушками, детские столы и стульчики, посуду и игрушки. Два дня давалось на обустройство классов под детские спальни и игровые, а потом на тех же грузовиках привозили детей. Воспитатели летом работали в две смены, ночью с детьми оставалась ночная няня.

Летом 1956-го года детский сад находился неподалеку от военной части, в которой служил рядовой срочной службы Илья Сергеевич Чавчавадзе. Фанни познакомилась с ним на танцах в поселковом клубе, куда молодые воспитательницы приходили по воскресеньям. Как писал Чехов: «Дачный воздух располагает к вольности нравов». Фанни уже стукнуло 29 лет, и любая «вольность нравов» была вполне позволительна. Он был на 4 года младше нее. В армию попал уже после института, из которого вылетел за злостные прогулы и неуспеваемость. В 37-м, в Тбилиси арестовали его отца и дядю. Тетка, сестра матери, не стала ждать приговора, а подхватила племянника и уехала с ним в Ленинград. Отцу дали «десять лет без права переписки», мать вскоре тоже арестовали, так что мальчик своих родителей почти не помнил. Илья был красив — копия знаменитого Раджа Капура, умел смешить и красиво ухаживать. Правда, я сейчас подозреваю, что на ухаживания у него времени особо не было. Роман развернулся в августе, к первому сентября садик вернулся в город, а в конце сентября Фанни поняла, что беременна.

Что должна чувствовать женщина, услышав от единственного близкого человека — родной матери — страшные слова, выкрикнутые ей в лицо: «Я тебя проклинаю!» Как ни печально, но это были первые слова бабки, обращенные так же и ко мне. Я могу понять ее отчаяние — они с трудом сводили концы с концами, живя на две копеечные зарплаты, и сдавая одну из комнат. Бася на Леночку ничего не присылала. Еще один ребенок был им не под силу. Да и все родственники дружно твердили Фанни одно — у тебя же есть Леночка, зачем тебе еще один ребенок? Она понимала, что рассчитывать на Илью смысла не было. У него впереди был еще год службы, а его тетка жила более чем скромно, да и по грузинским понятиям девушка, переспавшая с мужчиной до свадьбы, была совсем пропащей. Но эта беременность была последней возможностью родить собственного ребенка.

Разбирая после смерти матери хранившиеся в шкафу бумаги, я нашла письмо отца, где он просил назвать девочку Циалой, по-русски это Светлана. Я на него не в обиде. Жизнь и имя — совсем неплохо для начала существования.

Константин КОРНЕЕВ

/ Иркутск /

* * *

Неподвижна озёрная сфера — взгляни,
Как уходит в белёсую дымку кораблик.
Мы остались одни, мы остались одни,
Я и ночь на причале эпохи. Пора бы

Успокоить дрожащую душу, и вскользь,
Ненароком коснуться воды, от которой
Как молитва, исходят и радость, и боль,
Заключая в себе наступающий город.

РА

Монохромный рассвет в плёнке
Замурован — бледны гор
Очертанья, и звук ломкий
Продлевает игру в го

До последней пустой фишки.
Темнота, как тугой скотч,
И любой парафраз — лишний,
Хоть прими, хоть гони прочь.

Общепринятый свод правил
Не спасает уже, когда
Сквозь стекло различим Авель
И библейские города.

Дальше — только в стрелу заперт
Звук, и рушится в пыль гора.
Так всей жизни моей рапорт
Превращается в порт Ра.

АТЛАНТ

Так дойдёт перекличка до самых концов земли,
И безумный философ скажет тебе: «Замри!»
Рухнет воздух освобождённый с небесных крыш,
Оставляя эпохе всю ледяную тишь.

Посмотри на себя: ты и зеркало, и отраже-
ние. Невозможно переиграть уже
Эту партию — где и с кем разделив судьбу,
Ты отправишься мир держать на своём горбу?

Говори, говори, сумасшедше, наперебой,
Пусть распластанный воздух станет тебе тобой,
А захочешь — молчи, различай только ямы тех
Лиц, которым ты и спаситель, и грех

Одновременно. Долгий тянется горизонт
По твоей ладони — значит, прими закон:
Кто поднимет на плечи ношу размером с мир,
В том закончится человек,
Но начнётся миф.

* * *

Ты выйдешь, выплеснешь себя,
как чай из чашки
в пролёт окна, в рычанье оголённых
[во] сточных труб;
и не заметят чайки
как рухнешь в сети рыбаков,
в раствор солёный…

А воздух дремлет в ожиданье смерча
и пахнет временем, судьбой, элладой;
ты выпадешь из правил этой речи,
да и других речей уже не надо.

Закончена очередная смена,
раздастся всплеск харонова весла,
а тело остаётся, и омела
уже — смотри —
сквозь тело проросла.

СПИЧКИ

Куда скользит человек по замерзшей глыбе
того, что вчера ещё вечером было улицей?
Не знаю.
По ком звонит телефон из кармана куртки,
нечаянно забытой в последнем
вечернем троллейбусе?
Не знаю.
Зачем продолжается работа турбин
гидроэлектростанции,
если весь город уже погрузился в летаргический сон?
Не знаю.
Откуда приходит очередной
беспрекословный вождь,
и каким образом он задерживается
на многие десятилетия?
Не знаю.
Почему не удаётся извлечь огонь,
способный осветить путь миллионам людей,
заблудившихся в непроницаемом лабиринте
собственных желаний?
Знаю:
Потому что промокли спички в кармане пальто.

* * *

Я долго смотрел, как оплавленный свет
Срывался и падал с некрашеных зданий,
Сменялась эпоха в сети интернет
Под шагом колонны весёлых и ранних
Детей поколения зет.

Кричала из всех мониторов страна
О том, что нельзя так отчаянно, мимо…
Одна в целом мире, колонна-струна
Шагала, шагала неостановимо,
Едина, завершена.

Когда же затих неразборчивый гул,
Растёкшись по свалкам двадцатого века,
Я выключил свет, я окно застегнул,
Лицо непричёмного человека

Перелистнул.

ОБРАЩЕНИЕ К ОГНЮ

Что ещё огню сказать?
Он — стена, он — стрекоза,
Красный, жёлтый, золотой,
Старый, снова молодой.
Знает всё и обо всех
Кто грешил, кому — не грех
Проживать такую жизнь,
Что — хватайся и держись,
Или отводи глаза…
Но спокойна стрекоза
И летит вокруг стены.
Все горшки обожжены,
Завершается игра,
Человек, тебе пора,
Сделать шаг — таков расклад:
Впереди не рай, не ад,
А известный поворот:
Пепел–ветер–почва–всход.

* * *

Как откроешь судьбу — не ту,
И на лестничной клетке телом
Упираешься в темноту:
Ничему ты не внял, брателло.

Проскользнёт ли слепая мышь
По Транссибу к тебе в Москву, и
Ты не мыслишь, не говоришь,
По инерции существуешь.

А вокруг — вековой размах,
Буря в кружке, берите шире!
Ты — как знал — прочитаешь знак
На двери, словно хоббит в Шире.

Позовёт тебя темнота
Из распахнутой бездны твита,
На безмолвный вопрос — когда?
Будет каждый ответ засчитан.

Повторю, как бы ты не форсил:
Мене, мене, текел, упарсин.

* * *

Что остаётся? Выкрасть город
из кондуита фонарей…
Как звёздный полог с неба спорот —
лежит на пыльном алтаре,
И время за грудки хватает,
как рыбу, тащит из сетей,
И стены древнего Китая
ещё седее и древней.

Безумный шляпник — мой товарищ —
с ухмылкой открывает дверь.
И если в вечности не шаришь,
то не срывайся и теперь,
А обернись, худой крестьянин,
бери и поле, и коня,
И лес, озвученный ручьями.
Но хорошо бы мне понять,

Что остаётся. Вот чернила,
не надо ждать, когда — февраль,
А надо выпить трубку мира
и выкурить святой Грааль,
Чтоб на Бульваре Капуцинок
найти распятого себя:
Один носок, один ботинок
и серый свитер сентября.

ЗВУК

Я слышу звук — и чище нет его.
Отталкиваясь от зеркальных зданий,
Он мечется — живое существо
Из тех, неизречённых, первозданных.

Он ищет выход в камне неживом,
Но город глух и проплывает мимо.
Я отыщу и вызволю его,
И стану им.

…Для остального мира
Я только звук — и больше ничего.

Сима ЦЫСКИНА

/ *Мельбурн* /

ЧЕТЫРЕ СЮЖЕТА ПРО ПОРНУХУ

Сюжет первый. Таллин[1]

Про порнокино в СССР знали, в основном, понаслышке. Хотя и находились счастливцы, побывавшие в весьма неотдаленной Финляндии, которые, прибарахлившись у резвых торговцев в порту, находили время заскочить для культурного времяпровождения в кинотеатр.

Вернувшись домой, и задумчиво раскурив импортную сигарету от импортной же зажигалки в кафе Пегас, за чашечкой кофе с коньяком, они делились тем, что именно происходило на экране.

— Чуваки, это высокое искусство, игра света и тени. Красивые люди, красивые гениталии, — втолковывал Уно Каламаа, известный режиссер Таллинфильма, грея в ладонях тюльпановидный бокал. Недавно он был удостоен международной кинопремии за свою пластилиновую мультипликацию по мотивам Ильфа и Петрова.

Народ возбужденно таращился.

Посмотреть порнуху было голубой мечтой.

И вот для избранного круга мечта осуществилась, но не подумайте — вовсе не для гнилой интеллигенции, а самых, что ни на есть, работяг.

В мастерскую бытовых услуг, разместившуюся в средневековом и довольно мрачном здании на углу Ратушной площади, вход в которое осенял пудовый чугунный сапог, кто-то притащил кинопроектор и катушку 8-миллиметровой пленки. Здесь же, в небольшой комнате, растянули белую тряпку экрана.

Публики набилось, как сельдей в бочке, дым стоял коромыслом.

Фильм был произведён в Швеции, и действие происходило в коровнике. Резвая доярка с косичками сначала подносила скоту сено, а потом на том же сене ублажала себя разными предметами, в том числе — ручкой от граблей.

---

[1] Тогда — с одним «н».

Дамы стыдливо потупились, но из зала не выходили.

Затем появился конюх в фартуке на голое тело, и заученными движениями стал иметь доярку крупным планом, в хвост и в гриву.

Зрители ахнули, из коридора напирали желающие приобщиться. Атмосфера накалялась.

В последнем кадре героиня старательно слизала остатки пиршества с живота героя.

Часть вспотевшей публики вывалилась в коридор, в комнату вдавились новые зрители. Свет погас — и перемотанный ролик покатился снова.

Весть о запретном киносеансе распространилась быстро. За день фильм посмотрели ювелиры обоих полов, а также часовщики. Набежали портные и швеи из ателье на соседней улице Виру. Прибыл начальник цеха, со своим заместителем и секретаршей. Пришли продавцы, продавщицы и заведующий из гастронома напротив, а также два дворника.

Пожилой модный портной Леопольд Рубинчик, выбравшись из кинозала, положил под язык таблетку нитроглицерина, но сильных эмоций не высказал:

— В буржуазное время, когда это ателье было моё, мы тоже кое-что могли. Я был жгучий брунет, и меня любили эстонские дамы! Мы с братом Руди держали респектабельную квартиру на Виру, куда можно было пригласить блондинку, и все были довольны. Но Сталин был великой гуталинщик, и нас отправили в Сибирь. Хотя даже там со временем можно было с этим тоже как-то устроиться.

— А теперь у меня постоянно полшестого, — добавил он, пожевав губами, хотя часы на стене показывали без десяти четыре.

Последним на сеанс явился в полном составе наборный цех близлежащей типографии «Сигнал» во главе с метранпажем, дюжей женщиной Ритой, перекатывавшей из одного угла рта в другой папиросину «Беломор».

— Вот моему бы Семену на это посмотреть, — провозгласила Рита после фильма. — А то он шишку-то свою трёт-трёт, а когда — давай, так ничего! Допился, алкаш…

На последних сеансах ролик крутили задом наперёд. Все с удовольствием оценили творческую находку.

Позднее мастера цеха вызвали на ковёр, но никаких серьёзных санкций не последовало.

Поговаривали, что владелец пленки несколько раз крутил киношедевр в бане для горисполкомовского начальства, но это, конечно, были пустые сплетни.

Сюжет второй. Вена

Мама Эльза всегда оставалась женщиной, до мозга костей. Несмотря на то, что в момент отъезда из Советской Эстонии ей исполнилось 70 лет, она выглядела не более, чем на 65.

Мама Эльза красила губы ярко красной помадой, ресницы чернейшей тушью, а брови наводила блестящим черным карандашом. Кроме того, под волосами у нее был спрятан шиньон, скрывавший поредевшую макушку.

Щеки у мамы Эльзы были нежного младенческого оттенка, благодаря изрядной порции румян, припорошенных сверху персиковой пудрой «Рашель».

Поскольку в Вене стояла осенняя погода, на маме Эльзе было великолепное пальто из черного букле с норковым воротником и кокетливо сдвинутая набок шляпа с широкими полями.

Артурчик, в отличие от мамы, выглядел не столь свежо. Перед отъездом он две недели гудел по таллиннским кабакам в компании многочисленных подруг. Брючки его были изрядно помяты, на подбородке красовалась недельная щетина. Из-за хронического похмелья эффект от заграницы, обычно бьющий советского человека по мозгам, тоже оказался несколько смазанным.

По прибытии в Вену мама Эльза потянула сыночка прогуляться по улицам. Вену она помнила неплохо — до войны именно здесь она жила с родителями и сестрами, и именно отсюда семье удалось вовремя унести ноги в Эстонию, перед самым гитлеровским аншлюсом.

Но не успели они обосноваться в Таллинне, а папочка — поставить на производство очередную фабрику мануфактуры, как с востока произошел другой аншлюс — Эстонию присоединили к Советскому Союзу.

Снова пришлось погрузиться, на этот раз — в теплушки.

Папочка с тремя новоиспеченными зятьями отправился в Сибирь, где сгинул без следа. А Эльза с годовалой дочкой, двумя сестрами, и в компании полного вагона арестованных эстонок, выгрузилась в Кировской области. Привыкшими к фортепиано руками, она первое время собирала картошку в колхозе, ну а затем шила шубы на фабрике «Белка» все последующие 10 лет ссыльного поселения. Причем весь конвейер работниц между собой говорил сугубо по-французски, несмотря на праведный гнев бригадирши, присматривавшей за буржуйками.

В общем, у мамы Эльзы была богатая биография, но, по ее собственным словам, она никогда не прекращала следить за собой, чтобы оставаться привлекательной для мужчин.

Потому что, по мнению мамы Эльзы, секс сохранял молодость.

И вот теперь, попав наконец в знакомую до боли Вену, и выпив кофе на площади перед сбором Св. Стефана, мама Эльза объявила Артурчику, о своем сокровенном желании — первым делом посмотреть порнофильм.

— Мама, ты сошла с ума, — завопил Артурчик. — Ты пожилая женщина. Твоей внучке в Израиле 18 лет уже. На что это похоже? Покойный папа в гробу перевернется...

— Не перевернется, — с достоинством ответила мама Эльза. — Рудольфи очень интересовался сексом, поэтому я постоянно вытаскивала из его постели любовниц. Даже в советское время, когда он вернулся из лагеря. А до войны они с братом Леопольдом на двоих держали на Виру холостяцкую квартиру для утех, пока мы с сестрой не прекратили это дело. В общем, считай, что я делаю это вместе с ним. Он будет мысленно с нами.

— Хорошо, — сказал Артурчик. — Я с тобой пойду, но я тебя не знаю.

Кинотеатр «Астор» размещался в довольно темном переулке, вдалеке от фешенебельных районов. Мама Эльза от трамвая, в котором они из экономии проехали зайцем, шла под руку с сынком, однако по мере приближения к дверям, он начал от нее отпихиваться.

Билеты купили по отдельности, и служитель с фонариком провел их на разные места. Артурчик сидел впереди, мама Эльза — на два ряда дальше.

Зал был полупустой, в основном в креслах развалившись курили мужчины весьма пролетарского вида. Явление аристократической мамы Эльзы, при полном макияже, в модной шляпе и пальто, явно произвело впечатление, несмотря на полумрак.

Через полчаса, когда на экране со вкусом разворачивалась групповуха, с участием одного черного и трех белых парней и двух девиц с косичками, судя по виду — шведок, в зале раздался хруст фольги и громкий шепот мамы Эльзы: — «Arthurchen… Arthurchen…»[1]

Артурчик замер, сделав вид, что не слышит. Не тут-то было. Зов стал настойчивей, и в нем послышались решительные нотки. Поняв в глубине души, что сопротивление бесполезно, он обернулся. Мужчина, сидевший за его спиной, передал ему полплитки шоколада и прошептал:

— Von dieser netten Dame[2].

— Danke[3], — машинально пробормотал Артур, севшим от злости голосом, и пробираясь по ногам, вышел из зала.

Мама Эльза пришла в пансионат вечером довольная и возбужденная.

— Напрасно ты ушел, этот господин меня проводил. Он такой милый! Завтра мы пойдем с ним пить кофе. Но знаешь, он мне рассказал, что есть кабинки, где можно смотреть порно в дырочку, только надо бросать монетки. А если быстро меняться, то за одну монетку мы сможем посмотреть вдвоем. Давай, собирайся!

---

[1] Артурчик (*нем*).
[2] От этой милой дамы (*нем*).
[3] Спасибо (*нем*).

Сюжет третий. Рим

Ах, Рим!

Колизей, Пантеон, Сикстинская капелла, которая в том, приснопамятном году, как на зло, была закрыта на реставрацию.

Однако, разношерстную толпу бывших советских граждан, катившуюся туда-сюда по курортной набережной Лидо-ди-Остия, недоступность микельанджеловского шедевра вряд ли тревожила. Она была занята повседневными делами — добычей приработка к скудному еженедельному пособию от щедрот благородных американских евреев, ну и распространением слухов и сплетен, обычным в состоянии перманентной вздрюченности.

— Надо ехать в Майами, там хороший климат...

— Вы с ума сошли, только Нью Йорк, только Брайтон Бич, там все наши, и английский не нужен…

Стелла целеустремленно продиралась через толпу. Ей было дано задание купить порнофильм на восьмимиллиметровой пленке.

До этого она долго препиралась с мужем, кто пойдет, но в последнюю минуту зашел сосед и увел Гарика на Круглый рынок за куриными потрошками и индюшачьими крыльями, прозванными находчивыми эмигрантами «Крылья Советов». Ввиду крайней дешевизны они и составляли рацион большинства семей на довольствии.

Внучка соседки Эстер, уже ходившая в первый класс организованной тут же английской школы, копалась в супе, вылавливая кусочки и волновалась: «I hope, it’s not пуп!»

Стеллиной дочке Анечке было всего два года, но по мнению соседки по квартире, этого ребенка ждало большое будущее.

Соседка Эстер была интеллигентнейшей пожилой дамой из Эстонии, знавшей пять языков, и в молодости обучавшейся в венском университете. Маме Эльзе она приходилась троюродной сестрой, но слегка ту презирала, за чрезмерное, как ей казалось, внимание к собственной внешности, а племянничка Артура называла не иначе, как «стрекозёл».

Свое заключение о гениальности соседского ребёнка она сделала не на пустом месте — на днях Анечке, как положено, купили золотые сережки с маленьким камушком, и со второго этажа была приглашена свирепого вида бывшая косметичка из Москвы для прокалывания ушей, с шилом наперевес. При виде устрашающего инструмента Анечка заорала, как пожарная сирена, и орала, захлебываясь, до тех пор, пока ее не поднесли к зеркалу с сережкой в одном проколотом ушке. Посмотрев на результат, ребенок сглотнул слезы и сопли и решительно потребовал: «Дугую».

Тем временем в отсутствие Стеллы, папа Гарик уже полчаса безуспешно уговаривал свое чадо поесть индюшиного бульончику. И тут его осенила блестящая мысль — в коридоре на стене красова-

лось немудреное украшение бедной съемной квартиры— бутафорский рыцарский шлем и сабля. Сорвав саблю, он ворвался в кухню, с криком рассекая воздух: «Жри, дрянь, убью на фиг!». Кукольная Анечка с интересом посмотрела на папу большими черными глазами и радостно засмеялась.

Уставший Гарик валился с ног — ему надо было подготовиться к очередному выходу на базар «Порто Портезе», где эмигранты поторговывали всякой всячиной — от советских презервативов и нотных сборников до разного рода технических приборов. На кухонный стол был выставлен кинопроектор, который следовало опробовать. Дюжий Гарик стучал по агрегату железным ребром ладони, пытаясь добиться желаемого результата. Наконец проектор, устав сопротивляться, с ворчанием включился и дал луч.

— Направленно-рассеянный свет, — с удовлетворением констатировал Гарик.

— Дорогой мой, — образованная Эстер вынула изо рта сигарету, — это несовместимые понятия. Либо — направленный, либо — рассеянный…

— У кого-то, может, и несовместимые, а у нас, — изрек Гарик и пригласил убедиться.

Действительно, луч, несомненно, был направленным, но вместе с тем какая-то рассеянность тоже явно прослеживалась. По-видимому, причиной противоречивого феномена была хитрая советская оптика, пользовавшаяся среди итальянцев большим спросом. Вероятно, благодаря своим непредсказуемым эффектам.

Эстер подняла бровь. Она уважала Гарика за то, что он каждую неделю ездил в Рим, как он говорил — в театр. Правда на вопрос, какую пьесу он смотрел, отвечал уклончиво, ибо заплеванные стриптизные театрики вокруг римского вокзала «Термини» названия своим представлениям не давали.

Итак, поход Стеллы на набережную увенчался успехом. На контрольный прогон проектора были приглашены родственники, друзья и знакомые.

Детей оставили в соседней комнате под присмотром Эстер.

Публика собралась благодарная и сопровождала каждую сцену одобрительными комментариями, ибо звуковой дорожки у ленты не было.

В разгар действа в небольшую паузу ворвался звонкий голосок Анечки, по-видимому, исхитрившейся сбежать из-под присмотра: «Тётя кусяет банан!».

Гарик привычным движением рубанул по проектору ребром ладони, убив тем самым ни в чем не повинный прибор навсегда.

На следующий день соседка Эстер, закурив сигарету, повторила:

— Помяните мое слово, эта кукла еще даст вам всем просраться…

Так и случилось. Через много лет Анечка стала в Австралии кинорежиссером и сняла довольно успешный детективный фильм «Рашен Глобтроттер», изобиловавший постельными сценами, и тепло встреченный критикой.

Не все заметили, что в небольшом эпизоде снялся и полысевший папа Гарик.

Он очень достоверно сыграл труп.

Сюжет четвертый. Мельбурн

В конце 70-х годов прошлого века Австралия была еще непуганой патриархальной страной. В воскресенье пабы и магазины закрывались, ибо воскресенье было днем для церкви. В субботу супермаркет работал до 12 дня, и эмигрантам, всю неделю вертевшимся на работе, как белки в колесе, надо было с утра успеть еще и на базар, чтобы дешевле отовариться овощами и мясом на всю неделю.

Культурная жизнь била ключом где-то в высших сферах, но по дороговизне билетов и слабому знанию английского для среднего бывшего советского гражданина была малодоступна.

Зато для дома можно было, наконец, обзавестись цветным телевизором и даже — видеомагнитофоном. А к нему, конечно, полагались и фильмы. В том числе — вожделенная порнуха. Ночной кинозал, так сказать.

Качество сто раз переписанных кассет было неважным, поскольку официально прокат фильмов XXX-рейтинга был запрещен почти во всех штатах Австралии.

Исключение составляла территория столицы Канберры, возможно потому, что членам правительства надо было как-то коротать время между напряженными парламентскими сессиями.

Тем не менее, после обильного, по-советски, ужина с не менее обильными возлияниями, хозяин дома предлагал желающим просмотр этих мутных кассет. Сюжет, как обычно, был довольно незатейлив, а включённые в него физкультурные действия — однообразными.

Что-то интересное попадалось редко. Такое, например, как греческий ролик, произведший большое впечатление. При виде полуантичного красавца с внушительным инструментом, поросшего курчавым овечьим руном, одна из дам даже воскликнула: «Ах, какой человек!»

Тем не менее, душа жаждала большего.

Культурного времяпрепровождения, скажем, или выхода в город.

Большого экрана, в конце концов.

Сенсацией эротического кино в ту пору была «Эммануэль». И именно туда был организован культпоход. Кинотеатр располагался на втором или даже третьем этаже офисного здания в центре сити на Сванстон стрит.

Перед фильмом обещали стриптиз.

У входа в пошарпанный кинозал зрителей встречала высоченная негритянка на платформах, с голой грудью и какими-то тряпочками на бёдрах.

Когда все расселись, она закрыла дверь и деловито поднялась на небольшую сцену. Народ захрустел попкорном. Заиграла оглушающая музыка, негритянка минуту отрешённо поизвивалась, и сняла свои тряпочки. Еще чуток повертев попой, она поцеловала в плешь предусмотрительно севшего в первый ряд выходца из Одессы, а затем удалилась.

Публика вяло похлопала, свет погас, и на экране молниеносно промелькнула эмблема с фонарем, в которой было что-то до боли знакомое. Оказалось, что до начала главного кино показывают мультик. Голос за кадром что-то бубнил по-английски, но незнакомые слова складывались в знакомые предложения: «Pedestrians should be loved» — неужели — «пешехода надо любить???» И по мере того, как на экране бедный пластилиновый пешеход уворачивался от разных опасностей, в оторопевшем мозгу синхронно вспыхивали строки: «Пешеходу разрешают переходить улицы только на перекрестках, то есть именно в тех местах, где движение сильнее всего и где волосок, на котором обычно висит его жизнь, легче всего оборвать».

В захудалом порно-кино, в центре Мельбурна пролог к «Золотому Теленку» воспринималась совершенной фантасмагорией. И, тем не менее, она была реальностью.

Наконец снова появилась серая эмблема «Таллиннфильма» с уличным фонарем, из-под которого поплыли заключительные титры, причем список гордо возглавляла фамилия Уно Каламаа, известного мультипликатора, который под коньячок в кафе «Пегас» проповедовал о высоком искусстве порнофильма. Все вернулось на круги своя.

А потом пошла «Эммануэль», но это было совсем уже неинтересно.

Татьяна ГРАУЗ

/ Москва /

Из цикла
«У самого тёплого моря»

ОГНИ

куда ты летишь Рембо́ или Ре́мбо [тёмное пиво в крови] голосом чёрным поёшь в свете ночи джаз осипшего лета луна отчуждённо раскачивается над твоей головой в горле звенит куст кровеносный и освещает всех белых и чёрных рыжих и русых с глазами как лодочки узкие когда ты целуешь слово [щербатое] крик новорождённого несущего небо и волю и эту тёплую как молоко из упругих сосков оглашенную речь вкус её свежий особенно после заката когда мёртвые спят как живые и солнце [сторожевая собака] лакает лучи ускользающих слов

Рембо́ [или Ре́мбо] снова уходит туда где огни и одни одиночки аэроплан пролетает над белым виском в тот невозможный тот день когда к женщинам приходит ненастье и тяжело внизу живота волосы сплетаются с воздухом русым с корнями живого и первородного света а муравьи убегают в чащу речи лесной и плещутся на другом берегу тяжёлые флаги деревьев кроны зелёные горят в груди и не гаснут ночные костры [мать отец брат сестра] кто-то картошку печёт хлеб посыпает солью крупной и твёрдой [холодом ясным] свяжи крепко свяжи небо землю слова звёзды мужчину доверие женщину [разрыта душа] и вспыхивают у самого рта огни [...] одни сторожевые собаки крылато срываются с языка

СНОВА СЛОВНО

и снова эта боль родных и кровных
и равенство как ливень нищих разных
когда и где на нары положили

и словно иглы ржавые сложили
нас лёгких и весёлых [кто нас знает]
и жалобу вложили в нас как щёлочь
горячих слов и едких слёз простых

ДАЖДЬ ДОЖДЬ

приснилось
что где-то внутри
что-то гнило
дрожало
как паутина
а паутина сверкает
дрожь паутины
запах цветущих черешен
дыхание прошлого
воздух голодный
воздух холодный
лунные ночи
лунные дни
исчезают
[исчезли] из памяти
новые в струнку дома
дамба и серебристое тление неба
предательство первое
узкие спицы сверкающие
в сердце синицы
в сердце цветущего горем дождя

когда умрёт дождь
останется озеро света над пыльной дорогой
и яркое н е р а с т р а ч е н н о е дыхание дня

ГОРЧИТ

это снежное русло реки
эти русые заросли улиц
эта боль эта крупная соль
эти жалкие птичьи улыбки

а над ними — зелёное небо
а под ними — сугробы и наст

слышишь скрежет железный лопаты
видишь дворника взгляд оробелый
и оранжевую безрукавку
слышишь тёмные речи его

непонятные смутные речи
азиатское время идёт
так лениво вразвалочку сонно
снег сгребает счищает ледок
азиатское мутное время
где каблук где плевок где мысок

свежим снегом город засыпан
ветром стылым запорошён
и сияет невидимый воздух
загазован неоновый сон

* * *

морозный день промёрз до состраданья

У САМОГО ТЁПЛОГО МОРЯ

...словно я с тобой
у моря...

живое горькое сиянье дня
травы подмёрзшей
чуть зелёноватой
синицы на кусте рябины

о слово тёплое *синица*
о слово красное *рябина*
зажглось на языке горит
горчит на языке а снег идёт

под вечер почерк сада не разборчив
рассеян в мутном небе слабый свет
и так темны и так до боли странны
той тишины неслышной разговоры

Наталья ПИРОГОВА

/ Благовещенск /

ОДНО НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ДВУМЯ ПРОСТЫМИ ВЕЩАМИ

Рассказ

Вода была очень горячей, и Елена Андреевна долго держала под переливчато шумящей струёй пунцовые от почти что кипятка — а в действительности бледные, в синих жилках и с тонкими узловатыми пальцами — руки, вновь намыливая их и подставляя ладони под воду. Закрутив кран, она, как полагается, воспользовалась ветхим вафельным полотенцем, сдернув его с забитого рядом с раковиной гвоздика, потом расстегнула булавку, которой был заколот высоко, под самый подбородок, поднятый воротник её объемистого белого халата — слишком великого для неё хлопкового обладателя щедрой ширины, длины прилично за колено, болтающегося сзади хлястика с двумя покорёженными от частых стирок пуговицами и небрежно ниспадающих размашистых плеч. Торопливо переодевшись в другой, чистый, пригнанный по фигуре и наутюженный светло—салатный халатик и сменив белые матерчатые брюки с досадными мокрыми бурыми пятнами в самом низу, над старыми сабо, возвышавшимися на высокой толстой платформе, на салатные же отутюженные брюки, она переобулась в босоножки на каблучках, а снятую робу, туго свернув в узел, положила на пол под раковиной.

«Занесу её к санитарке по пути, когда пойду домой» — решила она про робу, требовавшую временного избавления от неё по причине только что произошедшего использования на вскрытии и остро нуждавшуюся в санитаркиной стиральной машинке, отперла закрытую изнутри на ключ дверь комнаты, подошла к окну и рывком двинула на себя раму, осыпавшую её руку трухой дряхлого, продырявленного гнилью дерева.

Начиналось лето, распахнутые рамы вместе с убаюкивающим тёплым воздухом впускали в сумрачное и прохладно—затхлое пространство комнаты шуршание ещё не успевших из-за молодости за-

грязниться листочков на двух тополях, выросших прямо перед выходящим на торец здания окном, за которым протекала рабочая жизнь Елены Андреевны.

Тополя принадлежали к немногочисленным деревцам, обнадёживающим ни с чем несравнимый, какой может случиться только у самых завзятых казённых домов, унылый вид прозектуры. Помимо тополей, это были скрашивающие облезлый фасад пушистая лиственница, молодая черемуха, уже отцветшая редким, но очень изящным кружевом миниатюрных соцветий, дурманящих ароматом, странным для этого здания, кусты белой сирени и шиповника, также в утрате цветенья — мимолётного промелька тонко выделанных гроздьев нежных сиреневых лепестков и малиновых махровых цветочков, пахнущих терпкой сладостью и полных гудения пчел. Довершением пейзажа служил чахлый карагач, с трудом доверившийся своему поразительному кривому изгибу. Было ещё несколько ничем не примечательных рябин и осинок, низкорослых и жиденьких, растущих поодаль, у дороги, не со стороны фасада здания, а сзади, во дворе. Из окна Елены Андреевны эти робко шелестящие деревья были не видны, но Елена Андреевна была благодарна каждому из них. От их неприкаянности навевало укором тихо шумящих кладбищенских рощ, грустью солнечного света, редкой решёткой брошенного на мокрую, пропитанную лежалой хвоей и прошлогодними листьями глину лесных просёлков и даже холодком раннеутренних ветерков, пробуждающих на рассвете художественные натуры обитателей каких-нибудь неведомых и бесконечно далёких писательских дач, тонущих в переделкинских сосняках и березняках. Непышно зеленеющие каждое лето знаки природы символизировали неистребимое упорство жизни, произрастающей даже на такой болотистой и бесплодной почве, на какой держалась прозектура, и подтверждали справедливость общебиологических смыслов, так ценимых Еленой Андреевной.

В прекрасных своей бесстрастной отвагой секционных залах, украшенных рядком выстроенных столов вечной стали с оторочкой из ледяного никеля и ежедневным, по расписанию, дезинфицирующим сиянием синих кварцевых ламп, Елена Андреевна по очереди с коллегами вскрывала тела взрослых и детей, умерших от болезней. Она служила доктором, занимавшим в медицине совершенно особое положение, внушавшее благоговейный трепет наиболее впечатлительным и лёгкое недоумение — цинично подозрительным. Она была прозектором, и, в завершении каждого протокола вскрытия, там, где полагалось запечатлеть автограф, ей каждый раз приходилось объяснять, кем же она является на самом деле. Прозектором. Творческие по вдохновению и, пожалуй, несколько неуместные — избыточно научные — по содержанию, предназначавшиеся, к сожалению, для слишком приземленной рутины больничных будней протоколы вскрытий писались Еленой Андреевной в отдельной комнате второго этажа. Это был любимый ею очажок отстранения, иногда забывав-

ший, что он лишь застенчивый арендатор у требовательного хозяина, но приносивший тем самым Елене Андреевне краткое — на несколько минут, не более — забвенье.

Внизу, по направлению от придорожных деревьев к задней двери первого этажа, выходящей во двор, стремились припарковаться машины, разных мастей. И если не были они заезженными муниципальными грузовиками, транспортирующими умерших на место их последнего и весьма зыбкого пристанища на земле, а были машинами личников, подержанными и новенькими, занавешенными туманом дождя и прокалёнными зноем, заметёнными метельным снегом и мокрыми от его весеннего таянья — все они, седаны, внедорожники, хэтчбеки и кроссоверы, набитые связанными узами родства, дружбы, наследования и любопытства пассажирами, — все они были машинами одного типа. Объединяющие цели визитёров, прибывающих на личных машинах в контору Елены Андреевны, были монотонно одинаковыми. Похоронными.

Елена Андреевна только что вернулась из секционного зла, где вскрыла подряд два трупа.

Выражаясь профессиональным языком, можно было утверждать, что один из них был лёгким, другой — сложным. Легко далось вскрытие больного с центральным раком легкого. С ужасающими для непосвященных, но вполне обыденными для прозекторского взора метастазами, длинными щупальцами опутавшими печень покойного, Елене Андреевне было всё понятно. Сложным оказался труп много раз оперированного человека с осложнённой кровотечениями и прободением язвой желудка, перитонитом и с толстенной историей болезни, прибывшей в морг в сопровождении когорты докторов, имевших большее — к таким причислялись хирурги — или меньшее отношение к лечению пациента. Интерес к сложному вскрытию, доставшемуся Елене Андреевне, проявили не только те, кто оперировал несчастного язвенника, но и врачи—реаниматологи, рентгенологи, эндоскописты и «узисты». В образованном ими вокруг секционного стола плотном и не совсем доброжелательном кольце хрупкая, но стойкая Елена Андреевна мужественно демонстрировала профессиональное мастерство.

Теперь, когда с действом, совершённом ею в секционном зале, было покончено, Елене Андреевне надлежало уже наедине с собой скрупулезно исследовать тонкости летального исхода выпавшего ей хирургического случая. И, прибегнув к фолиантам, счастливо завещанным потомкам—эскулапам классиками медицины, тщательно изучив детали, во всём разобравшись, всё взвесив и обдумав, приступить, наконец, к созданию многостраничного протокола вскрытия.

Она была оглушена вулканическим извержением своего собственного старания, измучена напряжением, блистательностью обнаруженных знаний, помноженных на пространность только что выданных ею присутствовавшим на вскрытии любознательным клини-

цистам разъяснений. Она устала от утомительной необходимости сегодня, как это было вчера, как это будет и завтра, за всё отвечать, всё растолковывать, быть ко всему готовой и неизменно оказываться на самой высокой — патологоанатомической, с честью несущей просветительскую миссию — высоте. Ей надо было что-нибудь съесть, выпить сладкого чаю, но лень было даже засунуть кипятильник в банку с водой. У неё стучало в голове, скорее всего, до не манифестирующих грозной патологии, но, тем не менее, отнюдь не оптимистических, субфебрильных цифр поднялась температура, и лучшее, что могло бы сейчас произойти, и чего она не сделала, — это свернуться калачиком и задремать.

В дверь поскреблись, и, не дожидаясь ответа, в комнату размашисто шагнул санитар в мятом синем костюме и спущенной под подбородок бумажной маске, зацепленной за уши резинками.

— Ну, что, отстрелялась, — ласково сказал санитар, которого звали Павел Петрович.

— Отстрелялась — отозвалась Елена Андреевна.

— Два трупа зараз — это ерунда. Это нормально. Только вот с протоколами придется повозиться, да?

— Ага.

— Ничего, напишешь. Ты у нас умная.

Павел Петрович плюхнулся в кресло, обитое коричневым кожзаменителем со змейками поролоновых трещин, и вытянул ноги так, как это бывает, когда перемещающие тела людей нижние конечности давит тяжесть многочасового труда. Руки у санитара были большие, натруженные, с вздувшимися крупными венами, заусеницами вокруг коротко остриженных ногтей, обведенных въевшимися серыми ободками, и с розово—влажной, запревшей кожей на кистях — с них только минуту назад были стянуты тесные резиновые перчатки. Гудевшим этим рукам Павла Петровича необходимо было во что бы то ни стало предоставить подобие отдыха. Сначала, ещё не зная, как пристроить руки поудобнее, Павел Петрович беспокойно теребил ими маску, а потом, сообразив, заломил: правую руку за голову, левую — за спинку кресла.

Кресло вместе с крутящимся стулом, шатким платяным шкафом с болтающимися дверцами и двумя примощенными вплотную друг к другу столами входило в меблировку комнаты—очажка Елены Андреевны. На лабораторном столе возвышалась изысканная горка бинокулярного микроскопа, на приставленном к нему столе письменном громоздилась чувствительная, переживающая и страдающая вместе с Еленой Андреевной печатная машинка, бывшая самоделом: отделенческие умельцы давным-давно смастерили ее из двух — отечественной советской еще «Ядрани» и немецкой «Оптимы». Элегантный удлиненный шрифт «Оптимы», запечатлённый в печатном гибриде, был приятным на глаз и даже на ощупь и радовал Елену Андреевну.

Осунувшееся лицо Павла Петровича с резкими чертами и ранними глубокими морщинами покрывала ровная медь загара. От мешковатой заношенной рабочей его одежды несло табачищем вперемешку с потом, да еще с дурноватым, насильственно извлечённым из сакральных тайников прозектуры, запахом тлена.

— Хирургов-то сколько к тому мужику пришло, мама не горюй! Напартачили, нет? — по-свойски поинтересовался Павел Петрович. — Или случай тяжелый? Когда у них все просто и гладко, они и не появляются. Историю пришлют — и привет. А тут всем отделением, похоже, завалились. Этот дядька высокий, с усами, который все курил, он кто, профессор с кафедры?

— Доцент.

— Чего-то я его не знаю. Приехал, что ли, откуда? Надо познакомиться. А то у меня Санька в этом году поступать будет, надо, чтобы без проблем было. А что? Я уже так с профессором одним с гинекологии познакомился. Подхожу к нему на вскрытии, говорю, давай знакомиться. Павел меня зовут. Он аж на дыбы встал: « А вы знаете, кто я? Я профессор!». А я ему: «Ну и что? Ты профессор. А я санитар. И ты ко мне все равно придешь. Не боись — настанет срок, понадоблюсь». Смотрю я на него, а он, блин, в лице переменился, напыжился весь, а сказать-то нечего. Руку молча мне сунул, первый. Вот так-то. С гинекологией теперь дружим. Это такое дело, хлебное, гинекология-то. Глядишь, и Санька у меня, может, гинекологом будет. Хотя вряд ли. Он в хирурги метит, как раз к твоему доценту.

Не покидая кресла, Павел Петрович подался вперед, наклонился, задумчиво повертел подбородочную маску и, стянув с головы свалявшийся чепчик—колпак, вопросительно взглянул на Елену Андреевну.

— Денёк, конечно, ещё тот, работы выше крыши. Каждый понедельник вот так зашиваемся… Давление еще прёт. А, может, наоборот, пониженное? Или в атмосфере что не так? Мы ж на вредной работе к атмосфере шибко чувствительные, а, Лен? У тебя не найдется, случайно, полечиться? — просящий голос санитара был полон надежды.

Придерживая спиной болтающиеся дверцы, Елена Андреевна достала с верхней полки шкафа колбочку с круглыми бочками и плоским донышком, плотно закупоренную притёртой пробкой из тяжёлого матового стекла, в колбочке плескалась прозрачная жидкость. Заполнив до половины жидкостной прозрачностью стопку, завалившуюся в дальний угол верхней полки и не сразу найденную, и, неторопливо порывшись среди книг, отягощавших платяной шкаф, Елена Андреевна извлекла из его недр и вывалила на стол бумажный пакет с тонким рассыпным печеньем. Павел Петрович, воспалёнными глазами внимательно следивший за действиями Елены Андреевны, проворно добавил в стопку холодной воды из крана, полюбовался точностью своего движения, не перелившего через край ни капли замечательного напитка, одним махом опрокинул стопку, потянул носом воздух и зажевал щепоткой крошек смятого печенья.

Елена Андреевна примостилась в уютном промежутке между составленными впритык столами на единственном и близком к окну стуле—вертушке. Умиротворенный Павел Петрович вновь устроился в кресле напротив.

— Ты как выходные-то провела? — спросил он. — Дома, подика, как всегда, сидела, за город не ездила?

— Нет, никуда я не ездила, занималась домашними делами. Два вечера подряд с Лёшиком «Маленького принца» читали.

Павел Петрович кивнул.

— Чего собакам в приют таскала?

— Да так — готовый собачий корм, сухой и не очень дорогой, в большом пакете, Лёшик помог мне его донести. Для кошек — минтая немного мороженого купила. Мы с Лёшиком и кипу старых газет отнесли, они у нас от растопки остались. Котятам в приюте газеты в клетки подстилают, — доверительно объяснила Елена Андреевна и улыбнулась, вспомнив о сиротских котятах и домашнем Лёшике.

Лёшиком звали сына Елены Андреевны, восьми лет отроду, с которым жили они вдвоём в окраинной избе—пятистенке, студёной до самой летней поры. Когда в июне наконец-то отпадала нужда топить дровами и углем печку, грязнившую утлую проходную комнату, поделенную на кухню и сени, Елена Андреевна была признательна судьбе за ещё одну подаренную скромно, но достойно пережитую в дряхлой хате зиму.

— Вообще зрелище там, конечно…

Елена Андреевна помедлила, потом произнесла неуверенно:

— Довольно-таки тяжёлое.

— А чё тяжелое-то? — не понял санитар. — Это жизнь. Жизненное зрелище там, Лена, согласно законам природы. Или джунглей, ха…Загон для никому не нужных. А чего? Нормально! Хоть такой есть. Свет не без добрых людей. Кормят там их, собак этих и кошек. Даже лечат. Лечат или как?

— Лечат, конечно. Но не так, как хотелось бы. Беда в том, что, ветеринару платить нечем. Пожертвований не хватает, — вновь пояснила Елена Андреевна и, обрадовавшись вдруг проскользнувшей в пустом разговоре важной мысли, спохватилась:

— О, спасибо, ты мне напомнил! Надо «гексорал-спрей» животным купить, для лечения инфекций полости рта и глотки. Бинты с зелёнкой тоже пригодятся. Куплю на неделе и отнесу в следующее воскресенье.

— Ну вот, видишь, хоть есть куда деньги потратить! — заметил Павел Петрович. И великодушно протянул:

— Что ж, это дело благородное, отплатится тебе, наверное, на том свете за доброту.

Помолчав, продолжил:

— А я вот в пятницу отгул брал, так на три дня ездили на рыбалку, на водохранилище. Компашка собралась что надо, скореши-

лись за эти дни, ребята из ментовки, у них, понятно, разрешение на рыбалку в любом месте. С ними все можно, и там, где нельзя, сетями все равно ловить можно. Красота. Природа никем не загаженная бушует. Купались. Вода, правда, холодная, но бодрящая. Здорово.

— Много рыбы поймали? Тайменя, щуку поймали? — спросила Елена Андреевна.

— Много наловили, и щук несколько поймали, а с тайменем неудача вышла, сам не знаю, почему. Может, выловили его уже всего такие же браконьеры, как и мы, — Павел Петрович ухмыльнулся. — Может, сезон еще не настал…

Прокуренные покашливания санитара заглушились грянувшими за окном ударами в барабан — резкость барабанной дроби сглаживалась жалобными подвываниями труб и валторны. Благородные духовые инструменты отчаянно силились блюсти гармонию аккордов, но то и дело срывались в какофонию.

Импровизированный духовой оркестр мелкого местечкового разлива приступил к исполнению старинного романса, сотканного из печали. Никак не маршевые — скорбно—драматические оркестровые траурные марши на территории больницы не звучали — а камерные, лирические вещи — «Гори, гори, моя звезда» или пахмутовская «Нежность» — сопровождали вынос из ритуального зала гроба с усопшим. Ритуальный зал размещался в обычной, никак на зал не похожей, комнате первого этажа, снабженной аскетичным постаментом для гроба, маленьким слепым оконцем, обитыми чёрным шпоном стенами и дверью с облупленной краской неопределенного цвета и тугой пружиной, выстреливающей во двор сразу двумя дверными створками.

Искаженные примитивным исполнением, незамысловатые и щемящие душу мелодии привычно ковыляли рядом с Еленой Андреевной, Павлом Петровичем и со всеми теми, кто работал в прозектуре. Погребальная музыка была такой же частью их жизни, как бланки с записанными на них свидетельствами о смерти, тела умерших, родственники, оформляющие похороны, истории болезней, закончившихся фатально, и потому перекочевавшие из больницы в морг.

Похороны, проходившие в морге, сменяли друг друга каждый час, а то и полчаса.

Елена Андреевна внимала Павлу Петровичу и не видела, как выносят очередное тело. Ей и не надо было видеть, всё было давно увидено и усвоено долговременной памятью.

Она представляла сейчас кучку людей, толпившуюся за углом прозектуры. Обычно на этом углу собирались люди, уже обронившие покойному последнее «прости» и теперь, выполнив долг прощания у гроба, дожидавшиеся окончания церемонии, вершившейся в ритуальном зале. На протоптанной под окном Елены Андреевны тропинке люди пережидали, переминаясь с ноги на ногу в тесноте узкого тропиночного пространства, дышали воздухом, курили, разговаривали, иногда тихо, вполголоса, иногда, встретившиеся после долгого пе-

рерыва и взбудораженные неожиданной встречей, громко, оживленно и забывчиво по отношению к причине, приведшей их в прозектуру. Нередко слышался плач — из-под наброшенных черных платков всхлипывали и причитали речитативом женщины. Летом, когда все открывалось и сквозило, мощный и ясный гомон голосов, умолкавших лишь на короткий промежуток между выносами, потрясал Елену Андреевну многозвучием. Голоса, доносящиеся до Елены Андреевны, с которыми она сроднилась за годы, проведенные в прозектуре, и которые, в зависимости от настроения и занятости, могла слышать, а могла и не замечать, пронизывали летящий в окно воздух и сейчас — на несколько мгновений они утонули в грохотании оркестра, сбивчивом и нестройном.

Музыка смолкла, и хриплое журчание санитара стало отчётливым.

В сознании Елены Андреевны роились, смутно расплывались, затем собирались, приобретали четкие очертания и последовательно проносились угадываемые ею и верные картины происходящих во дворе событий.

Тело вынесли из ритуального зала и погрузили в катафалк, уткнувшийся в проём двери с опрокинутыми во двор створками. Музыканты, чей трудовой день набирал послеполуденные обороты и даже отдалённо не планировал угасать, озабоченно затопали к грустившей невдалеке потрёпанной «тойоте—короне» с правым рулем, чтобы, прежде чем залезть в неё, загрузить в багажник трубы старой, в пятнах зеленоватой патины, меди, поблёскивающие переплетения замысловатого рога валторны и тёртый временем барабан, а в салон, пропахший табаком и перегаром, затолкать звенящие тарелки, прихватившие с собой кларнет.

Следовательно, люди, кучковавшиеся под окном, поспешили оросить подоконную тропинку последними слезами и незатушёнными окурками, с чем и покинуть не оставившую следа в их воспоминаниях стоянку. Рассыпались люди, потянулись низиной несохнущей грязи к катафалку, к автобусам и автомобилям, вольно раскинутым на дороге, в которую упирался морговский двор, — на неё уже выруливал возглавляющий траурную колонну катафалк. Пройдет несколько минут, и провожающие распределятся по машинам, втиснутся в легковушки и джипы, которые сначала медленно, увиливая от столкновений, двинутся по следам катафалка, потом наберут скорость, дорога оживет и заиграет их плавным движением, заструится разноцветной лентой, непрочной, рвущейся и редеющей, пока не опустеет.

Так и произошло. Машины вслед за скрывшимся из виду катафалком бесследно исчезли за поворотом. Стало тихо. А дорога, уносящая прочь из морговского двора, замерла в ожидании следующей процессии.

Рассеянно слушая Павла Петровича, неспешно повествующего о рыбалке, Елена Андреевна подошла к окну. Чуть правее, за тополя-

ми, в нескольких десятках метров от морга квадратиками серых панелей виднелся родильный дом. Между ним и моргом разделительной полосой пролегала несуразная асфальтированная площадка. Пятиэтажный роддом был приподнят державшим его пригорком, поросшим щёточками травы, не замаскирован кустарником и отражал солнце белым свечением. Минималистическое крыльцо роддома поворачивало бочок к прозектуре. Сквозь негустые тополиные листья оно косилось в окно Елены Андреевны.

Из многообещающей двери с кнопкой звонка, периодически хлопающей на роддомовском крыльце, новоиспеченные мамаши, чаще всего в конце недели, когда по всей больнице проходила большая выписка, в сопровождении медсестер выносили новорождённых. Прямо на крыльце младенцы угождали в объятия растроганной родни: безыскусных молодых отцов, умилённых бабушек и дедушек, старших братьев и сестёр.

Был понедельник. Начало недели.

Торжественно подъезжающую к роддомовскому крыльцу машину с прицепленными к капоту гроздьями причудливой формы шаров, слепящих неоновой расцветкой, не заметить было невозможно. С воздушного неона слетали забавные рожицы, над опущенными боковыми стеклами парили закутанные в блестки целлофана полураспустившиеся розы, васильки и стрельчатые антуриумы. Нарядная машина испускала упругие фонтанчики того пронзительного счастья, какое может случиться только при встрече с младенцем. Значит, несмотря на понедельник, будут забирать новорождённого.

— Паша, — позвала Елена Андреевна. — Подойди, пожалуйста. Посмотри.

Подскочив с кресла, Павел Петрович встрепенулся:

— Чего там происходит-то?

И, убедившись, что — ничего особенного, вздохнул:

— А-а… Машина. Ребёнка забирать из роддома будут.

Машина остановилась, из неё вываливались люди, один за другим, их было много, не счесть. В таких случаях их всегда бывает удивительно много — разгоряченных, бестолково мечущихся, еле сдерживающих ликование и бесстрашно счастливых. Роддом теплел от вожделенного нашествия, а когда рядом с крыльцом не взвизгивали тормоза, никто не взбегал по ступенькам крыльца и не теребил кнопку звонка, красную на белой двери, — остывал и притворялся равнодушным. Дежурил роддом, затаивался, ожидал в чуткой сонности рождения новых визитов, следовавших за рождением новых младенцев, укутывался от сквозняка разделительной полосы, с опасливым высокомерием вглядывался в прорехи, мелькающие напротив, — среди игольчатых веточек лиственницы, теней черемухи, сирени, шиповника и продолговатых тополей, обнявшихся с карагачом, поникшим от искривленья.

Выпорхнув из машины—праздника, праздничные люди бежали к крыльцу роддома. Они запинались на бегу, чуть не падали, были трогательны, смешны и полны безоглядной решимости никогда не изменять этому самому лучшему моменту своей жизни.

Один из них, видимо, отец ребенка, с охапкой цветов скрылся за дверью роддома и тотчас же выскочил из неё — на его вытянутых руках лежал завернутый в голубое одеяло малыш.

— Пацан родился, — заметил санитар. Его быстрые золотисто-черные глаза с лукавой искринкой подернулись дымкой и замерли, рука потеребила бумажно—масочный комок под подбородком, потянулась к уху, оттянула масочную резинку и вновь слетела вниз.

Встреча у роддома разворачивались тем самым чередом, который вырабатывается непреклонными законами и традициями бытия, закрепляясь в каждом из поколений и передаваясь наследникам. Вслед за отцом на крыльце появились мать ребенка и провожающая медсестра из выписной — их, спрятанных за воланами гигантских букетов, можно было расмотреть лишь в линзы телескопа.

Родственники взволнованно суетились. Образовав неровный полукруг на крыльце, они фотографировались вместе с родителями младенца, младенцем и медсестрой. Скатившись с крыльца, фотографировали отдельно родителей с ребёнком, потом — родителей, ребёнка и кое-кого из родни у машины. Появилась видеокамера. Крепенький лысый мужичок, высоко её задиравший и молниеносно менявший позиции для съемки, размахивал свободной рукой, показывал, как лучше сгруппироваться и какие позы киногеничнее; он то отбегал далеко от публики, то приближался к родителям, державшим драгоценный голубой свёрток, поправлял свёрток и торчащие над розами антуриумы, спотыкаясь, пятился спиной и возвращался к крыльцу. Камера бесшумно снимала. Бутылки с шампанским водрузили на крышу машины. Раздавались зычные вскрики, не истощался смех; «пшы-ых!» летело из бутылок шампанского вместе с пробкой. Пена от шампанского бурливо заполняла бокалы. Выпитые до дна бутылки закинули в кабину.

Исполнившие ритуал встречи нового, прибывшего в мир человека, родственники, наконец, погрузились в машину, и она, осторожно покачиваясь, тронулась к дороге. Не к той, морговской, по которой совсем недавно одиноко прочертил свой последний путь человек, этот мир покинувший. К другой, восхитительной, персонально роддомовской.

Каждая из дорог шла своим отдельным путем. И только уже за больничной территорией, за поворотом, дороги разочаровывали. Они настигали одна другую и сливались в единую трассу, многополосную, вместительную, жутковатую от рёва скоростей и одышливого уханья фур и трёхтонок.

— Ну, я пойду, скоро домой собираться, а я еще уборку не закончил, и в холодильник надо домашников спустить, — Павел Пет-

рович еле слышно хмыкнул и, тряхнув головой и нахлобучив вялый свой санитарский чепчик, деловито отлепился от окна. — Хоть посмотрели, как ребенка забирают. Поглазели на встречу, так сказать. А что, уматно. Хорошо, что роддом рядом. Всё веселее.

Елене Андреевне вдруг захотелось сейчас, именно в это мгновение, сказать то, о чем она думала все годы морговского труда, что пыталась осмыслить для себя, и даже облекла однажды в чёткую словесную формулировку, однако стеснялась произнести вслух. Она шагнула к санитару и коснулась его рукава:

— А ты заметил, что перед встречей были проводы? Мы же с тобой слышали похоронную музыку. Был вынос. Проводы. Так всегда бывает: того, кто родился, дружно, многолюдно встречают, а того, кто умер, — провожают. По-всякому провожают. Иногда проводить — это уложить в гроб и отвезти на кладбище, и делаете это вы, санитары, и еще рабочие из бюро ритуальных услуг. Но все-таки это проводы, пусть и такие. И на них, на эти проводы, обязательно приходится встреча. Встреча рождённого — проводы ушедшего, снова проводы, снова встреча. Такое безостановочное круженье. Кто-то уходит, кто-то приходит. Как это удивительно просто, как очевидно, правда? Смерть — ближе некуда, и рождение рядом. Жизнь — это развилка, ты не находишь? Мы на развилке.

— А по-моему, мы на дороге, — возразил санитар. — Жизнь — это дорога. Из пункта А в пункт Б.

— Нет, скорее, жизнь — развилка. Клубок разветвлений из таких маленьких веточек, чудесных и многообещающих, правда, чем дальше, тем больше веток дурацких, корявых. А дороги две — дорога рождения и дорога смерти. Путь первый — путь последний. Короткий промежуток развилки между ними, как от роддома до морга. Короткий, всего ничего. А у нас он перед глазами. Под самым носом. Мы-то, и ты, и я, мы это понимаем, потому что…

— Почему?

— Потому что нам выпало наблюдать.

— Ага, работа у нас такая — наблюдать.

— А почему бы и нет? Мы же наблюдаем и жизнь, и смерть, разве нет? А наблюдение толкает нас к тому, чем мы и занимаемся, — к размышлению, к исследованию.

— К исследованию смерти?

— И жизни.

— Насчет жизни… не знаю.

— Забыл? Промежуток между роддомом и моргом. Развилка. Называется жизнь.

— А как называется, когда женщина — философ? Философиня или философичка?

— Да ладно тебе, философичка. Так и называется — философ.

— Философ ты, Ленка, — засмеялся Павел Петрович.

Виталий АМУРСКИЙ

/ *Париж* /

САД ВИТАЛИЯ СТАЦИНСКОГО

Приходилось ли вам узнавать о том, что именем человека, с которым вы были хорошо знакомы, и если не очень близко, то всё же дружны, теперь названо одно из красивых мест в любимом городе? Мне никогда. Точнее, до прошлой осени…

* * *

6-го октября 2018 года в небольшом зелёном уголке рядом с place Mélina Mercouri, в считанных шагах от парижской rue Fontarabie №20, собралось десятка два человек, чтобы вспомнить — кто друга, кто близкого человека, кто просто доброго знакомого — Виталия Стацинского. Организовала встречу Татьяна Зверева, вдова Виталия. Будь он жив, в тот день отметил бы с собравшимися своё 90-летие. И наверное весьма удивился бы тому, что место это двумя годами ранее получило официальное название: Jardin de Vitaly (Сад Виталия).

На установленной рядом с металлической калиткой доске, где сначала перечисляются сорта деревьев и декоративных растений, которыми могут любоваться все, кто заходит сюда, чуть ниже следует текст: «Le jardin rend hommage à l'illustrateur russe Vitaly Statzynsky (1928-2010). Réfugié à Paris en 1978 pour exercer librement son art, il fut l'un des derniers habitants de ce quartier avant sa rénovation» (Сад этот — в честь русского иллюстратора Виталия Стацинского (1928-2010[1]). Получивший убежище в Париже в 1978 году, чтобы свободно заниматься своим искусством, он был одним из последних жителей этого квартала до его реновации).

В самом деле, хотя XX-й аррондисмент французской столицы и по сей день сохраняет в значительной степени постройки и некий

[1] Родился в Кзыл-Орде (Казахстан) 6.10.1928 — скончался 1.11.2010 в Провене (Франция). Похоронен на парижском кладбище Пер-Лашез.

дух прошлого столетия, именно в этой его части произошло немало перемен: на месте невысоких домов с палисадниками, с мощёными кое-где булыжными мостовыми и старыми фонарями, выросли современные многоэтажки, доступ к которым преграждают новые ограды и входы с номерами кодов недоступные для посторонних. Тут, правда, следует отметить: Виталий (сначала один, а с 1992-го года с Татьяной, кстати, как и он — художницей) жил не на rue Fontarabie, а поблизости — на rue des Orteaux, №17. Для того, чтобы зайти к нему, никаких особых заграждений и не было. И палисадник его, и сам дом были похожи на декорации для съёмок фильма о художественной богеме довоенного Парижа. Фильмов там не снималось, было скромное жильё, мастерская, где он работал. Иногда там же устраивались встречи с приезжавшими в Париж поэтами, бардами... Впрочем, не только приезжавшими, если вспомнить о Павлике Беннигсене или Лёше Хвостенко[1]...

Сообщение о том, что дом этот по плану реконструкции квартала намечен к сносу, а это стало известно где-то в начале двухтысячного года, Виталий воспринял с глубокой печалью, но, увы, изменить что-либо не мог, получив же от городских властей положенную финансовую компенсацию, решил перебраться за сотню километров от Парижа, в Шампань, в старинный городок Провен. В Париже с того времени, то есть с февраля 2008 года, он стал не очень частым гостем, но всегда звал погостить к себе. От разных наших общих знакомых до меня доходили слухи, что дом у Виталия и Татьяны в Провене замечательный, однако Виталий томится отдалённостью от привычных парижских мест, а главное большим расстоянием от друзей.

Бывая изредка у него в Париже, до Провена я так и не добрался. И в последние годы его жизни видел тёзку не очень часто, тем более, что нередко он подолгу стал бывать на родине.

Без неё, без тех истоков он, кажется, существовать не мог. Однако опыт жизни и работы во Франции всё же сделал его, художника глубоко русского по мировосприятию, европейцем. Глубоко любя русское народное искусство, лубок, фольклор, Виталий как бы перерабатывал знакомый материал на ином эстетическом уровне. Стилизатором он был прекрасным.

Можно сказать, это был взгляд на отечественную старину через призму европейской культуры, в чём-то близкий взгляду Алексея Ремизова, который начал формироваться задолго до того, как Виталий оказался в Париже. Важные для себя открытия (не только в графике, но и в современной живописи и скульптуре) он сделал в период хрущёвской оттепели, когда в закрытую советскую художе-

---

[1] *Беннигсен Павел,* барон (род.1944). Поэт, музыкант, педагог, переводчик. Живёт во Франции с 1949 г.

Хвостенко А. (1940–2004) Поэт-авангардист, бард, драматург, художник. Долгое время жил в Париже.

ственную жизнь, в виде отдельных монографий, альбомов, публикаций в журналах, стали проникать репродукции Пикассо, Матисса, Магритта, американских абстракционистов, наконец, работы соседей по «соцлагерю» ...

— Сколько свежего, нового принёс тогда нам, скажем, журнал «Польша» — слышал я от Виталия

— Евтушенко тогда, поминая наш быт, писал: «И рядом с вырезками из журнала «Польша», кровать, конечно, выглядела пошло...», — цитировал я его.

— Да, именно так и было. А ещё в Москве, на улице Горького, рядом с Моссоветом, находился магазин «Книги стран народной демократии» (который позднее стал называться «Дружба»)? Какие замечательные альбомы и детские книги можно было приобрести в его отделах Польши, Чехословакии, Венгрии...

Масса нового была там, понятное дело, для многих — не только для Виталия.

Я знал людей, которые изучали польский язык только потому, что могли купить в то время в некоторых киосках (опять-таки) польские журналы по кино, где имелась информация не только о кинематографе польском, но и мировом; а в «Дружбе» на прилавках лежали книги западных авторов, которые были переведены на польский язык, но ещё не существовали на русском...

Выпущеные же в Праге с иллюстрациями чешских современных художников, скажем, сказки Андерсена или Братьев Гримм знания иностранного языка вообще не требовали — они становились предметом внимания и любования не только художников, но и просто любителей книги.

Не часто, но случалось, что в том же магазине появлялись издания и на русском языке. Скажем, рассказы Мирослава Зикмунда и Иржи Ганзелки об их путешествиях на автомобиле «Татра» по разным экзотическим странам... Такие чёрные «Татры» иногда можно было увидеть в Москве. Около них сразу собирались прохожие. Своей каплеобразной формой изделия чехословацкого автопрома, рассчитанного, разумеется, даже в самой Чехословакии не на рядового покупателя, вызывали ощущение какой-то инопланетной фантастики, особенно на фоне наших привычных «Побед» и «Москвичей»...

Начавший с 1949-го года сотрудничать с различными московскими и союзными издательствами как иллюстратор и оформитель, с отличием окончивший в год смерти Сталина Московский полиграфический институт, Виталий открывал для себя малоизвестное до того в СССР западное искусство, конечно, не как неофит, — с 1953-го по 1956-й годы он работал уже техническим и художественным редактором в «Изогизе». Тем не менее, не будь у него упомянутых открытий и профессиональных навыков, вряд ли сумел бы он сделать из юмористического журнала «Весёлые картинки», художником-редактором которого стал, одно из лучших в стране иллюстри-

рованных изданий для детей. Нет, впрочем, не только для детей, но и для их родителей, да и просто для всех любящих и ценящих графическое искусство.

История «Весёлых картинок» в период с 1956-го до 1964-го года, на страницах которых выступали разные мастера — это, можно сказать, и история самого Стацинского: роста и размаха его вклада в воспитание незамыленного детского глаза, развивающегося интеллекта.

В середине 60-х годов детская книга в СССР заняла особую нишу. Стала предметом особого внимания не только для детей, но и для многих взрослых. Этому способствовали, конечно, и великолепные литературные прозведения от Пушкина до Ершова, от Толстого до Тургенева, от Чехова до Григоровича, от Саши Чёрного до Маршака, от Бориса Житкова до Хармса, от Пришвина до Фраермана, от Чуковского до Елены Благининой, от Виталия Бианки до Сергея Козлова, от Овсея Дриза до Геннадия Цыферова... Художниками: от раннего Лебедева до Владимира Канашевича, от Чарушина до Мая Митурича, от Николая Кузьмина и Татьяны Мавриной до Николая Устинова и Трауготов, от Эль Лисицкого, Цехановского и Лапшина до Юрия Васнецова, Ильи Кабакова, Виктора (Виталия) Пивоварова, Юло Соостера, Михаила Майофиса, Валерия Дмитрюка, Спартака Калачева, Давида Хайкина... Увы, достойные, интересные тексты не всегда иллюстрировались мастерами, обладавшими значительным творческим потенциалом, но это всё же изредка происходило и Виталий Стацинский был одним из проводников такого соединения в пределах имевшихся у него возможностей.

С 1962-го по 1972-й год он сначала главный художник, а затем главный редактор журнала «Колобок», где, как и в «Весёлых картинках», нередко выступают многие художники, остающиеся в стороне от всякой официальщины. Среди них, правда, были и те, кто относился к книжной графике отнюдь не как к делу жизни, но кому иллюстрации позволяли иметь заработок на хлеб, а следовательно на то, чтобы заниматься собственным искусством. Схожее явление можно было наблюдать в не самые лучшие времена в русской литературе, когда, не имея возможности публиковать собственные вещи, большие мастера вынуждены были заниматься переводами. Благо, впрочем, что при уровне, который при этом они сохраняли, переводческое искусство в СССР находилось на высочайшем уровне: вспомним хотя бы Бориса Пастернака, Анну Ахматову, Николая Заболоцкого, Арсения Тарковского, Аркадия Штейнберга или Германа Плисецкого..

Сам факт того, что Стацинский получил место руководителя «Колобка», вне сомнения, показывал, что разные высокие инстанции, руководство Союза художников СССР (членом которого он стал в 1962-м году) доверяли ему, считались с его опытом. Однако — так уж была выстроена система — вне редакционных стен ситуация для

него самого была ничуть не лучше, чем у многих собратьев по творческому цеху. Получить для иллюстрирования то, что очень хотелось (например, Пушкина) Виталию не удавалось. Так что, оглядываясь из Франции на те годы, он, помню, сетовал, что не в состоянии назвать какой-то такой иллюстрированной публикации, о которой мог бы сказать — она, дескать, оказалась по-настоящему важной... Но касалось ли это только ли тех лет? — задаюсь я сейчас вопросом, — может быть, из приблизительно 60 книг, вышедших с его работами, в его оформлении, в самом деле не было ни одной такой, что заметно выделилась бы среди других? Сразу же хочу подчеркнуть при этом, что уровень абсолютно всех его работ был чрезвычайно высок. Да, он мог в чём-то повторяться, ибо по существу занимался той же темой — фольклором, но при этом всё же всегда пытался найти тот или иной оригинальный ход, поворот, ракурс. Отвечая же осторожно на свой собственный вопрос, я всё же предполагаю, что наиболее «знаковой» книгой его явился изданный во Франции «Колобок». Именно в ней сконцентрировались исключительная простота конструкции, предельная лаконичность и образность персонажей, яркость красок... Но об этой работе речь ещё пойдёт дальше.

Работая в советском журнале, он не рисовал пионеров и героев труда, предпочитал именно кошечек, собачек, лисичек, мишек... Это иногда раздражало начальство, но не до такой степени, чтобы уж очень сильно... Однако, увы, проблемы у художника начались именно из-за подобных предпочтений.

— Не помню точно, кто именно, — рассказывал он, — пригласил меня принять участие в организованной в 1970 году выставке «Новое искусство в Москве», которая проходила, впрочем, в музее швейцарского города Лугано[1]. Я, понятное дело, с удовольствием согласился и дал для показа графику — своих зверюшек... В голову мне не могло прийти тогда, что эти рисунки окажутся восприняты нашими идеологически бдительными официальными художниками, вроде Бориса Дехтерёва, а также в каких-то партийных инстанциях, как оскорбление советской власти. Увы, получилось именно так. Почему? Дело в том, что в том году широко отмечался юбилей 100-летия со дня рождения Ленина, следовательно, художник из СССР, отправивший на выставку в капиталистическую страну рисунки с «собачками и кошечками» косвенно оскорблял родину, проявил себя как антисоветчик. Всё это, ясное дело, можно было бы счесть за анекдот, если бы не последовавшими за критикой в мой адрес вполне реальными санкциями. Скажем, прихожу я после этого в «Детгиз», спрашиваю о возможном заказе, а заведующая, взяв в руки большой список книг, которые ждут своих иллюстраторов, смотрит его, потом поднимает глаза и с откровенно издевательской иронией в голосе отвечает:

---

[1] Выставка проходила в музее Belle Arti.

— К сожалению, Виталий Казимирович, *вашей* тематики в нашем плане нет...

Одним словом, участие в той выставке в Лугано стало для меня как бы «чёрной меткой». С заказными работами, которые приносили важную часть доходов (я помогал тогда маме с покупкой кооперативной квартиры, да и у самого было немало разных трат), стало плохо. Тут, конечно, следует учесть, что в 60-е годы, благодаря повышенному вниманию к детской книге, не только я, но многие художники имели возможность весьма неплохих заработков: Кабаков, Булатов...

В начале 70-х, когда появилась шутка о властях: «маразм крепчал», многие друзья и знакомые стали задумываться о том, покидать ли страну? В первую очередь, евреи. Тема эта как бы стала носиться в воздухе, всё чаще обсуждаться в разных кругах. Я не проецировал такую ситуацию на себя, — но когда в ОВИРе мне отказали в возможности съездить по частному приглашению во Францию, и попытки пробиться через стену отказов оказались бессмысленными, вдруг услышал от Вагрича Бахчиняна[1]:

— Чего ты мучаешься? Да поезжай как еврей.

— Но я же не еврей!

— Ну, создай легенду. Я тоже не еврей, я армянин, правда, у меня дедушка еврей...

Вот тут я понял, что нужно создать легенду. Так как мама моя была швейцарского происхождения, имела фамилию Блюмер, то она «подходила» под еврейку... Под таким предлогом я и подал документы на выезд.

Собираясь уезжать, я всё же, не терял надежды на то, что получу поддержку. Поясню: от мамы я немножко знал о том, что за границей есть по её линии родственники, потом я узнал что они есть и по папиной линии... Уточню: папа у меня был 100-процентный литовец, несмотря на мою польскую фамилию, а мама, повторяю, — швейцарка по предкам. С той, и с другой стороны в Западной Европе, и в Америке, в Канаде, имелись родственники. Самые близкие из них были во Франции. Ну, я не успел уже застать дядю, то есть родного брата мамы, а застал его дочь, то есть свою двоюродную сестру Галину[2].

Одним словом, когда я ещё жил в СССР, у нас началась секретная переписка, мы ничего в ней открыто не называли, детали не обсуждали. Вообщем, Галина приехала в Москву, чтобы обсудить со мной ситуацию, лучше понять, что же происходит. Поговорили, она сказала: «Что ж, я тебя обеспечу на год-другой, а дальше ты разбе-

---

[1] *Бахчанян В.* (1938–2009). Художник и литератор-концептуалист. Эмигрировав из СССР, жил в США.

[2] Имеется в виду Николай Блюмер. Его дочь Галина (Милица) была старше Виталия, родилась в 1910 г.

рёшься». Так и произошло. Ну, у меня был момент, когда я хотел уехать чуть раньше как советский гражданин, но кто-то видимо докопался, что я хочу уехать навсегда. Так что, пришлось выбрать «израильский вариант».

Резюмируя, могу сказать: размышления об отъезде у меня начались в 1970 году, когда Михаил Гробман[1] уехал, и я на его проводах был (а те проводы были как похороны, потом они повеселее стали), а уже к 1978 году я созрел. Я уехал 8 марта 1978 года, в Международный женский день.

Те 70-е годы в Москве, в которые в Стацинском «созревало» решение об эмиграции, были довольно непростыми и для диссидентов, и для кандидатов на выезд из страны, среди которых оказывалось немало «отказников». КГБ использовало против и тех, и других различные методы давления, от запугивания до заключения и психушек. Однако несмотря на всё это, ни интеллектуальная, ни творческая жизнь тех, кто был вне официального поля деятельности, не только не прекращалась, но как бы демонстрировала имеющиеся в ней силы: в самиздате выходили стихи и проза, сообщения об узниках совести, письма из тюрем и лагерей... Художники показывали свои произведения в частных квартирах...

В сентябре 1974 года на окраине Москвы, в Беляево, состоялась печально-знаменитая «бульдозерная выставка»... Несомненно, принимать участие в несанкционированных акциях было опасно. На той выставке Виталий ничего из своих работ не представил, но был в числе зрителей, и, потрясённый тем, что увидел (имея ввиду погром, учинённый властями), создал серию графических листов, которую некоторое время даже опасался показывать посторонним[2].

Этот эпизод, полагаю, также лёг подспудно в его решение сказать однажды сему режиму: прощай!..

Ещё, помню, он говорил мне, что в какой-то момент именно в те времена вдруг ощутил огромное нежелание умереть под красным флагом... Почему именно под флагом, а не просто в СССР? — я уточнять не стал. В любом случае суть была не в выборе образа, а в сути той удушающей атмосферы, из которой стремилась вырваться душа.

Страх? Да, он тоже присутствовал, и не у одного Виталия, который к тому же задумывался о судьбе своего отца, репрессированного в 30-е годы наркома здравоохранения Казахстана[3]... Да, страх, хотя и не такой, при Сталине, в годы брежневщины был естественным у многих, когда по соседству маячили тени гэбэшников, и нужно

---

[1] *Гробман М.* (род. 1939 г.) — российский и израильский поэт и художник.

[2] Благодарю Т.Звереву за это сообщение. Первая публикация указанных листов: *В.Стацинский, Т.Зверева* Время назад. Время вперёд. М., Paris: *Русь*, 2002. С. 76–77.

[3] *Стацинский Казимир Михайлович*. 1895 г. р. Был арестован 29.09.1937. Расстрелян 16.09.1938 г.

было думать не только о себе, но и о своих близких. В той или иной степени — многие представители независимой творческой интеллигенции являлись заложниками системы, основанной на лжи и коварстве, хотя задним числом кто-то назвал те годы более-менее мягко: эпохой застоя. Да, застой был в экономике, затрагивал различные области науки, образования, культуры, но на так называемом «идеологическом фронте», где КГБ имело карт-бланш властей, он никак не наблюдался.

Своеобразным эхом на ту реальность у Виталия родились художественно-графический цикл «Стукачи» (1975), посвящённая маме и друзьям Эрику Булатову, Илье Кабакову, Василию Ракитину серия рисунков «Вход. Выход» (1975), коллаж с портретами Ленина, Сталина и текстом на фоне стены: «Мои политические взгляды остаются строгими и неизменными, как старая серая скала. Они классичны почти до банальности. Свобода слова, свобода искусства. Социальный или экономический строй идеального государства меня интересует мало. Желания мои весьма скромные. Портрет главы государства не должен размером превышать почтовую марку. Никаких пыток, никаких казней...» (1976)[1], «Необычная азбука полусерьёзная и полунесерьёзная» (1982) и ряд других работ.

В связи с выездом на постоянное жительство за границу в 1978 году[2] Стацинский был лишён советского гражданства, исключён из Союза художников... Ну, а первым этапом его вхождения в новую жизнь явилась Вена. В Австрии, рассказывал он, нас, прибывших из СССР, разделили — кто стал ждать продолжения пути в Израиль, кто куда... Я заявил, что у меня есть русские родственники в Лионе, и меня взял под свою опеку Толстовский фонд. Так я очутился во Франции...

* * *

Пребывание в Лионе продлилось несколько месяцев, где Виталий с помощью двоюродной сестры, Галины, для заработка нашел работу по перепечатке на машинке русских текстов, но как художник ощутил себя в вакууме. Понял, что вернуться к своей профессии возможно только в Париже. Отвезти его в столицу взялся уже упомянутый мною ранее, Павлик Беннигсен. По его воспоминаниям, вечером в пятницу 24 ноября 1978 года он заехал за Виталием к Галине, которая накормила их на дорогу, после чего они отправились в путь. Ночная дорога, забитая грузовиками, к тому же при погоде, когда то шли дожди, то всё тонуло в тумане, заняла несколько часов.

---

[1] Время назад. Время вперёд, стр. 82.

[2] Это произошло 8 марта, когда в СССР отмечался Международный женский день.

Но как они ехали! Всю дорогу, по словам Павлика, рассказывали друг другу о своих жизнях, ощущая при этом насколько роднятся их сердца и души. «Мы стали братьями», — резюмировал он эту поездку в письме об этой поездке, отметив, что точной датой прибытия Виталия в Париж явилось утро 25 ноября того года[1].

* * *

Представляя, вышедшую в 1984 году в парижском издательстве «Ipomée», книжку «Колобок» писатель, в то время главный редактор одного из ведущих журналов русской и восточноевропейской эмиграции, «Континент», Владимир Максимов писал: «В Советском Союзе имя Виталия Стацинского знакомо всей грамотной детворе. И не только детворе. Стихи, песни и сказки с его иллюстрациями расходились по стране миллионными тиражами. Ему принадлежит реализации идеи массового издания для детей, получившего название от одной из самых популярных русских народных сказок «Колобок». Успех этого массового музыкально-художественного журнала с пластинками оказался настолько велик, что власти не решились закрыть его даже после вынужденного отъезда ведущего автора и редактора в эмиграцию.

Кроме того Виталий Стацинский был душой и руководителем большой группы художников, обративших своё творчество к миру детства и юношества. Его собственные работы, выполненные, как правило, в духе новаторских стилизаций — истоками идущих от русских народных картинок, с первого взгляда подкупают ценителя неповторимым, одному ему присущим почерком, яркой образностью и подлинной глубиной»[2].

Французский искусствовед Жан-Клод Маркадэ, со своей стороны отмечал: «Западная публика, несомненно, будет приятно удивлена высоким художественным уровнем, выразительной силой рисунка, яркой цветовой гаммой иллюстраций художника Виталия Стацинского.

Меньше удивит эта работа тех, кто знает, насколько сильна в России традиция иллюстрирования детских книг известными художниками. Многие представители различных течений в искусстве — реалисты, символисты, модернисты, авангардисты — зачастую направляли свой художественный поиск «на службу» детской иллюстрации.

Существенный вклад вносит в иллюстрирование детской литературы Виталий Стацинский, художник оригинальный, чувствующий

---

[1] *Беннигсен П.* В ответе на просьбу Т.Зверевой уточнить время начала жизни В.Стацинского в Париже. E-mail 23.11.2018.

[2] Колобок. Русская народная сказка. Ed. Ipomée, Paris 1984.

конструкцию всей книги и композицию каждого отдельного листа. В его иллюстрациях поэтапно наращивается драматургический накал литературного произведения...»[1]

К тому времени Франция уже успела познакомиться с живописью вынужденных покинуть родину и обосновавшихся в Париже Оскара Рабина, Эдуарда Штейнберга, Олега Целкова, Бориса Заборова, Юрия Купера... — о них писали, их картины можно было увидеть в престижных галереях и на разных выставках, но из русских художников книги подобной славы, как Стацинский, если мне не изменяет память, здесь тогда никто не удостаивался.

Между тем, путь его «Колобка» к читателю оказался довольно сложен. По одной из версий, например, которую излагал сам Виталий, в одном парижском издательстве, находившемся в руках коммунистов, ему отказали в публикации по той простой причине, что он был политический беженец из СССР. Нет сомнений, что так оно и было. Но отказывали ему (правда, мотивируя это отнюдь не такими причинами) не только там...

История «Колобка» Стацинского началась в феврале 1979 года в Австрии, в Вене, когда он ожидал французскую визу. Находившиеся там чешские знакомые художники, которые собирались на ярмарку книжной графики в Болонье, предложили показать там его работы кому-либо из издателей. При этом надежды почему-то больше всего возлагались на японцев. Что предложить Виталий не знал. Но в голову вдруг пришла мысль: «Я же работал в журнале «Колобок»! К этой сказке и сделаю иллюстрации!..».

Подготовил вариант макета.

Как выяснилось потом, японцам он понравился, но переговоры нужно было вести через чехов, всё оказалось сложно. К тому же, была наконец получена виза и он уехал во Францию, где в круговерти новой жизни, особенно на первых порах, оказался вынужден заниматься другими делами. Однако мысль вернуться к задумке проекта Виталия не покидала. Получив приглашение принять участие в Англии в выставке русской графики «От Петра Первого до наших дней»[2], организованной Кириллом Соколовым, в свободное время, там, в городке Ньюкасл, он сделал часть новых рисунков для «Колобка» и, таким образом, вернувшись во Францию, имел фактически всё, чтобы обратиться с предложением в какое-нибудь издательство.

У меня была знакомая француженка, умевшая говорить по-русски, и приятель поляк, говорящий и по-русски, и по-французски, — рассказывал он. — Я беру свою папку с рисунками

---

[1] См. предыдущую сноску. Там же.

[2] Newcastle

и вместе в течение многих дней мы обходим... 27 парижских издательств[1]. Везде говорят: «Прекрасно! Но эта ваша восточноевропейская манера будет непонятна французским детям...»

И я уже плюнул на всё, у меня началась депрессия. Что делать? И вдруг одна знакомая повела меня на Первый салон книги в Париже. Именно там, на стенде издательства Iromée мне сказали, что это им, в принципе, интересно, однако нужно подумать. Думали они три месяца, через три месяца прислали мне письмо: никому не показывайте пока ничего, но мы ещё подумаем. И лишь после этого я получил положительный ответ[2]. Успех «Колобка» был очевидный. Лучшее свидетельство тому — пять переизданий! И вот тут я понял, да, я — «фольклорник».

Улыбаясь, Виталий продолжил:

— Оказавшись однажды в Болонье на одной из очередных книжных ярмарок, я решил предложить «Колобок» для публикации на немецком языке в Германии. И вдруг получаю такой ответ: «Прекрасно! Но у нас такая французская манера будет непонятна немецким детям!..». Это было совершенно зеркальное отражение того, что прежде мне говорили французы...

Пять лет мне потребовалось на то, чтобы понять очевидные вещи: в СССР главный стержень во всём составляла идеология, на Западе — коммерция. А какое ты имеешь образование — значения тут не имеет. Главное, чтобы, если ты, допустим, книжный график, книга в твоём оформлении, с твоими иллюстрациями получила именно коммерческий успех. Живя в СССР мы, художники, так или иначе идеализировали заграницу...

* * *

Следующей за «Колобком» книгой там же, в Париже, у Стацинского вышла «Прибаутки» (1987), затем (к тому времени Iromée объединилось с издательством Albin Michel) «Le renard, le lievre et le coq» (1990)[3], «Pin Pin. Le pinguin» de M.Kisseliova (1991)[4], «Petite âne» de S.Kozlov(1995)[5]. Ещё две книги по-французски с работами Виталия были изданы в Editions Alternatives: Ivan Bounine, «Qui peut

---

[1] В одном из них — коммунистическом Ed. de la Farandole — отказ был мотивирован тем, что художник — эмигрант из СССР. Об этом эпизоде подробнее в публикации.: *Дмитриев Андрей,* Русский фольклор из Парижа. «Лица» №12. Инф.-изд. группа «Совершенно секретно», М.,1988.

[2] Учитывая, что Первый салон книги в Париже состоялся в 1981 году, решение о публикации «Колобка» явно затянулось на более существенный срок.

[3] Лисица, заяц и петух. Пер. на франц. яз: Françoise Hours.

[4] *Кисилёва М.* Пингвин. Пер. на франц.яз.: Guy Garnaud.

[5] *Козлов С.* Маленький ослик. Сказка. Пер. на франц. яз.: Павлик Беннигсен.

savoir ce qu'est l'amour?» (2001)[1], «Proverbes du peuple russe» de Vladimir Dal (2003)[2]. Этот «французский список» можно пополнить и выпущенной в Москве издательством «Радуга» двуязычной «Антологией французской эпиграммы» (2007)[3].

Наряду с работами заказными, Виталий выпускал очень небольшими, буквально в несколько десятков экземпляров книжки, которые делал от начала до конца сам. Объём их был невелик — составлял считанные странички, которые даже не клеились, а сшивались обычным канцелярским степлером. Издательство называлось то «Колобок», то «Русскій болтунъ», то «Русь»... Первыми в этом ряду — в 1990 году — стали сборники стихов «Жители барака» и «Окно в окне» Игоря Холина, «Моя маленькая Лениниана» Виктора Ерофеева, «Классификация жён» Николая Олейникова, «Пикасосо» Вагрича Бахчиняна... В том же году Виталий сделал репринт «Большим детям сказки» Евгения Замятина, а после продлившегося почти двухлетнего перерыва осуществил издания: «Мыло из дебила» Генриха Сапгира и «Моя нестерпимая быль» Юрия Домбровского. Наконец, в 1999-м: «Московскую любовь пошлю в Париж прогуливаться» Бориса Кочейшвили, «Стихи» Вильяма Мейланда, «Опавшие листья» Василия Розанова и «Гаврилиаду» Пушкина[4]...

Сам по себе этот перечень свидетельствует и о вкусах Стацинского, и о том, насколько интенсивно он работал. Следует при этом учитывать, что каждая из книжек нередко делалась им в связи с литературными вечерами, которые он устраивал у себя дома: Холина, Бахчиняна, Сапгира...

Наряду с этим, задумал и готовил для парижской газеты «Русская мысль»[5] целую полосу для детей — «Кораблик».

Да, Виталий был неистощим как художник, как человек, который постоянно что-то творит. К числу неожиданных его работ (неожиданных не в плане художественном, но, говоря условно, «производственном») я бы отнёс серию этикеток для винных бутылок, сделанных в 1998 году для Ассоциации виноградарей Парижа.

---

[1] *Бунин И.* Кто же знает, что такое любовь? Графика, дизайн и коллажи Стацинского В.. Макет Зверевой Т.

[2] *Даль В*. Пословицы русского народа.

[3] Антология французской эпиграммы/Anthologie de l'épigramme française. Илл. Стацинского В. Перевод и примечания Васильева В.

[4] *Пушкин А.* Гаврилиада. Поэма. Библиофильское издание. Составление, предисловие — *Ярослав Костюк*, макет — *Татьяна Зверева*, пер. на английский — M.Eastman. М., Париж: Русь, 1999.

[5] В настоящее время не существует.

Перемены на родине, то есть перестройку, он принял без всяких колебаний. И когда появилась возможность, стал ездить туда.

В 1996 году приобрёл небольшую избу в районе Плёса, сделал в ней ремонт, украсил печь собственными росписями... В 1998 году его восстановили в Союзе художников России, хотя правильнее было бы, наверное, сказать не о восстановлении, а о принятии туда, ибо исключён Стацинский был всё же из Союза художников СССР, — организации не совсем идентичной. В 1999-м он был награждён медалью общества по празднованию 200-летия со дня рождения Пушкина в связи с оформлением «Гаврилиады». В 2000-м получил российский паспорт... Всё, кажется, шло у Виталия неплохо. Вместе с тем, замечу, я никогда не слышал от него ничего такого, что можно было бы понять как упрёк: ну, а ты? Что же ты ждёшь?.. Почему не едешь? Не спрашивал он, полагаю, потому, что прекрасно понимал: многое в России ещё неопределённо, неясно, никаких гарантий на то, что с советским прошлым страна рассталась окончательно и бесповоротно нет. Да, он сделал свой выбор, но ни в коем случае не намеревался подтолкнуть к подобному кого-то. За этим были и большой жизненный опыт, и этика.

Не только тот опыт, который он получил в 70-е, собираясь в эмиграцию. Но и тот, который обрёл ещё пацаном в годы войны, когда собираясь с друзьями защищать Москву от фашистов, оказался жертвой доноса[1]... По обвинению в хранении оружия был арестован и несколько месяцев провёл в Бутырской тюрьме. Следователь добивался от него и других 12–13-летних детей признания, что они имели и прятали оружие. По военному времени это была статья «расстрельная». К счастью, реальных доказательств тому не было — мальчишки успели вовремя избавиться от всех улик, и утверждали, что имели пистолеты и гранаты не настоящее, а игрушечные.

В тюремной камере тогда Виталий, по его собственным рассказам, получил прозвище «художник», потому что помогал делать рисунки для наколок заключенным.

Ему было о чём вспоминать!

Сейчас, когда я думаю об этом, меня посещает мысль: а не обратился ли Стацинский именно к детской книге, потому что в собственном довоенном и военных лет детстве, где преобладал цвет серый, был лишён книжек красивых, радостных, пленяющих глаз?..

---

[1] В то время Виталий с матерью, как члены семьи репрессированного, жили в бараке в подмосковном г. Пушкино.

Выше я отметил любовь Виталия к русскому народному искусству. Однако он также любил Иеронима Босха и Андрея Рублёва... Из русских художников, с которыми был дружен, называл в первую очередь Николая Кузьмина и Татьяну Маврину, Юрия Васнецова...

Говоря о парижской жизни Виталия, уделяя основное внимание его работам в области графики, его тяге к разным творческим акциям, не следует, конечно, оставить без внимания и его композиции, инсталяции, в которых, например, использовались старые стулья или даже их обломки, пожелтевшие фотографии неизвестных людей, или выброшенные кем-то из гардеробов поношенные вещи... Понимавший и чувствовавший прекрасно современное искусство, Лёша Хвостенко восторгался циклом «Двери»[1], показанным Виталием в декабре 1990-го года в парижской галерее «Мари-Терез Кошен»[2]...

* * *

Хотя в постсоветской России творчество Виталия Стацинского получило самый добрый приём, его работы выставлялись на разных выставках, в его оформлении и с его иллюстрациями были выпущены книги: «Русские заветные сказки А.Н.Афанасьева»[3], «Журавль и цапля»[4], «Русские народные сказки»[5], «Настоящее сражение» Алексея Хвостенко и Анри Волхонского[6], «Звездная карусель» и 1-й том «Приключения Кубарика и Томатика, или Весёлая математика» Генриха Сапгира[7], «Леса по лесу ходила»[8], в последние годы жизни, по меньшей мере, когда я видел его, он казался несколько опечаленным. Или, во всяком

---

[1] *Хвостенко А.* Жизнь как инсталяция? «Русская мысль», Париж, 28.12.1990.

[2] Galerie Marie-Thérèse Cochin находилась в Париже по адресу: 73 quai de la Tournelle.

[3] *Афанасьев А. Н.* Русские заветные сказки. Сост., предисл. и прим. Васильева В. Илл. и худ. оформл. Виталия Стацинского; макет Т.Зверевой. М.: МИРТ, Париж: Русь, 1992.

[4] Журавль и цапля. Русская народная сказка. Рис. В.Стацинского. М.,ОАО «Московские учебники и картолитография», 2007.

[5] Русские народные сказки. Илл.В.Стацинского. М.,ОАО «Московские учебники и картолитография», 2009.

[6] *Хвостенко А., Волохонский А.* Настоящее сраженье. Шахматная поэма. Илл. В.Стацинского. М., Пробел, 2014.

[7] *Сапгир Г.* Звёздная карусель. Стихи. Рис. В.Стацинского. М., Речь, 2014; *Сапгир Г.*, Приключения Кубарика и Томарика, или Весёлая математика. Илл. В.Стацинского. М., Розовый жираф, 2015.

[8] Лиса по лесу ходила. Потешки, прибаутки, считалки, небылицы. Рис. В.Стацинского. М., Речь, 2015.

случае, не излучал столько энергии, как в прежние времена. Отчасти это, мне представляется, объяснялось тем, что тот русский Париж, в котором он творил, постепенно исчез. Умерли Максимов, Хвостенко, умерли многие друзья и знакомые, прекратили своё существование эмигрантские журналы и единственная остававшаяся с давних времён газета, закрылись почти все книжные магазины. Но ушли из жизни не только, кто жил здесь. На той же родине не стало его друзей Сапгира, Холина... А разве не другой стала Москва? Разве не изменились вкусы, интересы и приоритеты людей там?

Всё это я предполагаю. Точно знаю, однако, что весьма переживал он по поводу остановившегося на первом томе трехтомного издания вышеупомянутых «Заветных русских сказок», тем более, что для завершения проекта всё было готово[1]. Переживал и за свою избу в русской глубинке...

Вот что рассказала мне об этой беде его вдова:

«В сентябре 1996-го года Виталий купил дом в деревне Подъельная, недалеко от села Красное, известное своей фабрикой ювелирных изделий, на крутом берегу Волги напротив Плёса. Не дом даже, так — домик развалюшку, и потом стал приезжать туда каждое лето, всё благоустраивал, поменял крыльцо, крышу, сложил русскую печь с лежанкой. Её он даже разрисовал в своем стиле. У кого-то из местных приобрел розвальни и с помощью нескольких мужиков каким-то непонятным мне образом затащил их на чердак (кажется, даже разбирали часть крыши), набросал туда сена и фантазировал, что когда я, наконец, приеду к нему в деревню, буду спать в этих розвальнях, как Боярыня Морозова с известной картины Сурикова.

Но этим планам не суждено было исполниться и я так никогда и не побывала в этом чудно́м доме в деревне Подъельной, так как в августе 2000-го года произошёл пожар и дом сгорел.

А дело было так:

---

[1] *Стацинский В.* Из интервью: «Еще в 1992 году у меня вышел первый том «Заветных сказок» Афанасьева, 30-тысячный тираж которого разошелся в России в течение полугода. Затем для «Росмэна» мною и моей женой, талантливым книжным дизайнером Татьяной Зверевой, были проиллюстрированы и полностью подготовлены к печати второй и третий том этого издания. К сожалению, российская сторона не выполнила своих обязательств, и макеты этих еще никогда не публиковавшихся томов афанасьевских сказок до сих пор ждут своего издателя» («Независимая газета», М., 21.09.2000). Можно добавить, что в том же 1992 году данная работа была отмечена Первой премией на Международной книжной ярмарке в Нижнем Новгороде. Также следует уточнить: намеченные следующие два тома Афанасьева касались собранных им поговорок, прибауток, присказок...

Однажды летним вечером Виталий ужинал перед телевизором, затопил печку, пригрелся, да и задремал. Проснулся он от удушливого дыма, спросонья не мог понять, в чем дело, побежал наверх на чердак. Ба! А там все полыхает! «Мои розвальни», наполненные сеном, горели как факел. Виталий стал в панике метаться, пытаясь что-то спасти. Новую серию рисунков, которую он в то время сделал, спасти не удалось, бумага, как известно, сгорает в первую очередь. Пора было подумать о себе, и Виталий выбежал на улицу. И тут его пронзила мысль: паспорт остался в доме, без него я не вернусь, и он бросился в пылающую избу. Успел только схватить пиджак, в кармане которого были документы, в этот момент ему на голову, а потом по касательной на плечо, упала горящая балка. Чудом выбрался, получив сильные ожоги.

Проснулись соседи, вызвали пожарников. Те приехали почти через час, ведь ехали из Плеса, через мост в объезд, когда от дома остались одни угли. Приехали без воды и, обратившись к обезумевшему Виталию, спросили: « А где у вас вода, чтобы набрать?» Тот, со свойственным ему чувством юмора, показал вниз на Волгу и мрачно ответил: «Тут».

Пожарники оказались добрыми людьми. Виталий провел у них ночь в депо. Его накормили, смазали ожоги специальной мазью и даже дали денег на дорогу до Москвы.

Следствие по причине пожара было недолгим. Печник, который сложил печку, грешил слабостью к алкоголю. Наверное, когда он делал дымоход, был не совсем трезв: оставил щели в кладке, через которые и проникли искры на чердак в тот злополучный вечер. То ли его замучила совесть после пожара, а только вскоре он запил и повесился.

Виталий-же больше никогда не ездил в эту деревню»[1].

Касаясь позднего периода жизни мужа, Татьяна добавляет: «В 2000-х Виталий уже плохо видел, он делал в основном (кроме иллюстраций) коллажи из газетных и журнальных вырезок, много на эротические темы. Они очень трудно воспроизводимы для печати»[2].

* * *

Быть подлинным художником детской книги, не оставаясь при этом ребёнком в душе, трудно. Юный читатель, зритель (в данном случае) всегда заметит фальшь, а если так, то относиться

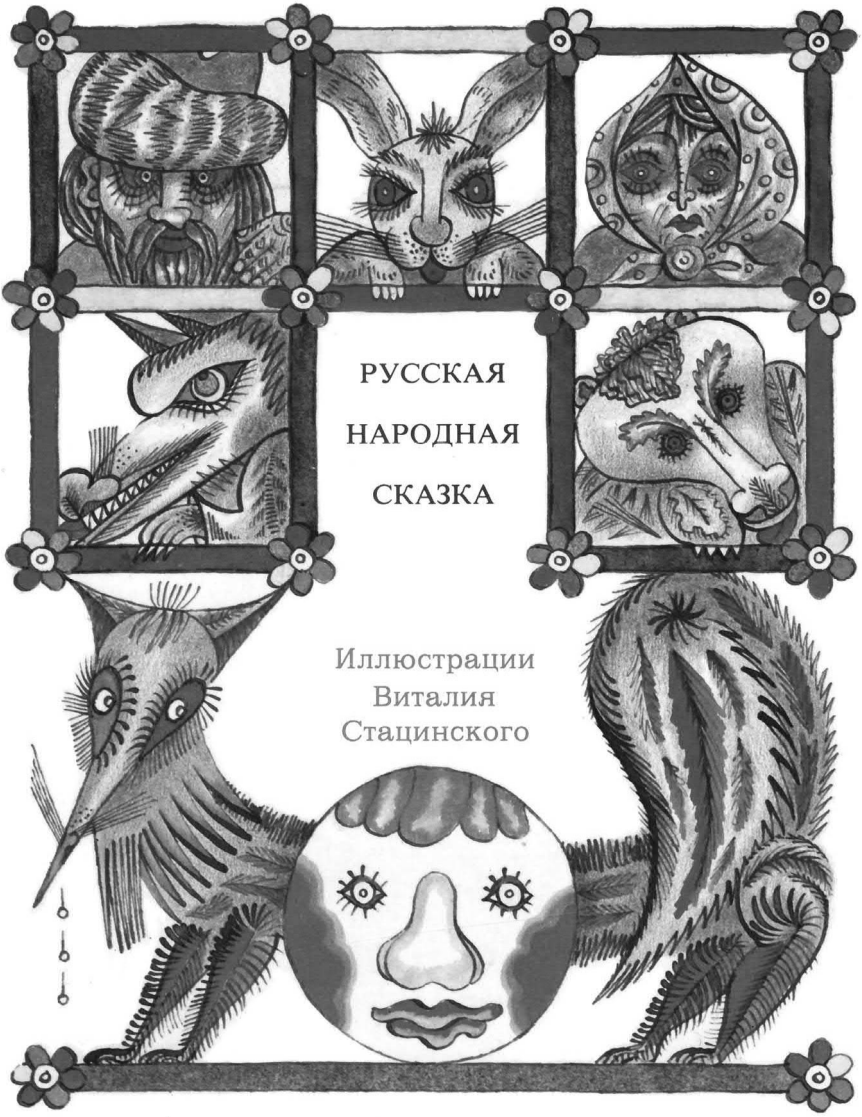
[1] *Зверева Т.*, e-mail 21.10.2018 автору.
[2] Там же

к тому, что ему предложено будет соответственно. Своих читателей, то есть зрителей своих рисунков (не только маленьких, но и взрослых) Виталий Стацинский никогда не обманывал — он был мастером искренним, делился тем лучшим, что имел в себе и как человек, и как мастер. В отличии от мастерового, который работает по привычным шаблонам, художник — ищет, иногда не добиваясь при этом успеха, испытывая неудачи, а добившись нужного результата, не останавливается, идёт дальше. Именно это характеризовало творчество Виталия. Продолжателя традиций, мастера ищущего... Авторитетный специалист в области детской книги во Франции, сам писатель, Жан Перро, выразил мнение, что «Виталий Стацинский войдет в один ряд вместе с Билибиным в число наиболее знаменитых представителей искусства русской иллюстрации»[1].

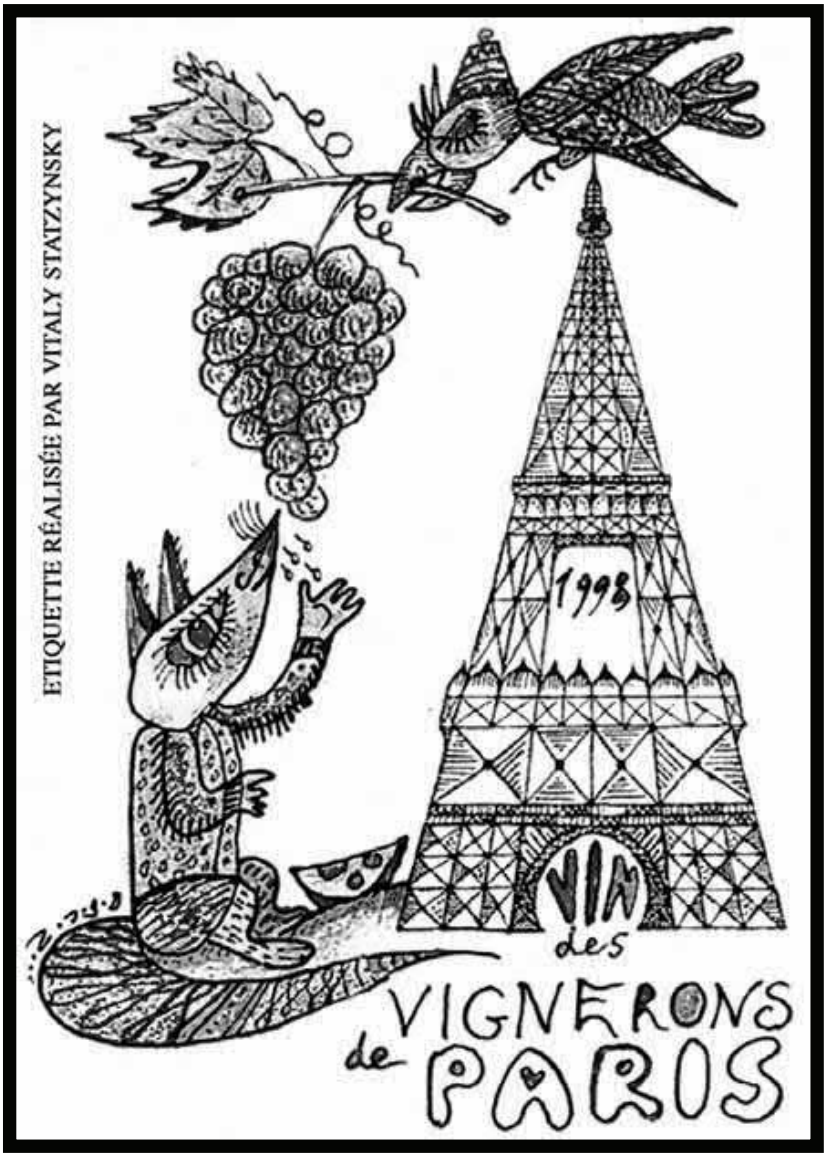
* * *

Увы, нет больше человека, художника, однако остались иллюстрированные им книги, композиции из разных материалов... Его литографии, офорты, рисунки находятся в музеях и частных коллекциях России, США, Франции, Великобритании, Германии, Польши, Италии... Не существует более его дома близ Волги, как нет и его дома в Париже, но всё же здесь именем Виталия назван городской сад, где растут красивые деревья и кусты, приходят и отдыхают люди, а значит жизнь, которую он любил, продолжается. Может быть, это и есть самое важное? Кто знает, впрочем, что такое «самое важное»?

[1] *Perrot Jean.* Dictionnaire du livre de jeunesse : la littérature d'enfance et de jeunesse en France. Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 2013. P. 906



Обложка книги «Колобок»
Париж, 1984



Винная этикетка
для Ассоциации виноградарей Парижа,
1998

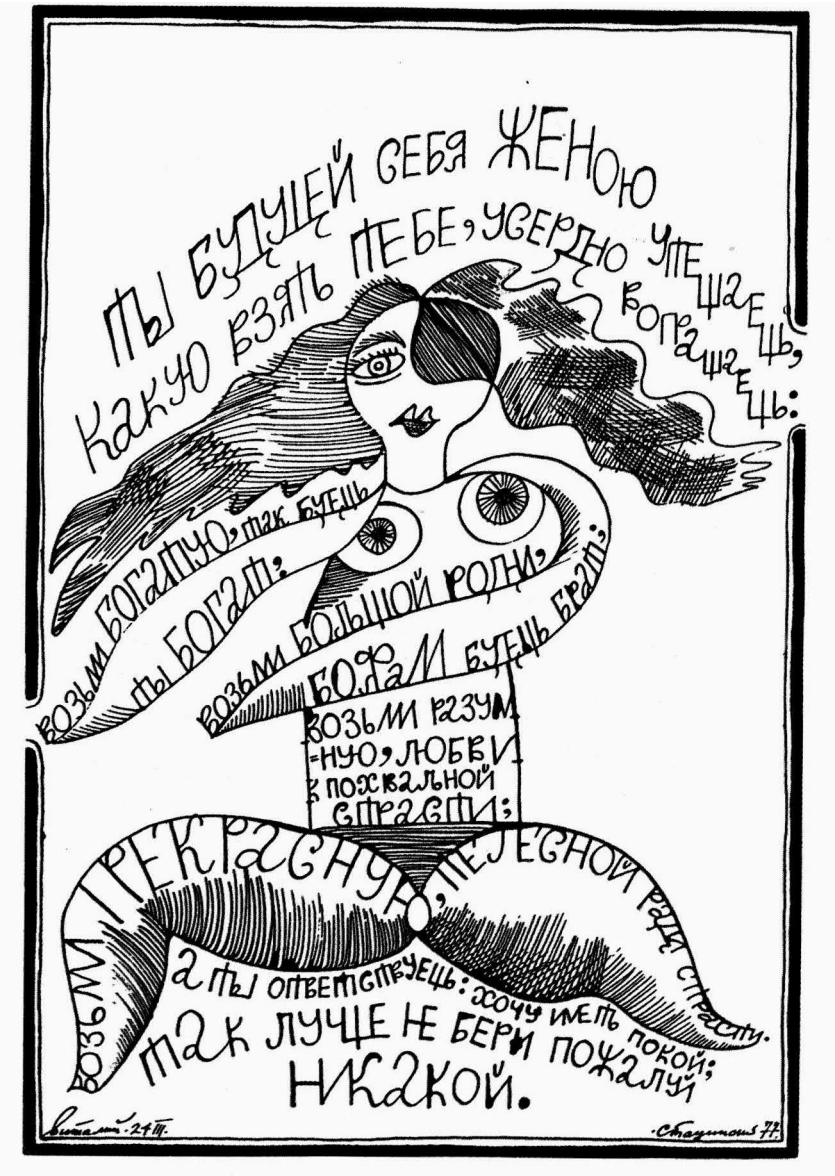
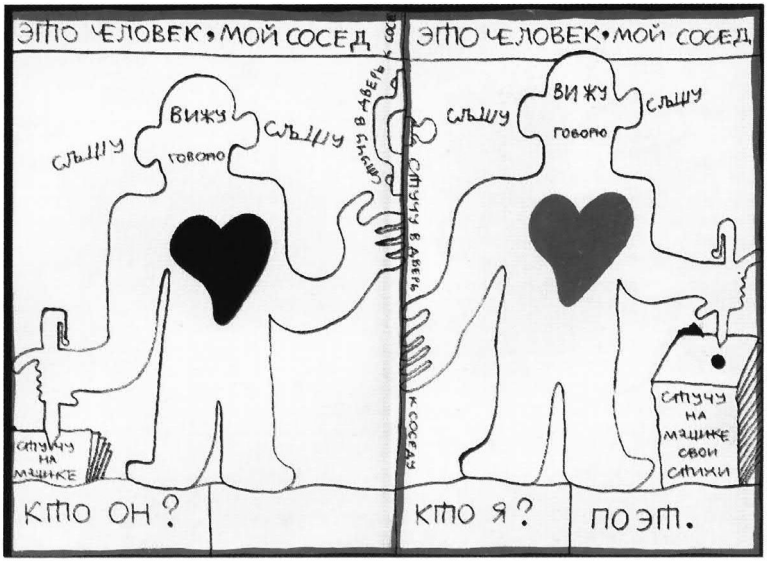
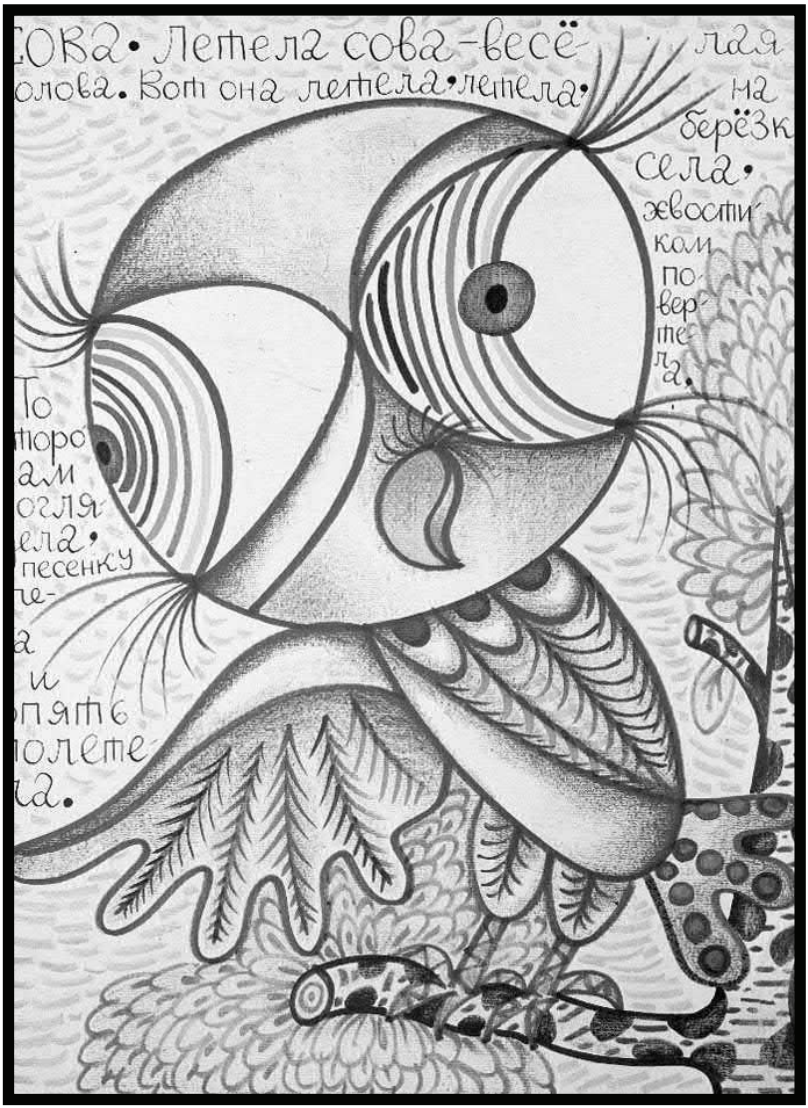


Рисунок
с фрагментом стихотворения А.Сумарокова.
Москва, 1977



Из серии «Стукачи». Москва, 1973

Из серии «Бульдозерная выставка глазами очевидца». Москва, 1974



Сова. Из книги «Прибаутки». Париж, 1987

Кестутис НАВАКАС

/ Каунас /

СЕМЬ ОДИНОЧЕСТВ[1]

Книжный магазин с таким названием существовал почти двадцать лет назад, и я имел возможность там работать с приятной дамой по имени Валентина. Были там и другие дамы, и их имена сохранила история. Почему-то самые важные вещи остаются только на фотографиях, которые врут в каждом мегапикселе. Фотографий осталось много, мы были фотогеничны.

Магазин был на улице Даукши, в Каунасе, в старом городе, в те времена там в изобилии праздно шатались представители низшей богемы с бутылками чернил (не для «паркеров») в руках, однако, встречались и студенты с интеллигентами. Сразу после открытия магазина тут объявился представитель местной фауны — Феликс. Склабился, как расстегнутая ширинка, и представлялся генералом улицы. Славный человек, мы его фиктивно устраивали на работу, и он таскал в контейнер наш мусор, пока не появлялась его так называемая жена, и он не принимался ее колотить. Когда я давал адрес магазина светлой памяти Бронюсу Савукинасу, он среагировал энергично: «О! Прекрасная улица! Я там в сорок пятом здорово отхватил по носу!». Отхватывал и я, только не в то время и не в магазине.

Так было здорово иногда (каждый день) заходить в «Суфлерскую будку», кафе Каунасского малого театра, поболтать с тамошними обитателями. В кафе постоянно сидели два персонажа вышеупомянутого театра — Пликис и Шмикис, и такой себе гробовщик из близлежащего похоронного бюро. Мы всегда отлично ладили, даже иногда похрапывали за компанию, уронив головы на стол. Когда не было особенного желания возвращаться домой, я звонил и говорил, что «Шмикис поймал рыбу». Бывало, ловил, правда, куда девалась та рыба — трудно объяснить, но добираться домой из «Суфлерской будки» доводилось и по сорок пять суток. Шмикису приходилось ловить рыбу уже сетями.

---

[1] «Северные Афины», 2014, май, № 20.

В «Суфлерской будке» даже подавали блюдо под названием «Семь одиночеств», это был, не поверите, карбонад из свёклы. Никто его тогда не заказывал, кроме нас. Была такая девица, влюбленная в уже упомянутую Валентину, она заказывала это блюдо для всего коллектива. Кроме того, эта девица каждый день (!) приносила Валентине по розе. Пробовала приносить орхидеи, но я запретил, ибо орхидеи были моей прерогативой.

Само открытие магазина было невиданного уровня, сам я этот уровень видел одним глазом, хотя в прессе писалось о почти четырех. Помню главного нациста советского кинематографа, Альгимантаса Масюлиса, поднимающегося по лестнице и декламирующего нечто красивое. Звучала живая музыка, хотя танцевать все стеснялись. Я стоял с пиджаком «из стульев Людовика Четырнадцатого» (согласно Марку Зингеру), постепенно переворачивая стул, а может даже — диван, а многочисленные уважаемые гости теснились, пряча за спинами объемистые букеты, которые в нужный момент кому-то да достались.

А потом приехал Валдас Адамкус. У половины гостей даже букеты со спин попадали, никто не мог поверить. Ну, и что, ничего страшного. Президент даже посидел на ступеньках, больше не было, где посидеть. Сказал несколько слов, нельзя же не дать такому человеку поговорить.

Но еще интереснее было, когда приехал президент Эстонии Леннарт Мери. Чего это он ко мне приехал, не совсем понятно. Улица была вся в колдобинах, караван президентских лимузинов почти проваливался в ямы, охрана с отчаяния уже срывала орденские ленточки с костюмов. Но приехали, сбежалась и вся свита, включая посла и военного атташе. Я сказал Президенту оба мне известных эстонских слова, он развеселился, и дальше уже мы общались по-немецки. Я тогда как раз написал рецензию на книгу эстонского автора, поэтому чувствовал в себе неколебимую уверенность, и Президент тоже это чувствовал. Пообщались, потом водители с грехом пополам повыбирались из ям, и все уехали. Самое удивительное, что сразу после их визита улицу принялись асфальтировать. И начали с середины — прямо от входа в магазин. Сейчас уже ни один Президент в яму не заедет. Правда, когда магазин навещала киногруппа из Германии, она еще успела зафиксировать пейзажи, достойные киргизской степи, и даже аборигенов с уже упомянутыми бутылками в руках.

В магазин приезжали почти все главные писатели, от Геды и Венцловы до Гавелиса и Кунчинаса. Бывали разные греки, итальянцы, финны и прочие шведы. Был лауреат Нобелевской премии Тумас Йоста Транстремер. Иногда мероприятия случались по три раза в неделю, а это уже утомляло. Ведь при такой занятости не найдешь и минутки заглянуть в «Суфлерскую будку», а вдруг там Шмикис поймал рыбу?!

Не знаю, чего они приезжали, может, не было, куда деться? Правда, кое-кому приходилось подсказать нужное направление. Как-то я нарисовал подробный план поездки для Йозаса Эрлицкаса, потом отсылал его факсом на телевидение, он тем временем что-то грузил в прямом эфире, получил он тот план и успешно добрался до магазина на своем красном Опеле. А Томаса Венцлову пришлось довезти самому на арендованных по такому случаю «Жигулях», он сказал, что Жигули — хорошая машина (в чем сомневаюсь), а Каунас похож на Тель-Авив (в чем тоже сомневаюсь).

Бывали всякие развлечения и представления. В те времена популярная радиостанция «Каунофон» каждую неделю подключала магазин к «прямому эфиру». В магазин приходил выбранный радиостанцией человек, который должен был по всем полкам искать одну конкретную книгу. Радио транслировало все мучения ищущего, а я пытался как-то помочь, ведь и шило из мешка само собой не выпадет. Чаще всего находил, хоть и постанывая.

Хотя, конечно, главными представлениями были сами писатели. Всякое там с ними случалось. Одно время, по неизвестным мне причинам, наши мероприятия взялось поддерживать «Каунасское пиво». Каждую неделю приезжала фура с логотипами и сбрасывала нам это пиво. Много. Помню вечер с латышскими поэтами, которые прибыли к нам из музея Майрониса уже тепленькие. А тут — несколько ящиков пива. То вечер, очень мягко говоря, был космического уровня.

Аудитория была различных размеров. Вот на концерт одной авангардной группы собралось 2 (два) слушателя, притом один из них был музыковед, но группа все равно выступила (в магазине, в самом деле, выступали много кто, от Каунасского бигбенда и Каунасского струнного квартета до Гедрюса Купрявичюса). А когда приехала Юрга Иванаускайте с двумя тибетскими монахами, людей собралось, как на концерт Кайли Миноуг на Жальгирис-арене, многие не поместились. Все злятся — но что делать, не помещаются. Тибетских монахов пришлось нести просто на руках, потому что — тоже не поместились бы.

Еще в магазине долгими вечерами проходили собрания клуба «Согласия-Света». С докладами, почетным гостями и тем, что можно налить или нарезать. Всегда это было интересно и, как говорится, полезно. В магазине едва помещались ауры докладчиков, некоторые прорисовывались сквозь окна. А сама атмосфера этих собраний была такая, по которой буду скучать и через сто лет.

И вот однажды — надо же такому приключиться — в финале встречи заклинило железные жалюзи, никто не мог выйти. Вино еще оставалось, сигареты тоже, так что клаустрофобия на время отступила. Всю ночь кто употреблял эти ресурсы, кто спал на стульях, кто продолжал дискутировать об императиве Канта. Вызванные ремонтники разняли жалюзи только в одиннадцать утра. В открытые двери первым делом вырывались эманации табака, потом — изможденные диспутанты, а вошедшие первыми посетители увидели продавленные

спавшими стулья, висящие на журнальной вертушке лисьи меха известных журналисток и окаменелости «последнего ужина». И, сверх всего, из служебного помещения сразу появился Дональдас Кайокас и принялся угощать покупателей мандаринами. Мало кто решился взять, хотя чего бояться мандаринов — вообще непонятно.

В магазине не было компа, тогда вся деятельность сводилась к ручной работе. Даже письма немецким поставщикам я писал от руки, что им должно было казаться клинописью на глиняных табличках. Кроме того, я использовал вычурный языковой код, который в переводе выглядел бы, примерно, так:

«Глубокоуважаемый, я глубоко убежден в качества ваших изданий и позволю себе просить прислать нам то-то и то-то». Увидев все это, немцы, небось, падали со стульев, поскольку отвечали только на третий день, когда им снова удавалось усесться на те стулья.

Но к немцам я ездил и сам, Франкфуртская книжная ярмарка была обязательной частью программы. Живал у тамошних поляков, которых во Франкфурте почти столько же, сколько в Варшаве. И помогал с жильем приезжавшим коллегам, что было не совсем осмотрительно: за посредничество коллеги старались отблагодарить, чаще всего, бутылкой. Из-за этого попасть на ярмарку удавалось только на третий день, но и там, помню, спал на софе рядом с лифтом. Лифт работал тихо и спать не мешал, посплю и снова иду к стендам заказывать что попало. Хорошо, что эти услужливые поляки исчезли, когда один мой протеже, директор сети книжных магазинов, голышом промчался по их коридорам.

Франкфурт, вообще, был какой-то хмельной. Раз встретились там с представителем издательства «Ташен» и пошли развлечься. Начали развлекаться на какой-то террасе, но, в конце концов, очутились в стриптиз-баре. Тамошние девицы вовсю миловались с вертикальными перилами, но была еще одна штука под названием «консумация». Купи девице особо дорогого напитка, она сядет тебе на колени, и можешь тогда тискать ее по-всякому. Купил. Села бразильянка, очень похожая на Джордану Буткуте, году в восемьдесят девятом. Ничего я не потискал, хотя где-то рядом немцы уж так щупали девиц, словно тесто для пиццы замешивали. Я просто разговаривал, даже сказал, что ей, наверное, лучше бы не в каком-то клубе скакать, а секретаршей где-нибудь пристроиться. Ответила, что я «зеер симпатиш». Ну, что правда — то правда. Но вот сразу после этого разразилась трагедия. Сидевший рядом коллега, до этого терпеливо наблюдавший происходящее, не выдержал и тоже схватил проходившую мимо девицу, посадил ее к себе на колени, купил выпивки, и тут оказалось, что это Наташа из Калининграда. Само собой, ничего страшного, Наташа там была одна из лучших, но коллеге еще и вздумалось подняться с ней на второй этаж, где было гораздо больше интима. Когда он спросил, может ли расплатиться карточкой, я понял, что ему тут хана. Так и было. Окончательная сумма за

«оказанные услуги» составила шесть тысяч марок, счет на которые пришел на карту по месту работы, с указанием всех услуг. Неудивительно, что книжный бизнес на некоторое время коллегу заботить перестал.

Все равно получалось не только работать, но и, как говорится, «расслабляться». Не удивительно, ведь эта ярмарка, в самом деле, изнурительная. Раз шли гурьбой в отель, вдруг шедший с нами театральный критик куда-то забрел, свалился в канаву, где и выспался, набрав полные карманы глины. А мы с журналистами таки добрались до отеля и обнаружили там известного культуролога спящим на ковре в коридоре. Пришлось нести, хоть и было нелегко, одна куртка тянула килограммов на двадцать. До сих пор не понял, что это было: еще вечером дискутировали о египетской культуре, и вот он уже спит в коридоре. Положили рядом с соседом по номеру, уже упомянутым Савукинасом, и вышли. Минуты через четыре пришел и сам Бронюс, удивляясь тому, что культуролог проснулся и снова хочет дискутировать о египетской культуре. Мы, в свою очередь, удивились тому, как за какие то четыре минуты Бронюс успел облачиться в элегантный костюм и повязать галстук. Так бывает только в немом кино. Но пришлось и Бронюсу подискутировать. Были мы очень отзывчивые люди, карма улучшалась с каждой минутой.

Бывали и другие ярмарки, например, в Лейпциге. Там я должен был произнести речь, которую, конечно, заранее не написал. После впечатляющей пирушки по случаю открытия в Гевандхаузе, вышли мы с одной переводчицей, следуя моему гениальному плану: мы сейчас идем в отель, я там пишу свою речь, а переводчица ее сразу переводит. Однако, по приходе, из кармана выглянула бутылка виски, переводчица тоже была исключительно наблюдательна, так что занялись совершенно не тем. И произнося речь на ярмарке, пришлось импровизировать в стиле Вивальди, иногда переходя на Паганини.

Импровизировали и другие участники. Помню, только я затеял беседу с какими-то немцами, как подлетает Юргис Кунчинас и говорит: «Ер ист айн Дихтер, ихь бин Прозамайстер». И слово сразу перехватил, хотя потом держал это слово уже в отеле, и, когда выселялись, бледная служащая несколько раз заверила нас, что «никогда не забудем того господина из двадцать третьего номера».

Вот, покончив с ярмарочными делами, сидим в одной лейпцигском кабачке, мурлыча себе под нос, а еврейский издатель, выпустивший альбом Чюрлениса, то и дело бегает на кухню посмотреть, готовят ли ему стейк. В Германии это непросто проделать, но он старался. Мы думали, что он поварам не только изложил правила кашрута, но и рассказал, что за художник был Чюрленис, поэтому и стейки мы называли «Мотивы Чюрлениса». Один день — «Море», другой — «В лесу».

Еще был незабываемый Калининград, где меня заносило Бог знает куда, может, чтобы рассказывал, что «Семь одиночеств» — это

книжный магазин, а не сорт водки. Раз надо было ехать на чтения, однако поэт Айдас М. слишком рано устал, и мы оставили его в отеле. После чтений вернулись, поинтересовались заботливо, приходил ли такой-то и такой-то? — спрашиваем администратора. Говорит: был примерно двенадцать раз, что-то говорил, но ни разу не поняла, что хочет.

А потом это странное возвращение из Калининграда русским плацкартом, полное безумие. Мы с поэтом Айдасом М. купили в привокзальном ресторане молдавское вино, от которого он проснулся, а я заснул. Спал бы с удовольствием и дальше в плацкарте, но на моей полке уже лежала какая-то белоруска, с лицом, как у Лукашенко, которого катком наискосок переехало.

Проводники со всего поезда меня утешали, а поэт Айдас М. в это время сидел где-то с ехавшим вместе с нами Йозасом Будрайтисом и чувствовал себя отлично. Подошел даже ко мне, оцепеневшему, и говорит что-то там про Будрайтиса. Будрайтис? — сразу зашевелились русские. Где Будрайтис? И по меньшей мере три ближайших вагона побежали смотреть, где этот Будрайтис. Счастливый поэт Айдас М. угощался пивом, а я все думал свои думы, а не побежавшие смотреть Будрайтиса русские все меня утешали и даже цитировали Пушкина.

Эти богемные экскурсы напоминают не столько о нашем магазине, сколько о тех временах, однако без магазина не было бы ни ярмарок, ни пережитых там приключений. Приключений хватало и в самом магазине, а когда к нам присоединилась родственная сеть «Гуманитас», с которой мы немного конкурировали, но и очень дружили, приключений стало столько, что и д’ Артаньян бы застрелился.

В магазине работали прекрасные девушки, с которыми мне очень нравилось сидеть в барах по соседству, иногда даже в рабочее время и даже закрыв магазин, потому что внезапно накатывала необходимость поесть картофельных блинов. Почти все посещали и мой литературный чердак. Только уходит одна, а уже другая запускает снежком в окно и подходит. Окно открывается. Волшебные синхроны.

Изумительнейшей из них была по имени Роберта. Не всегда ей удавалось прийти на работу, не распространяя запах шампанского, но своим ремеслом она владела в совершенстве. Вот, скажем, приходит человек, говорит: «Ну… вот… мне надо… как его…». Роберта сразу достает книгу с полки и спрашивает, не эту ли. Вот-вот, эту — радуется человек. Высший пилотаж книготорговли.

Крали книги. И незаметно, и на виду. Удивительно, но, когда на одной из обворованных полок повесили объявление, начинавшееся словами «Дорогие воры, с этой полки украли 14 книг…», воровать с нее перестали. Быть может, у вора было начальное образование, и он даже умел читать. Но за одним таким я гнался аж до замка. Была зима, небеса казались прозрачными, а я гонюсь за вором. Когда

догнал, его уже держал за все пуговицы пальто плотного сложения мужичок и сразу передал воришку в мои немощные руки. Вор с благочестивой физиономией отдал украденное, оказалось, что это была «Библейская энциклопедия». Теперь думаю, что вор, может, прочитал бы эту энциклопедию, стал бы ревностным католиком и с той поры крал бы только батоны.

В подвале магазина (это одно из торговых помещений), стояла трибуна, служившая подставкой для кассового аппарата. Трибуна крепкая, советская, не представляю, на каком основании, но доставленная мною из Каунасской техноложки, с чердака, заваленного непригодными для технологий вещами. С этих трибун в былые времена «толкали речи» весьма ответственные товарищи, в паузах отхлебывая из тут же стоявшего графина. А мы обклеивали «фасад» трибуны аккуратно вырезанными из каких-то книг немецкой поэзии страницами, на которых все прибывавшие гости оставляли свои автографы, наши девушки так и работали — не за кассовым аппаратом, а за автографами классиков. Ведь они — род пуленепробиваемых бронежилетов. «Оприходовали» мы две трибуны, на первую автографы уже не помещались, когда-нибудь все можно будет продать музею Майрониса, чтобы и Майронису было как-то спокойнее.

Где теперь вы все, девушки «Семи одиночеств» — Валентина, Даля, Аудра, Альма, Смила, прочие, с которыми я реже отваживался целоваться на складе? В англиях, ирландиях, еще где-то... Магазина уже давно нет, на его месте кто-то торгует жареными куриными крылышками, большинство наведывавшихся туда писателей — умерли. И потому, как бывает нередко, только снимки торпедируют память.

Перевод с литовского Владислав Просцевичус

Ирина ЧАЙКОВСКАЯ

/ Вашингтон /

ВАРВАРА ТУРГЕНЕВА И ИВАН ТУРГЕНЕВ: МАТЬ «ЧУДИХА» И СТРАННЫЙ СЫН

«вы с братом... вышли, не прогневайся, — ЧУДАКАМИ».
(из письма В. П. Тургеневой сыну Ивану)

Иван Тургенев внешне был похож на свою мать Варвару Петровну Тургеневу. Однако по-человечески сильно отличался от той, которая писала ему в письмах «я тебя люблю как душу» и была капризной, жестокой, закореневшей в крепостных установлениях.

Но есть у писателя и его матери одна общая черта: у обоих замечалась некоторая странность поведения. Правда, странность Варвары Петровны не выходила за пределы обычной помещичьей чудаковатости. В «Былом и думах» Герцен изобразил таких чудаковатых помещиков — отца и дядю. От скуки, от вседозволенности, имея много свободного времени, помещики могли чудить вволю. Никто им был не указ. Природа «странности» Ивана Тургенева — иная. Он из тех свободных людей, которым нестерпимо жить в рабовладельческой стране, среди помещиков, не считающих крепостных людьми. Такой помещицей была его мать Варвара Тургенева, «дама светская» (ее самохарактеристика); в ответ на просьбу сына дать вольную крепостной, она пишет: «Какой же ты уморительный, Иван... Да за что же тут награждать и вольную давать старой девке, которая и прежде и после отправляла ремесло свое, бляд...ла..., дать ей ассигнацию и полно». Какой однако грубый взгляд и язык, как «светская дама» далека от воззрений сына, впоследствии отразившихся в глубоких и человечески привлекательных характерах крестьян и крестьянок из «Записок охотника»!

В этом эссе мне хочется провести разграничительную черту между «странностями» матери и сына. В чем-то Иван Сергеевич был сыном своей «причудливой» матери. Но было и серьезное отличие: его «странность» сближала его с лучшими людьми Х1Х ве-

ка, выбивавшимися из общей шеренги дворян. Это люди, бежавшие от стереотипов, дорожащие свободой, не терпящие крепостничества.

В 1852 году, через два года после смерти Варвары Петровны, сын написал рассказ «Муму», в нем довольно точно и весьма безжалостно изобразил свою матушку. Б. Н. Чичерин, например, считал, что тот «отвратительный вид», в котором писатель представил Варвару Петровну был «нарушением всяких нравственных приличий». Всякий писатель в своих творениях опирается на свой личный опыт, отталкивается от окружающих его людей, делая их «прототипами» своих произведений. Другое дело, что мать, не часто в писательской практике выступает моделью для создания персонажа резко отрицательного. Варвара Петровна Ивана любила, не раз в письмах признавалась ему в этом. В сердце же сына для нее не было теплых чувств — и причин тому было много, главная та, что мать была человеком жестоким, деспотичным, любящим унижать человеческое достоинство. «Ты всех мучишь...Каждый дрожит перед тобой», — сказал, по воспоминаниям Варвары Житовой, Иван матери перед своим отъездом во Францию в 1846 году. Удивительно, но, по общему мнению, слабохарактерный Тургенев, проявлял железную волю там, где дело шло о важных для него вещах, например, свободе.

Старая барыня у Тургенева имени не имеет. Серый дом с белыми колоннами, расположенный вблизи Крымского брода, это, конечно же, «дом Лошаковского» на Остоженке (ныне музей писателя), где доживала свои дни мать Ивана Сергеевича Варвара Петрована Тургенева. Сходство старой барыни и Варвары Петровны разительно. Слова «Скупая и скучающая старость» точно характеризуют Варвару Петровну, одну из богатейших помещиц России, лишившую Ивана всякой материальной поддержки после его отъезда за границу вслед Полине Виардо, а до того — при посылке денег постоянно и мелочно требовавшую у него отчета во всех тратах. Табачок, который барыня «понюхивала», пристрастие к картам, протапливание своей спальни и кабинета даже летом — все сходится с прототипом. Многочисленная дворня и приживалки — тоже примета уклада Варвары Петровны, как и ее непоколебимая уверенность в том, что она по своей воле может распоряжаться судьбами дворовых. В рассказе Старая барыня женит пьяницу Капитона на скромной работящей Татьяне. В жизни Варвара Петровна также соединяла судьбы своих дворовых, даже не поинтересовавшись их желаниями и чувствами. Вся коллизия рассказа про глухонемого дворника Герасима и его собачку, не угодившую барыне, как давно известно, списана с реальности, разве что реальный глухонемой дворник Андрей Варвару Петровну не покидал и продолжал ей рабски служить и после того, как, по ее приказу, потопил свою собаку.

Для нас интересны, однако, не столько внешние приметы, сколько те характеристики, которые дает Тургенев Старой барыне. Вот такая, например: «причудливая старуха», иначе «старуха с при-

чудами». Или о вспышках веселья, которые продолжались у нее недолго и «обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа». Продолжительные нервически волнения обычно с ней случались «после слишком сытного ужина». Услышав лай собаки, барыня закинула голову назад, «что должно было означать обморок». Сколько здесь иронии, сарказма! Старая барыня, окруженная челядью, жалуется, что ее, «бедную старую женщину, все бросили, что никто о ней не сожалеет, что все хотят ее смерти». Она, как пишет Тургенев, «иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдалицей», отчего людям в доме становилось очень неловко. Многим из этих характеристик можно найти аналоги в поведении Варвары Петровны Тургеневой, каким оно описано в воспоминаниях самой близкой и самой достоверной свидетельницы, приемной дочери Тургеневой Варвары Николаевны Богданович-Житовой. Однако в ее правдивых рассказах одновременно с порицанием живут обожание и восхищение; Варвара Николаевна, несмотря ни на что, свою приемную мать (сама она считала ее родной!) любила. И, добавлю, по временам видела в ней и благородство, и достоинство, и даже доброту. Иван Сергеевич в своих описаниях безжалостен и ироничен. В рассказе «Муму» это проявляется особенно, он словно старается взглянуть на эту женщину со стороны, отрешившись от себя, объективно. И сам себя вопрошает с недоумением: вот эта отвратительная старуха, мучащая всех вокруг и всем вокруг внушающая страх, — моя мать?

Незадолго до написания рассказа, в 1850-м, Тургенев приехал в дом на Остоженки в последний раз. Мать уже похоронили — без него. Будучи предупрежденным об ее предсмертном состоянии, он добирался из Петербурга в Москву *пять дней* и, естественно, опоздал к похоронам. А Варвара Петровна ждала, звала его перед смертью. Вообще перед смертью она, по словам Варвары Житовой, «смолкла». Причастилась, как положено христианке, хотя в жизни не отличалась большой религиозностью. Но, видимо, в преддверии смерти — смирилась с обычными христианскими обрядами.

Между тем, в своем хорошо известном письме Полине Виардо Иван Тургенев пишет, что мать его во время агонии требовала, чтобы оркестр играл веселые польки. Трудно представить себе такую картину, да и скорее всего, она порождена воображением Ивана Сергеевича, агонии матери не заставшего. Представляется, что своей французской подруге он хотел нарисовать вполне определенный портрет Варвары Петровны, верной себе и своим диким причудам до самой смерти.

Причуды однако были у них обоих. В замечательной книге В. Н. Топорова «Странный Тургенев. Четыре главы» в первой главе как раз и рассказывается о тех странных чертах, которые современники замечали у Тургенева. Варвару Тургеневу люди, близко ее знавшие, называли «чудихой», но и Ивана Сергеевича многие из его окружения считали человеком странным, с некоторой чу-

динкой. Я уже говорила о том *коренном отличии* , которое отделяло «странного» Тургенева от его «чудихи» матери. А сейчас приведу некоторые примеры (далеко не полный перечень) «чудачеств» матери и сына.

Самым странным в поведении Варвары Тургеневой было то, что, уехав «на лечение» за границу весной 1834 года (впрочем, за границу тогда отпускали только на лечение!), оставив в С-Петербурге мужа и двух сыновей, вернулась она летом 1835 года. За время ее отсутствия умирает ее муж, Сергей Николаевич Тургенев, о чем ей, конечно же, сообщают в письмах. Между тем, ее путешествие по Германии, Италии и Франции закончилось лишь спустя восемь месяцев после смерти мужа. У вернувшейся, по словам очевидицы, прекрасное настроение, она с удовольствием примеряет привезенные из поездки наряды. Не очень все это соответствует поведению безутешной вдовы, роль которой Варвара Петровна будет разыгрывать в письмах к сыну на протяжении многих лет.

Смерть отца, встреченная в возрасте 16 лет, в отстутствии матери, сильно повлияет на Ивана Сергеевича. Замечено, что Тургенев не просто не любил похорон, но, по-видимому, смертельно боялся на них присутствовать. Он не хоронил ни матери, ни дяди, ни брата. Покинул больного Белинского, хотя обещал проводить его, когда тот — в преддверии смерти — после бесполезного лечения на немецком курорте уезжал в Россию. То же было с Герцены м, которого он не навестил перед его кончиной и не проводил в последний путь...

Что до нарядов, привезенных Тургеневой из-за границы, то, судя по всему, наряжаться она любила. В письмах к сыну просила его купить ей последние модели парижских чепцов. Приемная дочь отмечает в воспоминаниях, что Тургенева была «чопорна» в туалете, что она никогда не показывалась на людях «в беспорядке», носила капоты «изящных фасонов».

Был ли франтом Тургенев, сказать затруднительно. На эту тему мне ничего не встречалось, кроме упоминания сюртука с блестящими пуговицами. Но мы знаем персонажа из «Отцов и детей», очень ему близкого, в чьей судьбе отчасти проецируется судьба самого писателя. Говорю о Павле Петровиче Кирсанове, который даже в деревне всегда был безукоризненно одет и переодевался к обеду... Весьма правдоподобно, что похоже вел себя и Иван Сергеевич, вызывая насмешки разночинных Базаровых, видевших в этом «аристократические замашки».

Мать Ивана, как я сказала, почти в каждом письме к сыну поминала умершего мужа, отмечала день его памяти 23 сентября, по ее рассказам, муж ее высоко ценил и любил, а окружающие завидовали их счастью. Между тем, все кругом знали, что Сергей Тургенев вступил в брак по расчету, женившись на деньгах, и жене изменял. В письмах к сыну Варвара Петровна писала и о том, что Сергея Нико-

лаевича, мужа больной жены, приманила и увела от семьи проклятая «поетка», княжна Шаховская. Все обстояло ровно наоборот. Сергей Николаевич увлек молодую девушку, сделав своей любовницей. Неслыханный позор для дворянки, к тому же аристократического рода. Варвара Петровна творила свою легенду взаимоотношений с мужем, понимая при этом, что сын «знает». Знает, но не противоречит, не хочет (до времени) вступать в спор... Своеобразная негласная установка, или конвенция, если воспользоваться термином Виктора Шкловского.

Но и у самого Тургенева были моменты в жизни, когда он вел себя схожим образом. Один такой случай описывает Тучкова-Огарева. Они с Тургеневым были знакомы, и он даже немного ухаживал за ней еще в то время, когда, молодой девушкой, она приехала к Герценам за границу. Каково же было ее удивление, когда через много лет при встрече с ней и ее мужем Николаем Огаревым Тургенев сделал вид, что знакомится с нею в первый раз. Понятно, что никого это не могло ввести в заблуждение, так как Огарев прекрасно знал, что его жена и Иван Сергеевич знакомы.

Не сохранились письма Тургенева к матери, а письма Варвары Петровны к сыну мы имеем только за период с 1838 по 1844 год. Но по этим письмам иногда можно судить о высказываниях сына, в которых видно желание «подстроиться» к адресату. Иван Сергеевич в юности в материальном отношении зависел от матери. Она, хотя и скупо, первоначально посылала ему деньги на ученье и прожитие за границей, куда он уехал в 1838 году для учебы в Берлинском университете. И вот читаем цитату из письма сына, которую Варвара Петровна приводит по той причине, что не ожидала от него такого «в его лета»: «Ах! Каждый человек должен достигнуть прекрасного, если у него есть святое». Согласимся, что здесь Иван «подыграл» матери; полагаю, что ему даже и в 23 года, не было свойственно так витиевато и возвышенно выражаться... Зато мать отозвалась на это высказывание с радостью: «Прочитав это, я вижу, что мы с тобою и в этом согласны».

Как мне кажется, долгие годы отлучения от материнских денег, существования в унизительном статусе «клиента» в семье Виардо, сформировали в Тургеневе своеобразную тактику «притирки» — , к членам этой семьи, в особенности к Луи. Любя Полину, Тургенев не мог игнорировать и не замечать ее мужа. В щекотливой ситуации он действовал по примеру Онегина, которого ласкал «рогоносец величавый», или же Маяковского, вынужденного, ради того, чтобы не быть разлученным с любимой (Лилей Брик или Норой Полонской), играть в пылкую дружбу и с Осипом Бриком, и с Михаилом Яншиным.

Конечно же, при всей возможности возникновения дружбы с мужьями любимых женщин, во всем этом была определенная доля притворства, преувеличения, игры.

Насчет игры. Оба — и мать и сын — играть любили. Говорю об игре как о театре. Причем слово «игра» я употребляю в двух смыслах, прямом и метафорическом.

Варвара Петровна устраивала настоящие «представления». Правда, они всегда плохо кончались для участников. Например, такое: дворецкий приносит ей стакан воды. Она отпивает глоток, морщится — и требует поменять воду. Дворецкий снова на подносе несет барыне стакан. Та отпивает и говорит, что эта вода совем другого вкуса. И тут дворецкий не удерживается, грохается на колени, осеняет себя крестом и говорит, что воду не менял, принес ту же. Барыня багровеет: «Вон!» На следующее утро бывший дворецкий, разжалованный в дворники, уже метет двор. В доме это называлось: «барыня придирается».

Или такое, под названием «барыня озадачивает». Садовнику, в виду цветов, задается вопрос: «Что такое? Что это значит?» Тот молчит, озадаченный. Вызывается дворецкий, он также не в состоянии ответить на непонятный вопрос. Барыня разгневана, кричит: «Все на поселение захотели? Всех сошлю!»

Приведу и еще один пример, взятый, как и два предыдущих, из воспоминаний Варвары Богданович-Житовой. День рождения любимого сына Ивана 28 октября отмечался и в его отсутствие. Варвара Петровна угощала дворовых, ставились столы с закуской и крепкими напитками.

Как-то вечером, в день рождения Ивана Тургенева, разнеся слух, что барыня умирает и требует, чтобы все дворовые подходили к ней прощаться. Люди шли, целовали руку, те, кто был под хмельком, старательно отворачивали лица. Через какое-то время барыне полегчало, она раздумала умирать. Но не забыла наказать всех отсутствующих при «прощании», а также бывших под хмельком... Трудно понять, специально ли был разыгран спектакль, чтобы проверить прислугу. Сдается мне, что специально.

Наличие у барыни дворовой «камер-фрейлины», вывешивание флага с гербом Лутовиновых-Тургеневых в случае хорошего настроения и открытости для гостей — что это, как не игра?

Этот своеобразный «крепостной театр» сочетался в Варваре Петровне с любовью к настоящему театру, она знала и любила комедии Александра Шаховского, цитировала строчки из них, у нее в имении эти пьесы ставились.

У Ивана Сергеевича к театру было пристрастие. Неспроста он и сам писал пьесы, и знал многих актеров, русских и французских. Неспроста именно актриса стала женщиной его жизни. Известно, что в комических ролях он принимал участие в домашних постановках в доме Виардо. Есть в воспоминаниях Григоровича рассказ о разыгранном в Спасском тремя друзьями (был еще Дружинин) водевиле, сочиненном Тургеневым, где он играл самого себя, опять же в комическом ключе. Наталья Тучкова-Огарева то-

же вспоминает, как Тургенев, что-то «смешное» представлял перед лондонскими друзьями, правда, впечатление оставил странное, даже жутковатое...

Конечно же, был Иван Сергеевич «натурой артистической». И вполне возможно, отчасти унаследовал свой артистизм (со знаком плюс) от своей матери... А вообще-то он на своей «шкуре» испытал пристрастие матери к игре даже с самыми близкими людьми. В детстве она его собственноручно секла, непонятно за что. Когда он спрашивал, за что, получал ответ: «Сам знаешь». Мать применяла к нему тот же прием «озадачивания», что и в отношениях со слугами. Или пример еще более циничной игры, когда Варвара Тургенева на словах сделала своих сыновей, Ивана и Николая, своими наследниками, а на деле бумаги не оформила и официально осталась единовластной владелицей сыновнего наследства. Обе стороны знали, что все сделано «понарошку», но Варвара Петровна продолжала играть свою игру, а сыновья не хотели вступать с ней в конфликт и тем самым ей «подыгрывали».

Иван Сергеевич Тургенев всю жизнь боялся холеры. Вспоминается, что холеры боялся и Петр Ильич Чайковский, чья мать умерла от этой жуткой болезни. Традиционно считается, что и сам Чайковский, выпив стакан сырой воды, заразился холерой и умер. Я-то считаю, что он покончил с собой, но это в сторону.

Известно, что в Париже молодого Тургенева, слегшего от непонятного недуга, принятого им за холеру и насмерть испугавшего, опекал и выхаживал Александр Герцен.

Боялась ли холеры Варвара Петровна? Варвара Богданович-Житова в своих мемуарах говорит, что она ничего (и никого) не боялась. Но тогда трудно объяснит, почему, находясь в Спасском во время холерной эпидемии, Варвара Тургенева приказала сделать для себя застекленный деревянный футляр, в котором крестьяне носили ее по деревне на носилках. Можно себе представить, какое дикое это было зрелище! Один из встречных крестьян, не признав барыню, подумал, что несут икону (или мощи) — и подал копеечку. Понятно, что и эта затея барыни добром для ее слуг не кончилась.

Мемуаристы подчеркивают мягкость Тургенева, даже отчасти мягкотелость, Варвара Петровна, с присущей ей грубой прямотой писала ему в письме: «Прямая ты пареная репа». Однако временами на него находили вспышки гнева, свойственные роду Лутовиновых.

Наиболее известен случай, когда Тургенев поссорился с Толстым и вызвал его на дуэль. Было это в имении Фета, и ссора была спровоцирована реакцией Толстого на рассказ Тургенева о его дочери, в благотворительных целях, латавшей одежду бедняков. То, как отозвался на рассказ Лев Николаевич, так не понравилось Ивану Сергеевичу, что он в бешенстве крикнул: «Так я вас заставлю молчать оскорблением». Правда, потом он быстро вернулся и извинился перед хозяйкой за эту сцену.

Менее известен случай в Лондоне, приводимый в книге Владимира Топорова, когда на Тургенева, сидящего с приятелем в старинном замке, где вокруг стола неслышно сновали трое слуг, что-то нашло. Он ударил об стол кулаком и стал кричать: «Редька! Тыква! Кобыла! Репа! Баба! Каша! Каша!» Похоже, что охватившая его ярость была связана именно с «английским замком», где все было изысканно чужим, далеким от простых, понятных, «русских» вещей — репы, каши... В «исступлении» Тургенева, как назвал это состояние его приятель (Н. М. Жемчужников), была своя система.

С Варварой Петровной нервные срывы случались постоянно. Однажды она в ярости замахнулась тяжелым костылем на своего верного секретаря и главного дворецкого Михаила Лобанова (у Житовой он Поляков) и могла бы его убить, если бы деверь Николай Николаевич не поспешил и не отвел ее руку. Так Варвара Петровна среагировала на известие о том, что Лобанов впустил «молодых господ» в имение в ее отсутствие...

Каждый такой срыв кончался для «виновника» жестоким наказанием, а для барыни истерикой, которую крепостной врач Порфирий Кудряшов лечил, как и в рассскaзе «Муму», лавровишневыми каплями.

Помещица не считала крепостных полноценными людьми, о дворовых в письме к сыну отзывалась: «дворовые скоты». Разве между скотами могут быть какие-то чувства? Только случка. Поэтому, как и барыня в «Муму», Варвара Тургенева могла, по своему усмотрению, соединять своих рабов мужеского и женского пола. Так она соединила свою камер-фрейлину Авдотью с конторщиком и главным дворецким Михаилом Лобановым, не удосужившись спросить их о «чувствах». К всеобщему удивлению, получилась хорошая любящая семья. Эту пару наиболее приближенных к барыне слуг ждали тяжелые испытания. Рассказ о них, пожалуй, самое эмоциональное место воспоминаний Житовой и, возможно, одно из самых суровых обличений помещичьего деспотизма.

В семье Лобановых рождались дети, три девочки. При рождении уже первого ребенка барыня потребовала, чтобы мать оставила его на чужую женщину и отправилась с ней в Москву. Внешне подчинившись, Авдотья (у Житовой она Агашенька) взяла ребенка с собой и прятала его во все время пребывания в Москве. Со вторым ребенком было то же. Родителей барыня забирала с собой в Москву для «отправления их обязанностей», а детей — нет. Авдотья и в этот раз ослушалась, взяла детей с собой, но решилась сказать об этом барыне. Что тут поднялось! С пеной у рта помещица закричала: «Вон! Я все могу с тобой сделать, я тебя на поселение сошлю, детей твоих я сейчас в воспитательный дом отправлю!» Авдотья упала на колени, бессвязно бормоча: «Хоть в Сибирь, хоть на поселение, а с детьми... детей нельзя...я не дам детей!» Когда «раба» осмелилась ска-

зать «Были мы вам, сударыня, с мужем верные усердные слуги, а теперь из-под палки мы не слуги», последовала «ужасная сцена». «Варвара Петровна захрипела, бросилась с постели. Одной рукой схватила (Агафью) за горло, а другой точно силилась разорвать ей рот... с ней сделался нервный припадок».

* * *

В одном из писем 1839 года к сыну в Германию Варвара Петровна пишет:

«Мы не могли вам дать светскости, и вы с братом умные, добрые, почтительные ко мне... вышли, не прогневайся, — ЧУДАКАМИ[1]... Будьте как все. ХРОМОЙ С ХРОМЫМИ».

Поучение матери: «Будь как все!» нашло выражение в ее требованиях к сыну. Например, в таком: бросить писать. Дело это не дворянское, к тому же, сочинителя всякий может критиковать, честь от этого страдает. «Твое назначение другое, других услуг ждет от тебя Отечество». Каких же услуг ждало Отечество от Тургенева? Службы, конечно. Старшего, Николая Сергеевича, определили в военную службу. Младший должен был служить в департаменте, выслуживать чины. Иван попробовал было послужить в министерстве внутренних дел у старичка Даля, да не понравилось, сочинительство повело за собой... «Быть как все» имело и еще несколько значений: остепениться, жениться, родить детей. Особенно настойчиво Варвара Петровна требовала, чтобы сын жил возле матери («Я вдова — и могу законом принудить жить со мною, особливо меньшого. Я свои права знаю»). Формулируется категорический императив для младшего сына:

«Ты ДОЛЖЕН жить с матерью, где бы то ни было. ДОЛЖЕН покоить ее старость, ДОЛЖЕН дождаться конца ее жизни на месте, а не в походе. Должен быть при ее смерти, ДОЛЖЕН ее похоронить». Ничего из того, что он ДОЛЖЕН был сделать, Иван Тургенев не сделал. 21 февраля/5 марта 1841 года, когда Варвара Петровна выводила этот императив на бумаге, Ивану было только 23 года, он еще ничего про себя не знал — ни чем будет заниматься, ни где будет жить. Одно он знал наверняка: он не хочет БЫТЬ КАК ВСЕ.

В итоге так и получилось. Большую часть жизни Иван Сергеевич прожил за границей, своей семьи не имел, зато прилепился к чужой. Его подругой и музой стала великая французская певица, чужая жена.

Иван Тургенев прожил «странную жизнь», но он был свободным человеком и жил по своим собственным законам, уйдя от стереотипов, которые пыталась навязать ему мать.

---

[1] Николай Сергеевич Тургенев тоже шел своей дорогой, был не как все. Карьера — военная, а затем статская ему не удалась. Женился он против воли матери — на ее камеристке, за что мать отлучила его от себя и лишила материальной поддержки...

Юрий ОРЛИЦКИЙ

/ *Москва* /

О СТИХАХ КОВАЛЬСКОГО

Многие поэты умеют рисовать и даже пытаются иллюстрировать свои книги собственной графикой — правда, не всегда удачно.

А многие художники, наоборот, пишут стихи, и причем чаще всего, в отличие от поэтов, упражняющихся в графике, делают это отменно хорошо. Причем их стихи вполне могу существовать отдельно от их графики и живописи.

Таковы были Федотов и Рерих, Малевич и Кандинский, Филонов и Шагал. Таков же и Сергей Ковальский, который пишет стихи так же уверенно, как рисует, с этим не поспоришь.

Больше того: его стихи позволяют ему делать то, что не всегда удается живописи. Например, путешествовать по миру. Недаром в одном месте, определяя род своих занятий, он так и написал: «Художник. Путешественник»! Вот мы с ним вместе (точнее, с его стихами) в Риме, в Вене, в Венеции, в Швейцарии. В Перудже, в Стамбуле, в Берлине. В Праге, в Кракове, в Париже, в Иерусалиме. В Нью-Йорке, в Одессе, в Барселоне. Наконец, и в Питере тоже, на Старом Невском, например, где его встречает великое «толпотворение».

Путешествует художник не просто так: отовсюду привозит впечатления, из которых потом возникают картины, листы и стихи. Правда, все они очень похожи, потому что не о мире пишет Ковальский, а о себе в этом мире, непременно становящемся для него прежде всего декорацией — тут он больше всего похож на великого эгоцентрика Маяковского.

Вообще, стихи Ковальского предельно футуристичны. Но это не подражание — это способ видеть и изображать мир. Резкими, грубыми мазками, без деталей, без лирических отступлений. Без соплей, одно слово. И в этом его лирика тоже похожа на его живопись.

«Цветодинамические контрколлажи», ставшие частью новой книги Ковальского. В этом он, на первый взгляд, пошел за поэта-

ми, иллюстрирующими свои стихи. Но только на первый взгляд: на недавней его персоналке эти самые коллажи вполне обходились без стихов. Потому что они не «к» ним, а параллельно — недаром же «параллелоцвексты». Не синтез, а два разных мира, равно талантливых. Иногда, на мой взгляд, не дополняющие, а мешающие друг другу.

Думаю, Ковальский прекрасно понимает это, и этот конфликт выстраивает вполне сознательно. То стихи умолкают рядом с коллажем, то наоборот «картинка» меркнет в тени мощного словесного выплеска.

Надо ли говорить, что пишет Ковальский в основном свободным стихом? Именно такова и его живопись, и столь любимый и неоднократно упоминаемый им современный джаз. Иногда он выражает свое отношение к поэзии и поэтам («Отрекаюсь от дара / человеческой речи»). И все время вспоминает имена великих предшественников, причем не всуе.

На этих именах, как и на географических названиях, как на горных пиках, держится весь его поэтический мир. А поэт так и двигается в нем: от имени к имени, от города к городу. И так без конца. Без отдыха. Без устали…

Именно поэтому поэтам надо поспешить, пока Ковальский вслед за «Параллелошаром» не придумал не только «Цветослов Трансрадуги» и отдельные «Параллело цвексты», что он уже сделал, но и всю остальную «Параллелословесность» и тем окончательно не обессмыслил их существование! Причем не только в пространстве Трансрадуги, но и во всех прочих пространствах!

Сергей ДЕМЧЕНКОВ

/ *Омск* /

МАСТЕРСТВО КАТАРСИСА

О поэме Игоря Силантьева «Отрывной календарь»
(Звезда. № 10. 2017)

Я далеко не сразу сумел найти слова. Впрочем, я, кажется, так их и не нашёл. И ещё я очень долго не мог заставить себя сесть за компьютер. Потому что я прочёл первую строчку, вот эту:

> он привыкал к её смерти задолго до её смерти —

и понял, что поэма Игоря Силантьева — обо мне.

Да, так и было. Смерть мамы не стала для меня неожиданностью. Четыре года я жил с ощущением, что это может случиться в любой момент. И это случилось.

Было начало декабря. Падал снег — большими, рыхлыми, влажными, нежными комьями. Налипал на листьях — деревья в тот год почему-то никак не хотели расставаться с потрёпанными осенними обносками.

Всё уже ушли к автобусу. Я отстал на полминуты, чтобы немного побыть в одиночестве. Это был какой-то незримый, но явный предел.

> Есть только точка невозврата, как говорят в телевизоре и пишут в газетах. Вот она, эта точка, и наступила. Теперь ты не вернёшься в детство, теперь только вперёд, к собственной старости и смерти.

И надо было решиться, хотя бы сколько-то там секунд постоять, не думая ни о чём, прежде чем сделать последний шаг, который с непререкаемостью гильотины отсечёт тебя от всего того, что было прежде. Тебя теперешнего, который, кажется, только сейчас явился в мир, наг и пуст, как Адам — от того тебя, который был ещё совсем недавно, который прожил на свете сорок лет, имел многообразные

увлечения и мысли, во множестве говорил и писал разные слова, и вот сейчас, перед этой чертой, как-то сразу весь прекратился, как осекается и замолкает болобочущий с показным самоупоением телевизор, когда во всём районе вдруг отрубают свет.

> Куриная голова с широко раскрытыми удивлёнными глазами отскакивала в сторону, а безголовая курица, разбрызгивая кровь, беспорядочно бегала вокруг тебя и бабушки ещё какое-то время и только потом падала. Ты в ужасе хватался за собственную шею и тоже начинал бегать кругами вокруг бабушки, плахи и бездыханной курицы. Ты был курицей без головы! Ты был головой без курицы!

Я посмотрел вверх. Снег падал мне в лицо. Он падал на деревья, на могилы, на неживые кладбищенские цветы.

> какие яркие кладбищенские искусственные цветы и пахнут они пластмассовым неземным тряпьём пособирать их с могил и стряхнуть полночную пыль и скинуть одежду и обрядиться жар-птицей

Снег шелестел сотнями тысяч невнятно лепечущих бестелесных голосов, которые сливались — и не сливались — в ровный, почти на грани восприятия фоновый шум. Словно толпа безумцев, все они, страстно шепча, торопились высказать что-то своё, безмерно важное, не слыша и не слушая друг друга. И все внезапно замолкали на полувздохе, когда снежные хлопья касались земли. Но к этому моменту уже сотни тысяч других вразнобой бормотали о чём-то другом, таком же безмерно важном. Снег падал ровно вниз, лишь слегка в хаотических движениях отдельных своих потоков отклоняясь от вертикали. На кладбище стояло безветрие.

Маму похоронили рядом с бабушкой. Из поэмы я узнал, что в Казахстане это называют диковатым словом «подкоп». У нас в Омске говорят «подхоранивать». Тоже, если задуматься, звучит жутко.

...Так и ходил, так и получал свидетельство о смерти, а потом получал ещё какие-то справки и ещё какое-то свидетельство, а потом пошел к нотариусу оформлять наследство, потому что нельзя было вот так всё взять и бросить. Что бросить? Квартиру, жалко её, не в смысле денег, а жаль, безумно жаль этот десятилетиями складывавшийся мирок...

Впрочем, это, кажется, тоже была цитата. Я сразу не выделил её курсивом. Потом заметил, но уже не стал. А зачем? Именно так всё и было.

Бюрократия и сострадание не просто понятия-антиподы. Это почти оксюморон. Но в одном-единственном случае бюрократия, по странному схождению противоположностей, оказывается сострадательной к человеку — когда умирает кто-то близкий.

Тогда ты понимаешь, что это круговое, безостановочное движение из кабинета в кабинет, от одной бумаги к другой, из одной очереди в другую, эта унылая суета, плотной, тяжёлой балластной массой забивающая весь твой день, благодетельна, потому что не оставляет тебе времени думать.

Но ты всё равно думаешь. Ты думаешь о том, что наша жизнь, в сущности, — тот же отрывной календарь, шизофренический паноптикум случайных людей и происшествий, собранных по странному капризу составителя под одной обложкой и, чтобы не распались и не разлетелись в никуда, спрессованных поплотнее и прижатых прочной металлической скобой. Год две тысячи восемнадцатый. Какого-то там числа — выборы президента. Про завтра известно точно: завтра пишу статью. Послезавтра сижу на литературном конкурсе: юные поэты будут читать рифмованные строчки. Среди них, если повезёт, два или три будут действительно поэты. Вечером и ночью послезавтра опять пишу статью, потому что завтра, разумеется, полдня буду читать книжку, слоняться по комнатам и бесконечно пить чай. День прошёл — листок в мусорное ведро.

Это нелегко. Но это надо просто понять: ты в отрывном календаре, и уже поэтому ты, определённо, безумен. Осмотрись вокруг, взгляни на естество вещей своим новообретённым безумным взглядом. Какое же оно всё странное вокруг — если хорошенько приглядеться!

Вот это профессор Иванов, а это доцент Петров, мои коллеги по университету. Профессор Иванов, *мой сосед по календарю сверху, обитающий 11 ноября, — настоящий испанский король.* Он преподаёт зарубежную литературу. *Только вы правильно меня поймите. Он не сумасшедший какой, а подлинный король,* автор нескольких монографий и учебных пособий*, зовут его Виктор Эммануил Третий, родился 11 ноября 1869 года, умер 28 декабря 1947 года. Проверьте в Википедии.… Вы удивляетесь, что он умер? Ну и что, умер и умер. В декабре умер, а в ноябре снова родился, только и всего.* Кстати, скоро у него юбилей. Будет сабантуйчик на факультете. Надо бы подарок какой купить. *В нашем календаре время ходит по кругу, уходит и приходит. А может, оно и вовсе стоит на месте, а это мы по нему, по времени, ходим. Или вот* доцент Петров, *сосед снизу* (его кафедра прямо под нашей)*, живущий 13 ноября, кто бы вы думали?* Сказать по правде, он поумнее любого профессора будет. *Я преклоняю голову перед Блаженным Августином, с которым подолгу веду тихие беседы, когда за нашими окнами длится и не проходит осеннее ненастье.*

А давеча к нам, кстати, в палату новенького привезли. Сам валашский господарь граф Дракула. Мы его поначалу сторонились. А в общем-то, оказался ничего мужик, компанейский. Вспоминал вчера, как на зоне подкатили к нему хмыри из соседнего барака. Презанятная, между прочим, была история.

> Хмыри же отвечают мне нагло и борзо, да с косой ухмылочкой, что таков-де обычай у них в бабахановом бараке, чтоб перед ворами шапок не снимать. Ах, вот оно как! Ну, свистнул я блатных да велел шестёркам бабахановым к шарабанам кандибоберы ихние гвоздями малыми поприбивать, дабы крепче закона своего держались. И орали нечестивые пуще резаных-зарезаных, да всё одно удержала их братва и тюбетеи приколотила, а потом отпустила. Валите, говорю, парашники, к апельсину вашему тёмножопому, да пускай обычаев своих в бараке у себя держится, а к нам токмо по понятиям ходит.

Так и живём, в каждодневном безумии, узаконенном календарём.

И безумие, аккуратно пропечатанное на бумаге, распланированное, датированное, ранжированное, канонизированное, замкнутое в идеальный круг, становится нормой.

> Да, он всегда висел над кухонным столом, этот отрывной календарь, этакий кирпичик с листочками, скреплёнными жестяной скобой. На каждый день приходился один листок. На лицевой стороне дата, время восхода и захода солнца, долгота дня и ночи и краткий перечень самых знаменательных для страны и мира событий.

В последнее время всякое движение давалось маме с трудом. Она, случалось, подолгу не отрывала листки. Я приходил после работы, чтобы привезти продукты, сделать мелкие хозяйственные дела, посидеть с полчаса. Про календарь вспоминал нечасто, обычно на выходных, — тогда сразу выдирал с мясом всю прошедшую неделю.

Потом он ещё долго висел на стене в пустой квартире — этот огрызок календаря, время в котором остановилось на каком-то из ненастных ноябрьских дней (перед тем, как её в последний раз увезли на скорой). Я понимал, что поступаю глупо, пожалуй, даже ребячески, отсрочивая неизбежное и тем самым превращая себя в заложника нелепой, слезливой мелодрамы. И всё же я никак не мог выбросить на помойку эти последние дни её жизни.

Рано или поздно это, наверное, приходится испытать каждому: вот происходит нечто (обычно — невыносимо ужасное; крайне редко, в виде исключения, — счастливое), и эта шизоидная поприщинская иллюзия, этот отрывной календарь, внутри которого все мы живём, вдруг глухо стопорится на какой-то случайной дате.

Спаянная безупречно ровным кольцом цепь месяцев и дней с надрывным металлическим криком лопается в одном из звеньев. И тогда — вопреки ужасу и беспросветности — ты ненадолго обретаешь зрение. И, как Господь с заоблачной высоты, видишь весь этот мир целиком — какой он есть, и самого себя целиком — каков ты есть, в своём прошлом и настоящем.

Кажется, это греки и называли катарсисом.

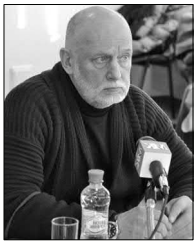
Есть три уровня литературного мастерства. Можно красиво заплетать слова и смыслы. Всё это вы найдёте у Игоря Силантьева. И красиво подогнанные слова (например, про собаку *с чёрными глазами-смородинами* или про казахского мальчика, чьи *линии лица повторяют линии сопок* — там, в поэме, этого много рассыпано, как кристалликов слюды в глинистой степной почве). И мудрёно закрученные смыслы вы тоже отыщете в изобилии. Если любите литературные шарады — погадайте на досуге, как зовут тётку, обитающую на календарном листе от 26 февраля, для чего нужно называть себя Сбербанком, кто такой господин товарищ начальник главный грач, а главное, — откуда родом ящерка (та, которая — мамина брошка, и одновременно детское «Я» героя).

Второй уровень мастерства — симфоническая оркестровка, когда десятки самостоятельных тем, мотивов, стилей, микросюжетов, каждый из которых звучит в своей, узнаваемой, тональности, волшебным образом сливаются воедино, образуя сложную, полифоническую мелодию. Это встречается много реже. И если вы цените симфоническую литературу, то поэма «Отрывной календарь» вас не разочарует.

И, наконец, третий уровень — это мастерство катарсиса. Оно встречается совсем уж редко — только у подлинных художников, и то далеко не в каждом их произведении.

«Отрывной календарь» — поэма о катарсисе (обратите внимание: здесь важен предлог «о»). Она, пожалуй, не станет вашим первым катарсическим опытом. Но если вам уже знакомо это состояние, она отзовётся в вашей душе сильнейшим резонансом.

P.S. Только, пожалуйста, не показывайте эти мои строчки тётке из 26 февраля! Ей они точно не понравятся.



Сергей БЫЧКОВ

/ Москва /

СОБИРАТЕЛЬНИЦА ТАЛАНТОВ

Наконец-то издана книга эссе известного критика и редактора журнала «Чайка» Ирины Чайковской «Время КУЛЬТУРЫ». Журнал сам по себе уникален — в нем собраны лучшие представители не только российской эмиграции, рассеянные по всему свету, но и российские писатели, искусствоведы и эссеисты. Поражаешься энергии главного редактора, которая не только собирает и редактирует журнал, но и активно участвует в нем. По признанию автора книга возникла не случайно: «В течение шести лет вечером четверга читатели привыкли получать колонку под названием "Неделя Культуры с Ириной Чайковской". Колонка эта помещалась в журнале "Чайка", и в ней с регулярностью часового механизма каждый четверг я делилась с читателями своими впечатлениями от увиденного на канале КУЛЬТУРА — фильма, спектакля, интересной литературной передачи...»

Нынче уже и телеканал «Культура» не тот, а вот впечатления от того, значимого для всех, остались и запечатлены в достойной книге, изданной «Алетейей» в Санкт-Петербурге. Автор отмечает особенности книги: «…однажды мы вместе с мужем собрали все написанное за эти годы, рассортировали по разделам — Кино, Литература, Театр, Музыка и музыкальный театр, Общественные вопросы — и отобрали лучшее в каждой рубрике. Получилась книга, которую вы сейчас читаете. Не бойтесь ее объема. Увидите, что читается она легко, ибо все ее материалы писались в один присест, по вдохновению». Это признание не обманет читателей — Ирина Чайковская обладает «легким дыханием». Качество, необходимое для писателя и критика, тем более для эссеиста.

Диапазон Чайковской широк — в поле ее внимания оказываются не только российские фильмы, но и зарубежные. Причем выбор всегда безошибочен — она отбирает лучшее. Это и российский

телефильм о Достоевском, и английский по роману Льва Толстого «Война и мир». Как критик она никогда не рубит сплеча. Умеет подметить и фальшь в игре актеров, и режиссерские неудачи. Но подает все это мягко, с легкой иронией. Лучшие страницы книги посвящены двум гениальным российским режиссерам — Андрею Тарковскому и Сергею Параджанову, сумевшим создать свой, неповторимый киноязык, серьезно повлиявший на лучших мастеров мирового киноискусства.

На страницах книги читателя ждут встречи с самыми разными представителями литературы XX столетия — Маяковским, Маршаком, Тыняновым, Мандельштамом, Василием Гроссманом. И эти встречи важны сегодня потому, что молодому поколению не только в России, но и за рубежом, эти имена ничего не говорят. Интернет, к помощи которого привыкла прибегать сегодняшняя молодежь, готов всегда подсказать им кто есть кто. Но к сожалению, в памяти у них не остается ни крупинки. И книгу никогда не заменит ни Интернет, ни суперсовременные гаджеты. Поэтому так радостно держать в руках и читать талантливую книгу Ирины Чайковской!

Игорь
БОНДАРЬ-ТЕРЕЩЕНКО

/ *Харьков* /

ЛИРИЧЕСКИЙ «СОННИК» ТАТЬЯНЫ ИВЛЕВОЙ

Татьяна Ивлева. Неразгаданные сны. — Киев: Каяла, 2019. 116 с. — (Серия «Коллекция поэзии и прозы»).

Засыпаю, а это значит;
Засыпает меня, как песок,
Сон, который вчера был начат.
Но остался большой кусок.

Борис Слуцкий

…Иногда кажется, что всё вокруг, как во сне — чужие улицы, рядящиеся под старых знакомых, знакомые лица, оказывающиеся вблизи улыбчивыми незнакомцами. Когда-то верили, что заграница нам поможет, но ошибались лишь в одном — не сила вмешательства, а как раз слабость разорванных связей спасает страждущих от забвения. Оказавшись в чужих краях, человек начинает заново наращивать хитиновый покров былых привычек, но уже в других, более «полевых» условиях. Главное, правильно нарастить. При этом силу дает не яркий новострой будущего, а прежняя великая культура. Иначе облом-с. «Служил чужбине и отчизне, / Устал от путаных дорог / И понял на закате жизни, / Что жизнь я изменить не смог», — констатирует автор этой книги, родившаяся в Казахстане, учившаяся в Одессе, живущая нынче в Эссене.

Стихи Татьяны Ивлевой, безусловно, лиричны и душевны, и охотно верится, что их «живое» исполнение завораживает и пленяет публику на многочисленных выступлениях автора, сотрудничавшей к тому же с широко известным в Европе театром философского направления, модерна и авангарда Theater an der Ruhr in Mülheim, принимавшей участие в интернациональном проекте «Шелковый Путь» под эгидой ЮНЕСКО, наконец, просто

жившей в литературе, как член Союза русских писателей в Германии. Но главное в них все же в другом, а именно — в связях с тем культурным наследием, которое синкопирует зарубежный ритм этой поэзии знакомыми нотками, мотивами, парафразами, оттеняя ту самую грусть с ностальгией и глубокую философию с мягкой иронией, которые так памятны слушателям и читателям Татьяны Ивлевой. Недаром в эпиграфах у нее — Бродский и Окуджава, а в поэтике — Слуцкий и Мандельштам — то заказывающие по возвращению у телефонной барышни «все меню московских разговоров», то бряцающие «кандалами цепочек дверных». В частности, у нашего автора это «фантомы смолкших голосов, / обрывки старых адресов» и «сквозняки пятизвездочных кочевий», которые, как у классика, разносят «майские студенты-шалопуты». А еще, конечно же, звонки-звоночки, на которые по привычке «бросаешься, как щенок». «Звонят! — Но нет, не Марта, это — МАРТ! / Непредсказуемый, как захмелевший бард: / То солнечным аккордом прозвенит, / То знак минора выведет в зенит».

Минора в этой книге немного, мажорных мелодий гораздо больше, и это, кажется, главное «правило поведения во сне», если уж вспомним «сонную» коннотацию с названием сборника. В каждом, даже самом печальном и трагическом тексте — о судьбах русской эмиграции, «лопочущей на чужом языке», — присутствует вера и надежда. А уж любовь к новой жизни, что неожиданно «колокольчиком звякнет валдайским», словно «в кочевой колыбели дитя» — это непременная кода всей «германской» симфонии, звучащей в книге Ивлевой. О чем она, мы уже, кажется, поняли. А вот кому будут интересны эти сны о чем-то, как водится, большем, нежели просто перекличка любимых голосов?

Об этом тоже немало в «Неразгаданных снах» нашего автора, вот только не указывает она специально, для кого ее послания в вечность, поскольку все на этом свете уже разъяснено, рас-

шифровано и заключено в убористые томики фрейдистских теорий. И тот, кто это замечает, кому мало знать лишь о завтрашнем дне, стабильном или не очень, кого волнует не только курс Доу-Джонса — те поймут отнюдь не «эмигрантскую», а скорее, общечеловеческую тревогу автора о прошлом и будущем в нашем хмуром *сегодня*. «Мне снится — и снится совсем не случайно: / Из мира уходит последняя тайна... / Нордический ветер подхватит ее / И в вечные льды навсегда закует».

Таким образом, «Неразгаданные сны» Татьяны Ивлевой — драгоценная шкатулка опыта, своеобразный «сонник», в котором все, что случилось с нами, не пересказывается красочным, сохраненным на чужбине языком, а интерпретируется в реалиях уже новой, «загробной» жизни в «заресничной стране» мировой культуры.

Елена МОРДОВИНА

/ Киев /

«ДАЧНАЯ ЭСТЕТИКА» КАК ВОПЛОЩЕНИЕ ФИЛОСОФИИ «СИБУЙ»

Рецензия на сборник стихов Юлии Белохвостовой «Яблоко от яблони»

Весной 2018 года на литературном фестивале «КУБ», вот уже несколько лет проводимом в Красноярске благодаря неимоверным усилиям Татьяны Поталовской, проходил необычный конкурс: требовалось угадать, чьи стихи исполняет тот или иной участник, выудивший наугад, или, как теперь говорят, рандомно, текст из шляпы. За вечер прозвучало очень много стихов, от них уже звенело и путалось в голове, но тексты Юлии Белохвостовой я угадала с первых же строчек, хотя тот конкретный стих, прочитанный кем-то из сибирских поэтов, был мне незнаком. Юлию Белохвостову невозможно ни с кем перепутать.

Если следовать юнгианской теории, важными составляющими человеческой души являются анима и анимус — воплощение женского и мужского начал. Но кроме этого, а возможно, в слиянии этих двух, существует еще некая «дачная» душа, которая, возможно, ближе к женской, но в ней воплощено далеко не только женское начало. Достаточно вспомнить Бориса Пастернака или древних японских поэтов — и здесь сейчас речь не о структуре, а о состоянии той особой грусти, отдохновения, оторванности от рутины бытийности, воспарении над ней. И в этом смысле Юлия — уникальный поэт, ее поэзия воплощает в себе это все, концентрирует и очерчивает, в каком-то смысле становясь камертоном «дачной» души, по которому можно сверять свое собственное состояние. И это, конечно же, не ограничивается дачей и не сводится к простому женскому. Это больше, чем женское, то, что сложно определить в двух словах — то, что я, например, нахожу еще в стихах Марии Ватутиной или Ирины Евсы — это больше чем женское — это сильное женское, материнское, сверхчеловеческое, эпическое, как степная каменная богиня, и космическое, как вечность.

В поэзии Белохвостовой присутствуют все семь эстетических признаков философии дзен именно в ее японском воплощении, что в наших родных пенатах соответствует именно некоей «дачной философии»:

фукинсэй — асимметрия, неправильность;

кансо — простота;

коко — скудость, потрепанность;

сидзэн — отсутствие притворства, бытие естественным;

югэн — тонкое глубокое изящество, неочевидность;

дацудзоку — неподверженность конвенциональному мнению, свобода;

сэйдзяку — спокойствие.

«Дачная эстетика» также соответствует философии сибуй — эстетике простой, тонкой и ненавязчивой красоты. Где река — это на самом деле река жизни, и в ней находится время (или место?) — бахтинских хронотоп, никуда от него не деться — где течение замедляется:

Мне кажется, она теряет смысл,
по горло зарастая камышами,
и рыбы забывают, чем дышали,
и пьют туман рассветный как кумыс.

Философия сибуй, как подсказывает нам Википедия, включает в себя следующие существенные качества:

- Объекты сибуй кажутся простыми в целом, но они включают в себя тонкие детали, такие как текстуры, которые уравновешивают простоту со сложностью.
- Этот баланс простоты и сложности гарантирует, что человек не устает от объекта сибуй, но постоянно находит новые значения и более развитую красоту. Это приводит к тому, что эстетическая ценность объекта со временем постоянно растет.
- Сибуми проводит тонкую грань между контрастирующими эстетическими понятиями, такими как элегантный и грубый, спонтанный и сдержанный.

Все перечисленное с абсолютной точностью характеризует поэтическое кредо Юлии Белохвостовой.

Открывается сборник плавно, еле слышно, «Шепотом» (так называется первое произведение сборника), постепенно мы въезжаем в это все «электричкой из Твери» — или даже, как пел Борис Борисович Гребенщиков, «из Калинина в Тверь»… И этот замедляющийся ритм плавно перетекает в магическую, не застывшую, но живущую своим внутренним круговоротом, почти макондовскую дачную жизнь: «как по дну подлодкой идет судак и качает воду туда-сюда» — эти аллитерации, эта волшебность образов — и ты почти не замечаешь, как совершается эта колыбельная магия.

И автор погружает нас в транс, и магические превращения начинают происходить с самим автором (он же — лирический герой):

Я смотрела в воду четыре дня,
так, что стали цвет и глаза менять —
то ли цвет земли, то ли цвет огня,
то ли цвет речной у меня.

При этом поэт «замахивается» на большое — понимание человеком своего места в мироздании — стратегия (если рассматривать, препарировать это как стратегию, понятно, что поэт не выстраивает ее сознательно изначально) по умолчанию проигрышная и давно забытая в наших постмодернистских терзаниях — после тех же японцев или древних греков там вроде бы и ничего нового не придумаешь. Ан нет, человек-то новый, человек-то — наш современник, человек — женщина. Нежная, самостоятельная, в меру земная. «И нет пронзительнее звука, чем эти всхлипы тишины» («Осенний сезон»).

Она женщина, мать, сестра. Она ощущает сестринское родство с деревьями:

Назовусь сиротливой осине сестрой,
лбом уткнусь в её ствол, как в родное плечо,
и услышу — внутри, под промёрзшей корой,
то ли сок, то ли сила течёт.
(«Осиновая ветка»)

Персонификация состояний, сил природы вообще очень характерна для ее творчества: там сны приходят на цыпочках, тут солнце ищет дырочку, чтобы просочиться, гром настраивает трубы, пока намерения неба не ясны, август расстреливает дождливый арсенал (это уже зарождение полноценного мифа), небо скидывает на землю бремя (тоже, впрочем), липы, перепуганные тьмой, ветками царапают по окнам, осень просится домой. И вся она будто зачарована

зубовным скрежетом задвижек,
плаксивым скрипом половиц,
(«Не музыкой единой»)

«Оживляет» Юлия не только силы природы, но и творения технократического века — вот и пароход «Лев Толстой» у нее

Тянет эту ношу человечью,
словно записавшись в бурлаки,
и «Антону Чехову» навстречу
подает гудок взамен руки.
(«Лев Толстой»)

И сама она, как героиня греческого мифа, превращается в цветок: «Я буду жасмин, буду дрожь под твоей рукой». А то сама укрощает цветы, варит варенье, — «да, надо бы успеть прогуляться в парке» — дожидается заморозков. Проводит день с любимым или отпускает его чинить пароходик («Московское море»). Переводит с рыбьего («Переводы с рыбьего»), потом складывает день в гербарий («Подумать обо мне»). И вот — все сделано — «черные кони на всем скаку остановлены» («Сонная я») и можно отойти ко сну.

А завтра встретить новый день. «Где утро терпит опоздание и входит в дом со всех сторон»… И не отпускает ощущение, будто все эти стихии, времена года или суток — это те же соседки, застилающие дачные ящики старыми газетами, вот так приходят, уходят, занимаются своими будничными делами.

И природа у нее тоже женщина, а стихии — бывает, женщины, бывает, мужчины, но неизменно антропоморфны и узнаваемы. Такая персонификация природы, разделенная по признакам, точнее, по ощущениям пола, это практически новое сотворение богов. Как по мне, это и является самым ценным в современной поэзии — насколько она приближает нас самих, таких современных и утыканных гаджетами, обесцвеченных суетой и переполошенных лентами новостей, к нам древним, к нам, общавшимся со стихиями и персонифицированными силами природы.

Буднично детальна жизнь, буднично детальна смерть («Улита»), и в этих буднях между жизнью и смертью грань вдруг стирается, ты слышишь крики пастухов, видишь колышущееся вымя коровы, спешащей к дойке, умершую на табуретке старуху — и понимаешь, нет, скорее чувствуешь, что старуха не умерла, она вознеслась на этой табуретке и взяла с собой на небо и заброшенную древнюю церковь, и накрытые фартуком ведра. Смерти нет — будто утверждает эта простая, бесхитростная на первый взгляд, такая дачная, такая деревенская поэзия.

Тонкие оттенки красок дачной природы, детали — «пшеничной корочкой листва хрустит», оттенки чувств, необыкновенная выразительность «пастельных» поэтических красок выдержана в элегических тонах, но при этом Юлия пользуется разными палитрами. То мы видим палитру брейгелевских оттенков:

Черствый хлеб утоптанной земли
размокает в теплых талых водах.
Тени голубого небосвода
в ноги скорбным яблоням легли.

То наблюдаем ван-гоговскую яркость красок:

Початок солнца жёлт в кипящих небесах,
и проступает соль понтийская на коже.
(«Куриный бог»)

То вдруг проступают суриковская белизна и румяна:

День и чист, и свеж до хруста,
разнаряжен в пух и прах,
солнце в снег роняет бусы,
и мороз румянит густо
щёки девушкам в санях.
(«Взятие снежного городка»).

Отдельная тема — это общение, взаимопроникновение, сосуществование и расставание, «тонкости любви и верности», совпадение и несовпадение мужчины и женщины. И тема одиночества. Ведь только сильная женщина, способная на великую любовь, способна и на одиночество и отрешенность.

По хрупким пальцам из фаянса,
по белым лицам из фарфора
огни спешащей мимо трассы
бегут, как красная строка.
(«Пять сигарет. Вторая»)

И да. Сильные женщины тоже иногда считают время сигаретами.

Но все же лейтмотивом поэзии Юлии Белохвостовой, мне кажется, является вечное «Сотвори из праха снова жизнь» («Хлеб и вода»). Именно этот мотив пронизывает мое любимое стихотворение «Папина яблоня» — Юля пишет об отце, а я вдруг во плоти вижу своего деда и — благодаря вот этим всем садоводческим подробностям — так, как будто смотрю на него прямо сейчас, «в коклюшках веток — паутина, и день плетется кое-как», как он «поил, кормил, зимой холодной ствол мешковиной пеленал…»… на это не способна фотография, на это способна только хорошая поэзия.

Хорошая и жизнеутверждающая. То, что иногда без всякой надежды пестовали наши деды и отцы — вдруг — как та яблоня, «библейской Саррой воспрянула и понесла — согнулись ветки под плодами, не в силах с ношей совладать, а в доме пахло пирогами, а в сердце стала благодать».

Евгений КОСТИН

/ *Вильнюс* /

ЭТНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РЕНЕССАНСА РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА

Многие исследователи совершенно правомерно отмечают, что расцвет России в XIX веке, и прежде всего в культурном плане, был бы невозможен без века предыдущего — XVIII. И это справедливо. Позволим себе остановиться на некоторых особенностях и чертах этого *века героев*, как его часто называют в исторической литературе.

Во-первых, он начинается с удивительной по своему длительному *историческому дыханию* деятельности Петра Великого, который — не будем останавливаться на всей его государственно-творческой работе — решил задачу «вставить», «вдвинуть» Россию в Европу. Пушкин гениально напишет в «Медном всаднике» — «в Европу прорубить окно». Конечно, это был всего лишь начальный этап по сближению, соединению России с Европой, уже пережившей и Средневековье, и Ренессанс, и Реформацию, и постепенно приближающейся к новому цивилизационному этапу своего развития.

Это была деятельность не только по созданию новой для страны армии, строительству новых городов, среди которых сияет до сих пор непревзойденным блеском северная Пальмира — Санкт-Петербург, появлению мануфактур, первых заводов, по расширению самого пространства государства и т.д. и т.п., но — и в культурном, психологическом, человеческом планах.

Запрет старинной русской одежды, прививка обществу европейского времяпрепровождения с *ассамблеями*, веселыми пирами, танцами, вообще, кардинально меняющийся быт русского дворянства, которое, кстати, именно *сейчас* получает свой «Табель о рангах», как бы *легимитизируется* и становится на ближайшие полтора-два столетия главной движущей силой развития российского государства. Все это существенно, но — главное в другом: Петр своими преобразованиями *задел* и *переделал* во всей этой изумительной исто-

рии сам этнический элемент России — человека. Он начал «перетаскивать» субъекта *древней* Московской Руси в *новое время* и новое же пространство, невиданные для него, субъекта, — фантастической, имперской, похожей на Европу, России. Без изменения самого человека нечего и было думать Петру о строительстве модернизированного, не архаического, государства.

Засылая своих питомцев на учебу на европейские верфи, к венецианским флотоводцам, которые, кстати, обучали русских моряков в своих реальных баталиях с турками, к архитекторам, скульпторам, живописцам Италии, Франции, привлекая громадное количество западноевропейских умельцев разного рода к себе на службу, Петр преобразовывал человеческий *материал*, менял его психологию.

Некоторые его решения были до умопомрачения важны для русской культуры и русской истории — один пример появления в России его любимого *арапа*, прадеда А.С.Пушкина, чего стоит! Всей своей деятельностью Петр поднимал градус *пассионарности* русских людей, отыскивая, то в разносчике пирогов, то в сметливом купце, то в безвестном поручике — государственного деятеля, промышленника, фельдмаршала.

Петровская эпоха — это время преобразования России прежде всего в *ментальном* смысле. Авантюристы, безбашенные персоны, лихие люди, стремящиеся к открытиям других земель, неведомых стран (петровская эпоха поразительно богата в плане географических открытий и приращений России; все это совпадает с тем, что мы обнаруживаем в ренессансной Европе эпохи поисков и колонизации неизвестных континентов, стран, когда происходило интенсивное знакомство с другими культурами и ментальными картинами мира, совершенно противоположными европейскому характеру). Эти люди, часто без роду и племени, привлекались будущим императором, — и это поразительно, такого еще не было в предшествовавшей русской истории, под одним только *титлом* — работы на *благо отечества*, России. Чрезмерный, по-своему, модернизированный патриотизм петровской эпохи изумителен по сравнению с архетипическими чувствами любви жителя древней Руси к родной стороне, ее религиозным ценностям, к трудно меняемому укладу жизни.

Читая указы, приказания, письма Петра, воспоминания о нем его сподвижников и помощников, не можешь не поражаться исключительной для России начала XVIII века уже каким-то чудом сформировавшейся национальной *эгоцентричности* сознания этого государственного деятеля. Ведь всего лишь один шаг назад в историю России, и мы видим его отца Алексея Михайловича, «тишайшего» русского царя, существовавшего вместе со своим государством в полной архаике русского средневековья. При всей набожности, начитанности, известной «культурности» Алексея Михайловича, о которой говорят и пишут исследователи, он пребывает (как абсолютное большинство его подданных) в *не меняющемся* историческом

времени; само представление о необходимости радикальных реформ, иных преобразований видится ему не иначе, как приход Антихриста на русскую землю. И таким Антихристом, по народным представлениям, окажется его сын, Петр.

Должен был произойти ментальный сдвиг, должно было измениться само миропонимание у *Правителя* государства, чтобы, как у Петра, приступить к переформатированию всех характеристик и условий существования России. Петр *постигает* эту необходимость, ставит перед собой, своими помощниками и в целом перед всем народом цель п е р е м е н ы жизни. Исходя из исторической перспективы, можно с восторгом и гордостью соотечественника посмотреть на то, какую империю и с какими достижениями он оставляет, утвердив на восточной окраине Европы государство, которое безоговорочно признается всеми в мире.

Ушло у Петра на *это* историческое творчество *всего-навсего*, и именно что с исторической точки зрения, — четверть века. По существу в этот краткий период Россия *пробегает* свое Средневековье и *вдвигается* вместе с другими европейскими государствами в наступающее Новое время. Исходя из предмета наших заметок, нельзя не сказать, что импульс Петра и в области литературы был более, чем велик: Ломоносов, Тредиаковский, Феофан Прокопович, Кантемир, В.Татищев и многие другие И это уже была авторская, *субъектная* литература, пусть еще и в достаточно неразвитых формах.

Как, каким образом Петр сумел выкристаллизовывать эти новые человеческие *сущности*, какие не были известны прежней русской жизни? Во многом это стало возможно не в последнюю очередь потому, что с Петром русское общество приобретает социальную структуру, которая сохранится в России чуть ли не до переворота 1917 года.

Прежний русский социум был, как ни странно, достаточно однороден. Узкий слой князей, бояр существовал наособицу, в то время как остальные русские люди, состоявшие из крестьян-хлебопашцев, из духовенства и монахов, не содержали в себе, к примеру, элементов торгашеского сословия, какого-то специфического ремесленничества, хотя целые села славились своими плотниками, шорниками, кузнецами, но все это носило не выделенный в социальном смысле характер. Образ жизни этих людей не сильно отличался от других крестьян, наконец, и в имущественном отношении они вместе составляли некое единство совсем небогатого достатка.

Купечество в своих первоначальных формах развивалось там, где были естественные пути перемещения товаров (в их примитивном наборе предметов — мех, лен, пенька, мед, какие-то ремесленные поделки, связанные с обеспечением жизни крестьян) у рек — Волги, Камы, Волхова, на берегу Белого моря на Севере. Но все это

носило точечный в известном смысле характер и не создавало предпосылок к появлению устойчивых общностей людей, какие могли бы жить вместе со своим семейством такого рода деятельностью.

Еще один момент стоит отметить, не углубляясь в специфику глобальной по существу проблемы. В определенном смысле русский крестьянин, чтобы ни писали по этому поводу некоторые недобросовестные исследователи, все эти — допетровские — века существования древней Руси, не был крепостным. Как известно, крепостное право оформляется в законодательном плане всего лишь в Соборном Уложении 1649 года при отце Петра царе Алексее Михайловиче, а все эти долгие столетия, значительно превышающие во временном отношении *период закрепощения*, русский крестьянин был относительно независим, мог менять свое место жительство и был л и ч н о свободен. Понятное дело, что разного рода указы предшествовавших русских царей то усиливали момент *прикрепленности* крестьянина к земле, то его ослабляли, но это вовсе не было *беспросветное* крепостное прошлое крестьянской Руси.

Также понятно, что привязанность к своему клочку земли, к родне, привычному природному окружению делали свое дело и происходило органическое закрепление крестьянина именно на э т о й земле, в этих условиях. Он находился и под зависимостью и под защитой своего сюзерена — боярина, князя, что было актуально в период княжеских междуусобиц и в период нашествия татаро-монголов, но в личном смысле он был во многом независим. Другой вопрос, что сама эта независимость в ментальном смысле была и не нужна древнему русскому человеку, который помещал себя совершенно в другие духовные координаты в мировоззренческом отношении. Эти сложные вопросы эволюции миропонимания русского человека в допетровскую эпоху рассматриваются нами в книгах, указанных в начале публикации.

Однородность русского общества допетровской эпохи была им, Петром, разрушена, появились, выражаясь современно, «социальные лифты», стал активно развиваться «класс» купечества, превращая подчас отдельных своих представителей в самых настоящих промышленников (Строгановы, Демидовы). Без разрушения данной социальной идентичности и невозможно было бы разбудить ту пассионарную субъективность, которая порождала великих государственных деятелей эпохи, да таким образом, что их энергии хватило на воспитание целого ряда поколений русских людей на протяжении всего XVIII и начала XIX веков.

По существу, — а это главная заслуга Петра, который ренессансную *пассионарность* (еще раз употребим точное слово Л.Н.Гумилева), какой *переболела* западноевропейская цивилизация в XIV-XVI веках, — развил, в меру возможностей и со всеми понятными ограничениями, в России начала XVIII века. Появился новый субъект (человек) русской жизни, активный, самостоятельный, при-

нимающий участие в исторических деяниях самого разного рода — от победы над крепкими европейскими державами до создания города, не уступающего лучшим европейским образцам, до понимания (и это главное!), что от твоих усилий, от твоей смелости, известной *бесшабашности*, инициативы зависит не только положение в обществе и получение имущественных благ, но что с тобой изменится и само государство. Вот это историческое самосознание, которое нещадным образом воспитывал Петр в своих «птенцах», великолепным образом далее развивалось и в последующие эпохи — от Елизаветы Петровны, когда в первый раз был взят русскими войсками Берлин, от «русской немки» Екатерины Великой до появления плеяды чудо-богатырей Суворова, до ренессансного уровня и силы русских вельмож середины и конца века, которые, как ни удивительно это звучит, дальше передали эстафету русского индивидуализма первому свободному поколению русских людей (декабристам), начавших свою деятельность с победы над Наполеоном и освобождения Европы.

Однако, каким образом этот «слоеный пирог» русского этноса, включавший в себя столь разные индивидуальности и характеры, отличавшихся в том числе и по социальному статусу, имущественному положению, — от последнего крестьянина, мастерового на строгановских и демидовских заводах, от монахов, священников, разносчиков пирогов, всяких иных умельцев и ремесленников до служивого дворянства, аристократов, гвардейцев, государственных деятелей — становился единым целым, по *каким-таким* законам происходило формирование национального менталитета, который предполагает наличие некого общего представления о своей родине, о нравственных законах (или же об их нарушениях), как возникла общая картина мира и общая, по сути, национальная психология, что повлияло на устойчивую религиозную матрицу поведения всех этих, столь различных по своему положению, людей?

Очевидно, что в этом процессе исподволь «принимали участие» и географические факторы, природное окружение (ландшафт), предпочтения и привычки бытового поведения, обряды и проведение праздников, общность исторической судьбы, включавшей в себя и жизненно важные обстоятельства защиты своей земли от иноземных захватчиков, нежелание покориться окончательно внешнему управлению, сопротивление в разных формах становлению той государственности, которая приводила к уничтожению Новгородского веча, в сопротивлении эксцессам деспотического правления в те или иные этапы развития страны (Иван Грозный), в самом примитивном типе хозяйствования — на земле, в суровых условиях среднерусской равнины, где зима занимает чуть ли не большую часть года, а случаются и засухи и сопровождающий их голод…

По существу вся совокупность обстоятельств национальной жизни — географических, климатических, хозяйственных, историче-

ских, культурных, религиозных и т.д. и т.п. входит в состав менталитета русского этноса и является своеобразным ответом на все эти вызовы — от природных до исторических. Но разве не так ли и для других народов? Все народы формируются, проходя через совокупность вышеотмеченных факторов, правда, в некоторых случаях бывает и более счастливая судьба, когда можно опереться на предшествующий опыт, предшествующую культуру и многое от них взять. Таким наследием, к примеру, был опыт Римской империи, который во многом лег в основание ментальности народов *романского круга*.

* * *

Так что, исходя из вышеизложенных соображений, данных в кратком очерке и в соответствии с целями нашего исследования, можно утверждать, что формирование основного «слоя» русской ментальности происходит в ту историческую эпоху, которая начинается с петровских времен (XVIII век). Это период формирования активной человеческой субъективности (*век героев*, как принято его обозначать), когда появляется четкое понимание национально-государственного элемента в строе мысли и идеальных представлениях русских людей. Именно в этот период вычленяется представление о патриотическом чувстве не просто как о защите отечества и недопущении иноземных захватчиков на свою землю, как это было ранее, но как ясное понимание векторов устремления государственных интересов *вовне*, за пределы исконной территории.

Один пример (а их гораздо больше, если посмотреть на всю историю освоения земель Россией вокруг своего основного ядра в это время) с выходом будущей империи и защитой этого выхода — к Балтийскому морю и заложением Петербурга, крайне красноречив. Появляется «зона» интересов России и за границами собственной территории, и русский деятель той эпохи, по сути, на протяжении всего XVIII столетия, становится именно *историческим* деятелем, ясно сознающим выгоды и преимущества активности своего государства на *международной арене*.

Это совсем не то, что мы наблюдаем в покорении «Казанского царства» Иваном Грозным, какое, в общем, было превентивной защитой от возможных конфликтов и постоянных набегов на русские земли со стороны тамошних племен. *Сейчас* это ясно выраженный интерес государственной воли и просвечивающая за всем этим далекая цель по формированию «большой» России и именно что в составе, в «хоре» европейских держав. Таким образом, закрепление в каких-то устойчивых и очевидных формах сторон и свойств русской ментальности происходит в эпоху утверждения России на европейской карте ведущих государств. Это серьезный момент, который позволяет нам утверждать, что именно этого цивилизационного элемента и не хватало русским ментальным структурам до Петра, они

слишком были погружены в архаику и историческую неподвижность, влиявшую, в том числе, на инертность и ограничения, какие возникали перед конкретными русскими деятелями (в целом русскими людьми) допетровского времени, не видевшими перспективы для выхода своей энергии на более широкие просторы, нежели ограниченные пространства средневековой Руси, где жизнь во многом была связана с рутиной обыденного существования и не порождала какой-либо потребности в активной деятельности «вовне», от себя — во внешний мир.

Да и этот внешний мир к тому времени совершил несколько материальных, культурных и духовных революций. Ренессанс, великая полоса географических открытий, когда мир расширился до невиданных объемов, представили человеку той эпохи, европейцу, *картину мира*, в которой и место его страны и его самого резко изменились. Но все это было недоступно русскому человеку XV-XVII веков; он также не попадал в струю новых способов хозяйствования, развития ремесел, искусств разных родов и должен был получать все это в отраженном и неполном виде.

Но помимо этих, материальных как бы, обстоятельств, Запад пережил и психологическую, ментальную революцию. На протяжении трех веков периода Возрождения, главные народы и культуры старого континента культивировали и поддерживали идею и практические шаги максимально возможных условий свободного развития индивида, отдельного человека. Ренессанс был эпохой торжества индивидуализма. Эта определившаяся человеческая *субъективность* была дополнена событиями религиозной Реформации, которые сработали в унисон процессу сбрасывания пут со средневекового европейского человека в эпоху Возрождения (читателю, надеемся, понятно, что мы имеем в виду не только аспекты развития культуры, но весь комплекс изменения условий существования человека, появление признаков цивилизационного единства как отдельных наций и культур, так и в целом европейского континента).

Это всё были процессы, неизвестные русскому средневековому человеку; какие-то их отраженные формы пробивались в тех или иных вариантах и на Руси: строительство итальянскими архитекторами Кремля в Москве, целого ряда храмов, наконец, и религиозный раскол со старообрядцами, как бы то ни было, но представлял собой модификацию и возможность изменения доктрины православия. Поэтому, конечно, русский Ренессанс был так или иначе, рано или поздно, неизбежен, и он в итоге совершился в пределах XIX века в России, но XVIII столетие стало эпохой *предвозрожденческой*, сформировавшей все основные условия для культурного и исторического рывка вперед.

Но что, все же, является в случае с русской ментальностью, принципиальным объединяющим моментом для нее? Ответ не так очевиден, как кажется на первый взгляд. Как пишет авторитетный

исследователь этой проблемы (русской ментальности) И.Кондаков: «Менталитет воплощает в себе то общее, что лежит в основе сознательного и бессознательного, логического, рационального и эмоционального, интуитивного, мышления и поведения, веры и образа жизни, общественного и индивидуального, теоретического и практического, рутинного существования и неповторимого творчества, истории и современности, изменчивого и неизменного — в эпохе, этносе, нации, церкви, гражданском обществе, типе деятельности, культуре, цивилизации. Именно *предельная обобщенность* конституирующего национальную культуру содержания делает его неуловимым и не формулируемым для его носителей, не отливающимся ни в понятийные, ни в конкретно-образные формы; его абстрактность может выражаться лишь в условных метафорических, ассоциативных формах или восприниматься интуитивно и провиденциально (как ниспосланность свыше, как судьба, историческая миссия, богоданность или, в случае кризиса, как историческая заброшенность, рок, нравственно-духовная заброшенность, богооставленность)»[1].

Это продуманные и ответственно произнесенные слова. Но вместе с тем, сознание противится такой неопределенности в описании (отражении) главных свойств и характеристик духовного содержания (ментальности) русского этноса. Духовная самоидентификация русской культуры во всех аспектах ее проявления, очевидна даже в том случае, когда мы рассматриваем некие ее противопоставления с явлениями более чем отличными от нее и, в принципе, не похожими на нее по целому ряду существенных признаков и свойств (западный тип культуры).

Характерна и внутрикультурная подобная дуальность в русской ментальности (противоположение друг другу миров Толстого и Достоевского). Разделяя, обнаруживая эпистемологические, собственно логические, религиозно-нравственные, художественные и т.д. различия между ними; более того, увидев реализацию их духовных учений, наставлений, проповедей совершенно по разным «отсекам» русской общественной и исторической жизни («бесы» Достоевского и «позитивный» бытийный герой Толстого), приведших в итоге к смене цивилизационного кода развития России, мы не можем не видеть их глубинную, неколебимую близость и духовное единство.

Как известно, Н.А.Бердяев во всей истории России увидел целых пять воплощений русского этноса («пять разных Россий»), к этому можно добавить еще две, поместившихся в достаточно короткий исторический период XX века, — советскую и постсоветскую эпохи (цивилизации). Однако и они, эти последние периоды развития русской цивилизации, будучи совершенно *контрастными* по своим идеологическим основаниям, по реализуемым формам собственности, сопутствующей этим формам *разнонаправленной* психоло-

[1] *Кондаков И.В*. Культура России. М., 1999. С.41.

гии; по отторгнутым напрочь и опять возвращенным религиозным ценностям; по находящейся в фундаментальной оппозиции одной эпохи к другой (советская к *не-советской*, без дальнейшего перечисления всех противопоставлений и отрицающих друг друга по самой сути многочисленных подробностей) и т.д., — тем не менее эти принципиально различные эпохи и различные формы ментальности странным образом соединяются на какой-то глубине друг с другом и демонстрируют жесткость *несущей конструкции* основного типа духовности русского общества.

Это как раз срабатывала та ментальность, которая, не будучи определяема логически и формализованно, ощущается, по словам А.С.Пушкина в его ответе на скептические построения П.Я.Чаадаева, как близость русских людей к «*единому корню*», к неким духовным ценностям и идеалам, которые оказываются схожими у многомудрого схимника, интеллигента и у почти неграмотного крестьянина, обывателя, простого русского человека. Да вот пример, *тот самый*, от Толстого, который хочется привести в подтверждение тезиса, что не проясненное логически, но явное ощущение себя русским, было характерным элементом миропонимания многих русских людей:

«— Ну, племянница! — крикнул дядюшка, взмахнув к Наташе рукой, оторвавшей аккорд.

Наташа сбросила с себя платок, который был накинут на ней, забежала вперед дядюшки и, подперши руки в боки, сделала движенье плечами и стала.

Где, как, когда всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, — эта графинечка, воспитанная эмигранткой-француженкой, — этот дух, откуда взяла она эти приемы, которые pas de chale давно бы должны были вытеснить? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как только она стала, улыбнулась торжественно, гордо и хитро-весело, первый страх, который охватил было Николая и всех присутствующих, страх, что она не то сделает, прошел, и они уже любовались ею.

Она сделала то самое и так точно, так вполне точно это сделала, что Анисья Федоровна, которая тотчас подала ей необходимый для ее дела платок, сквозь смех прослезилась, глядя на эту тоненькую, грациозную, такую чужую ей, в шелку и бархате воспитанную графиню, которая умела понять все то, что было и в Анисье, и в отце Анисьи, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке»[12].

Это, по-своему, и странный оборот для Льва Николаевича Толстого, писателя-аналитика, который очень сильно не любил приблизительность и неточность в определении явлений действительности и самого человека, — «*всякий русский человек*», хотя, если внимательно пройтись через текст национальной эпопеи («Войну и мир»),

[1] Толстой Л.Н. Собр. соч. в двадцати двух томах. Т. V. М., 1984. С.277.

мы там не раз и не два встречаемся с подобными *ментальными* «генерализациями» в толстовском духе: к примеру, — финал описания Бородинской битвы и мн. др.

Скорее — это формулы, к которым был больше склонен Достоевский, у него мы обнаруживаем ясно выраженную устремленность (и потребность) к определению *русского начала* в его отличии от начал западноевропейских, русского человека от людей других этносов. Причем, как мы помним, Достоевский не возвышает «свое» за счет «другого», — уж как он восторженно писал о «священных камнях Европы», как он любил французскую литературу и учился в том числе у нее, — но чуть ли не главную черту русской культуры, русского человека (выразившуюся в идеальной форме у Пушкина) он видит в органическом восприятии и освоении иного опыта, иной *ментальности*. Об этом, по сути, вся его пушкинская речь, которая выступает как известное его завещание и напутствие последующей русской культуре.

* * *

Основные ментальные черты русской культуры и самого русского человека складываются в период пассионарного развития всей русской цивилизации нового типа — оторвавшейся от средневековой архаики, но не принявшей еще содержания новых эпох — от Возрождения до Просвещения, но стремящейся к их освоению. Русская пассионарность XVIII века находится в *подпочве* того цивилизационного *взрыва*, который произойдет веком позднее, — начиная от войны 1812 года, восстания декабристов, творчества Пушкина, и заканчивается явлением всего громадного содержания русского XIX века, который сокращенным образом вместил в себя идеи и смыслы, какие приходилось переживать и осваивать другим этносам на протяжении ряда веков.

Этот век пассионарности, «век героев» подготовил площадку для появления новых ментальных черт русской культуры (цивилизации) во всем объеме этого феномена. Любопытной спецификой такого процесса было наследование целому ряду существенных признаков прошлых эпох: среди них — продолжение влияния православного типа религиозности, использование русского языка, тесно связанного с глубинными словесными структурами и формами воспроизведения действительности, как это определилось еще задолго до Нового времени. Эти аспекты не преодолевались радикальным образом (как революционно Петр это делал по отношению к привычкам, обрядовости, бытовой жизни Московского царства, так как в Империю нельзя было войти с длинными кафтанами и бородами средневековой Руси), но, напротив, встраивались в новые психологические и интеллектуальные образования екатерининской эпохи, времени перехода от века XVIII к веку русского Возрождения — XIX.

Ведущую роль в преобразовании ментальных структур эпохи Возрождения в России сыграли, как мы отмечали ранее, — Пушкин, Толстой и Достоевский. Неявные, но фундаментальные усилия первого русского поэта — Пушкина менее заметны еще и потому, что на его долю выпала главная задача: преобразование русского языка (а это одновременно и преобразование самого русского мышления), который после этого мог позволить с такими прорывами мирового масштаба осуществиться деятельности Толстого и Достоевского.

Представить себе преображение, «вспахивание», переработку прежних ментальных образов, максимальное *расширение* психологических пределов русского человека (и человека вообще), совершение грандиозных открытий в области метафизики, философии, достижение *верхних* уровней эстетического совершенства в художественной деятельности — все то, чем мы (и все человечество) обязаны Толстому и Достоевскому, невозможно без фундамента, подготовленного Пушкиным, а также XVIII веком, в последний год которого он рождается.

КРЕЩАТИК
(Перекресток)

Международный
литературный
журнал

Главный редактор издательства
И. Савкин
Дизайн обложки *С. Пионтковский*
Оригинал-макет *Б. Марковский*

Издательство
«Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург,
ул. Бабушкина, д. 53

Подписано в печать 24.02.2019
Формат 66x88 1/16. Усл.-печ. л. 21
Печать офсетная. Заказ 344

ISSN 16192966

KRESCHATIK

ПЕРЕКРЕСТОК

#83

www.kreschatik.kiev.ua

Мы в неустанном поиске
новых имен, неизвестных авторов,
где бы они ни жили — в Киеве,
Петербурге, Иерусалиме, Нью-Йорке или
Мюнхене, мы — перенесенный
в ментальное пространство
проспект, как бы он ни назывался
в каждом городе, где когда-то
завязывались великие дружбы,
писались великие стихи,
происходили знаменательные встречи…

All rights resrved © Kreschatik